

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1980

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Будагов Р. А. (Москва). К теории сходств и различий в грамматике близкородственных языков	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси), Иванов Вяч. В. (Москва). Реконструкция системы смычных общендоевропейского языка. Глоттализированные смычные в индоевропейском	21
Филин Ф. П. (Москва). О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков	36
Кузьмин А. Г. (Москва). Заметки историка об одной лингвистической монографии	51
Меликишвили И. Г. (Тбилиси). Структура корня в общекартвельском и общендоевропейском	60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Золотова Г. А. (Москва). О «Синтаксическом словаре русского языка»	71
Ицкович В. А. (Москва). Существительные одушевленные и неодушевленные в современном русском языке (Норма и тенденция)	84
Дерягин В. Я. (Москва). Об историко-стилистическом исследовании актовых текстов	97
Арбатский Д. И. (Ижевск). О лексическом значении деепричастий	108
Калиев Г. К. (Алма-Ата). Проблемы изучения системы говоров (на материале казахских говоров)	119
Пестов В. С. (Москва). Об отражении субъектно-объектных отношений в глаголе кечуа	129

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

Тоцкая Н. И. (Киев). М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, В. Г. Скляренко. Історія української мови. Фонетика	13
Маковский М. М. (Москва). И. А. Сизова. Становление германского глагольного словообразования.	136
Мокиенко В. М. (Ленинград). Т. С. Коготкова. Русская диалектная лексикология.	139
Пирейко Л. А. (Москва). Р. Л. Цаболов. Очерк исторической морфологии курдского языка.	142
Рустановский В. М., Кононенко В. И. (Киев). В. И. Кодузов. Введение в языковедение	146
Шеверина Э. В. (Москва). А. А. Дарбеева. Влияние двуязычия на развитие изолированного диалекта	149

Научная жизнь

Хроникальные заметки	153
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солдатов (зам. главного редактора), О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языковедения». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией И. В. Соболева

БУДАГОВ Р. А.

К ТЕОРИИ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ В ГРАММАТИКЕ
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

1

Как это ни странно, вопрос о том, что такое сходные и что такое несходные категории в грамматике родственных языков, остается до сих пор все еще не вполне ясным. Несмотря на наличие серьезных исследований по тем или иным группам родственных языков (ср., в частности, сравнительные и сравнительно-исторические разыскания в области славянских, романских, германских, индоевропейских языков в целом), указать прямо «вот тождественные категории», а «вот нетождественные категории» в данной группе языков часто бывает весьма трудно. На мой взгляд, это объясняется тем, что и в этой области, как и во многих других, до сих пор господствует чисто формальная точка зрения. Обнаруживают, например, в ряде языков артикль и ставят знак плюс (объединяющий фактор), не обнаруживают артикля и ставят знак минус (разъединяющий фактор).

Применяя подобный метод, ничего, собственно, в сходстве и несходстве между языками понять невозможно. Разумеется, чисто внешние совпадения легко обнаружить в самых различных языках и притом не только в родственных, но и в неродственных. Больше того. Такие совпадения сами по себе тоже интересны. Но подобно тому, как внешнее, физическое сходство между представителями разных народов (само по себе тоже показательное) все же мало о чем говорит, когда мы изучаем быт и культуру этих народов, так и в языках внешнее сходство еще не раскрывает самого главного — их внутреннего «устройства» (в широком смысле).

Возвращаясь к примеру с артиклем, можно сказать: дело не только и не столько в наличии или в отсутствии артикля, сколько в ф у н к ц и я х подобного артикля. Сам по себе артикль может, как известно, объединять и неродственные языки (он имеется, в частности, в арабском), но подобное «объединение» — лишь чисто внешний и мало о чем говорящий признак. А вот когда исследователь устанавливает функции подобного артикля и показывает, как неодинаково «ведет себя» артикль не только в неродственных, но и в родственных языках, тогда исследователь покидает чисто формальную позицию и занимает позицию функциональную.

На мой взгляд, лишь такая позиция может приблизить лингвиста к пониманию подлинных сходств и подлинных несходств между языками. Не могут здесь помочь и так называемые «глубинные структуры» Н. Хомского. Они уведут филологов в сторону от основной проблемы науки о языке: от проблемы взаимодействия формы (в широком смысле) и содержания, от того, как следует понимать двусторонний характер огромного большинства языковых единиц.

В последующих строках речь пойдет лишь о родственных языках, хотя аналогичная проблема возникает и при изучении языков неродственных (ее типологический аспект).

Разумеется, в наш век научно-технической революции, в век широкого общения между народами разных стран и континентов, лингвисты стали больше обращать внимания на интернациональные и универсальные тенденции языков и гораздо меньше — на их национальное своеобразие. Это понятно, но это неправомерно. Только тщательно изучая особенности каждого национального языка, можно осмыслить и универсальные тенденции, свойственные данному языку или данным языкам. Если дело бы обстояло иначе, то следовало ожидать в ближайшем будущем уничтожения национальных языков, их выравнивания по единому ранжиру. Факты опровергают подобную концепцию. Крупнейшие национальные писатели разных народов, как и сами эти народы, сознательно (в первом случае), а чаще всего бессознательно (во втором случае) всячески развивают национальные особенности своих языков на всех их уровнях. Вместе с тем все это нисколько не противоречит тому, что наш век широкого общения между народами находит, разумеется, свое своеобразное отражение и в языках, прежде всего — в их лексике и фразеологии¹.

Таковы причины, которые не должны позволить тезису «сходства и несходства между языками» превратиться в односторонний тезис, искажающий реальное соотношение между естественными языками нашей эпохи — «сходства между языками» в соответствии с универсальными тенденциями самих языков.

Н. Хомский, например, прямо утверждает, что его интересует лишь общая теория языка, так называемая компетенция (competence), тогда как изучение практического функционирования языков, их, по его терминологии, употребления (performance), будто бы относится к обязанностям эмпирической лингвистики, к обязанностям лингвистов-эмпириков². Хомского не интересует, как должен анализироваться конкретный материал конкретных языков. Само обращение к подобному материалу заранее объявляется результатом победы эмпирического метода. Но даже логически подобное заключение несостоятельно. Получается так, будто вопрос сводится не к методу исследования конкретного материала, а к самому факту обращения к конкретному материалу: «ты изучаешь конкретный языковой материал, следовательно (?), ты — эмпирик». У Хомского возникает *modus ponendo tollens* — в самом утверждении уже содержится его отрицание. Ученые, занимающиеся анализом конкретного материала конкретных языков, сейчас же объявляются эмпириками и выводятся тем самым за пределы науки. Функциональный подход к языку объявляется невозможным.

Но Хомский и здесь не оригинален. В 1923 г., например, Г. Шпет в своих «Эстетических фрагментах» стремился построить теоретическую эстетику, не обращая ни к какому конкретному материалу. Автор так и

¹ Не касаюсь здесь вопроса о том, насколько создание искусственных коммуникативных кодов актуально. Оно безусловно актуально для определенных технических целей. Но, начиная с шестидесятых годов, мне уже приходилось неоднократно писать о том, что кодовые построения и национальные языки — это принципиально различные научные понятия и категории. В наши дни это теперь понимают уже многие. См., в частности, интересную монографию американского ученого, переведенную на русский язык (Х. Дрейфус, Чего не могут вычислительные машины, М., 1978) и послесловие к ней советского философа Б. В. Бирюкова («Что же могут вычислительные машины», стр. 298—332). В статье «На путях научного поиска» (автор Л. Науменко) газета «Правда» 24 IX 1979 г. совершенно справедливо писала, что зачисление «...математических, кибернетических и им подобных обобщений в разряд философских... равнозначно позитивистскому отрицанию философии».

² См. об этом: С. Н. Хоскетт, *The state of the art*, The Hague, 1968, стр. 28—36. Позднее: Дж. Лайонз, *Введение в теоретическую лингвистику*, М., 1978, стр. 68 и сл.

писал: *exemple sunt odiosa* «примеры противоположены»³. Хотя Г. Шпет, противореча самому себе, в дальнейшем изложении все же приводит примеры, самый постулат типичен для исследователей, резко противопоставляющих теорию и практику. Г. Шпету тоже казалось, что «истинная теория» не нуждается в эмпирических подтверждениях.

Противопоставление теории и фактов (материала) сейчас вновь стало модным не только в лингвистике, но и более широко — в определенных философских направлениях. С резким протестом против такого противопоставления недавно выступил, в частности, Ж. Марселлези на страницах прогрессивного французского теоретического журнала «*La pensée*»⁴. Можно было бы сослаться и на многих виднейших ученых прошлого, уже давно отмечавших нелепость противопоставления теории и практики. Свыше ста лет тому назад об этом писал, в частности, Ч. Дарвин: «Я всегда отказывался от любой гипотезы, как только оказывалось, что факты противоречат ей»⁵. Это, разумеется, не означает, что наука не нуждается в гипотезах (она не может без них существовать), но это означает, что наука должна стремиться проверять (рано или поздно) свои гипотезы фактами, материалами, реальным «положением дел».

В противном случае неясно, как же быть с материалом существующих, весьма различных естественных языков народов мира? Рассуждения же о том, что подлинная лингвистическая теория будто бы вообще не нуждается ни в каком языковом материале, могут вызвать лишь недоумение. Как же тогда изучать не воображаемые, а реально бытующие языки? Можно, разумеется, построить «чистую» теорию падежа или «чистую» теорию предлога, но если подобные теории ничего не объясняют в процессе функционирования реально существующих языков, то кому и для чего нужны подобные теории?

Могут возразить, заметив, что теория иногда обгоняет практику. История разных наук знает подобные случаи. Это верно и это вполне возможно. Но все дело в том, что, во-первых, отставая, практика рано или поздно должна все же показать полезность и целесообразность данной теории, и, во-вторых, в конце XX столетия теория должна все же не противоречить таким положениям той или иной науки, без которых сама эта наука лишается всякого смысла. К подобным положениям лингвистики относится само наличие конкретного материала конкретных языков, без которого естественные языки человечества функционировать просто не могут.

Применительно к проблеме «сходств и различий» и сходства, и различия, разумеется, могут быть обобщены для каждой группы родственных языков, но каждое обобщение будет иметь силу в том случае, если оно окажется результатом обобщения соответствующих фактов (материала). Как это ни странно, очевидное оказывается неочевидным во многих направлениях современной лингвистики.

Вот и оказывается: «сходства и различия родственных языков» выступают как проблема весьма сложная не только потому, что обычно неодинаково понимаются и сходства, и несходства, но и по причине различного истолкования еще более общей доктрины — соотношения теории и фактов (материала), на которые должна опираться теория.

Если рассматривать «сходства и несходства» не только в синхронном плане, но и в плане исторического сложения подобных «сходств и несходств», то проблема еще более усложняется. В свое время В. Мейер-Любке в своей капитальной трехтомной грамматике романских языков,

³ Г. Ш п е т, Эстетические фрагменты, Пб., вып. 2, 1923, стр. 7 и 14.

⁴ «*La pensée*», 197, Paris, 1978, стр. 143.

⁵ Ч. Д а р в и н, Автобиография, М., 1957, стр. 153.

вышедшей еще в конце прошлого столетия и до сих пор сохраняющей свое значение (прежде всего обширным материалом), считал, что процесс развития грамматики этих языков определяется их постепенным упрощением. По мнению ученого, грамматика латинского языка была сложнее грамматики романских языков. При этом аргументация исследователя была такой: в романских языках флексий оказалось меньше сравнительно с латынью, следовательно (?), их грамматика стала проще ⁶.

В наше время подобное заключение представляется и наивным, и несостоятельным одновременно. Во-первых, невозможно доказать, что аналитические средства языка «проще» флективных средств. Во-вторых, — и это главное — языки, в том числе и их грамматика, в процессе развития не упрощаются, а обогащаются. И это естественно, памятуя об общественной природе естественных языков человечества и их постоянном взаимодействии с историей культуры в самом широком смысле ⁷.

Можно было бы и не вспоминать о доктрине «упрощения», если бы на нее постоянно не ссылались и многие современные исследователи ⁸. Между тем понятие «упрощение» в лингвистике имеет только стилистическое, но отнюдь не историческое значение. Стиль Тургенева или стиль Паустовского могут быть простыми, но, разумеется, не упрощенными. Между тем разговорная речь их современников нередко строилась по упрощенным грамматическим моделям. «Упрощенность» как стилистическое понятие возможна (при строгом разграничении простоты и упрощенности). Но «упрощенность» как историческое понятие невозможна, если не забывать, что литературные национальные языки в своем развитии не упрощаются, а обогащаются, как обогащается и осложняется общая культура людей, говорящих на этих языках. Если бы подобной зависимости (нередко опосредованной) не существовало, то и тезис о социальной природе языка лишился бы всякого смысла. Как видим, выход за пределы синхронной постановки вопроса о «сходствах и несходствах» между родственными языками сейчас же наталкивается на новые осложнения.

В свое время В. Хаверс в книге с интригующим названием «Объяснительный синтаксис. Руководство» сводил свои толкования к самым общим декларациям. «Сходства и несходства» между языками он пояснял то «стремлением языков к наглядности», то их «стремлением к краткости», то к желанию людей «выравнить формы» и т. д. ⁹. Но такого рода общие тенденции которые выдвигаются и многими современными исследователями, по существу оказываются мнимыми тенденциями. И здесь они не выводятся из материала, не вырастают из анализа фактов. И здесь факты подгоняются под ту или иную, заранее придуманную схему без учета многообразия самих этих фактов: «выравнивание» тех или иных грамматических форм обычно сопровождается противоположным процессом — либо возникновением новых «невыравненных» форм, либо возникновением нового типа дифференцирования в системе ранее бытовавших старых форм и т. д. Как видим, проблема «почему сходства и почему несходства» сложна и не может решаться прямолинейно.

2

Романский языковой материал особенно интересен для изучения проблемы «сходств и несходств». Как известно, романские языки располагают

⁶ W. Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen, Leipzig, 3, 1899, §§ 35, 44 и др.

⁷ См. об этом подробно мою кн.: «Что такое развитие и совершенствование языка?», М., 1977.

⁸ См., например, Е. Косериу в сб. «Zur Entstehung der romanischen Sprachen», Darmstadt, 1978, стр. 284—285.

⁹ W. Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg, 1931.

хорошо документированными источниками, своеобразным праязыком, из которого все они возникли. Это — латынь, классическая и так называемая вульгарная. И хотя в наши дни вновь возникли споры о том, какая из этих традиций — письменная или народная — позднее оказалась преобладающей¹⁰, наличие самого праязыка для всей романской лингвистической группы не может вызвать каких-либо сомнений¹¹.

И все же и здесь возникает парадоксальное положение. Хотя генетическое единство всех романских языков — это давно установленная и тщательно обоснованная аксиома, их структурно-грамматическое единство время от времени до сих пор берется под сомнение.

При этом рассуждают так: «набор грамматических категорий», объединяющий романские языки, оказывается во многом общим с «набором грамматических категорий», которые встречаются и в других индоевропейских языках (категории рода, числа, времени, общие части речи и члены предложения и т. д.). Затем следует заключение: «романские языки трудно свести к общему структурному типу»¹². Подобное заключение, разумеется, несправедливо. Оно — результат того понимания грамматических категорий, которое было отмечено в начальных строках данного изложения. Подсчитываются категории, но при этом не учитываются их функции в той или иной группе языков, как и в отдельно взятом языке. Если же опираться прежде всего на функции грамматических категорий, то можно и показать, и доказать, что «поведение» любой из названных здесь грамматических категорий во многом отличается от, казалось бы, аналогичного их поведения в славянских или германских языках. Для этого требуется понимание функций в грамматике, разграничение арифметического и функционального подходов (принципиально различных) к языку и его грамматике.

Если бы дело обстояло иначе, то сопоставительные грамматики такого типа, как, например, русско-английская или русско-французская были бы вообще невозможны, ибо «набор» грамматических категорий у них примерно один и тот же. Между тем у нас уже имеются такие в целом хорошо продуманные и интересно написанные монографии¹³. К сожалению, все еще очень мало сопоставительных грамматических разысканий («внутри» близкородственных языков: французско-испанских, итальяно-румынских, португальско-испанских и т. д. Подобные исследования возможны и необходимы именно потому, что внутри, казалось бы, внешне сходного «набора» грамматических категорий функциональные различия и расхождения оказываются весьма значительными и вместе с тем очень тонкими¹⁴.

¹⁰ См. интересную книгу польского филолога-романиста: W. Mańczak, *Le latin classique — langue romane commune*, Wrocław, 1977. В общелингвистическом плане обзор разных теорий соотношения разговорной и письменной традиций в индоевропейских языках см. в статье Г. Кристмана в журнале «*Zeitschrift für romanische Philologie*», Tübingen, 1978, 5—6, стр. 550—562 («Diskussion aktueller Probleme»).

¹¹ Впрочем, даже в 1926 г. рано умерший русский знаток романской филологии Д. К. Петров в статье со знаменательным названием «Темные вопросы романистики» относил именно к таким вопросам происхождение романских языков («Яфетический сборник», 4, Л., 1926, стр. 159).

¹² Сб. «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности», М., 1972, стр. 157.

¹³ См., например, А. И. Смирнитский. *Essentials of Russian grammar*, 2nd ed., Moscow, 1975; В. Г. Гак, *Русский язык в сопоставлении с французским*, М., 1975.

¹⁴ Не могу не заметить, что термин *набор* как грамматический термин получил самое широкое распространение у советских лингвистов. Между тем я считаю этот «термин» недельным: он противоречит пониманию языка как сложной системы. Выражения «набор признаков», «набор грамматических категорий» создают впечатление о чем-то случайном, незакономерном (внутренняя форма *набора* прозрачна: ср. *набор*

Таким образом, отрицать структурную общность романских языков (resp. славянских, германских и т. д.) на том основании, что сочетание грамматических категорий, для них характерное, оказывается во многом сочетанием общим, типичным для всех индоевропейских языков (я даже не только индоевропейских), недопустимо. Как только исследователь установит функциональные различия внутри этих категорий, станет ясно, что они по существу своему во многом несходны.

Португальский морфологически отличается от испанского языка только одной категорией (личными формами инфинитива), однако — это разные языки, так как их формально общие грамматические категории функционально во многом оказываются несходными. Поэтому-то в наше время ни у кого не возникает сомнения, что данные языки являются самостоятельными.

Арифметический подход к различиям внутри близкородственных языков себя ни в какой мере не оправдал, хотя такие опыты широко проводились в разных странах в шестидесятых и в начале семидесятых годов. В упомянутом, в частности, сборнике приводятся следующие цифровые данные: «французский язык отличается от испанского и португальского двадцатью чертами, от итальянского — шестнадцатью, от сардинского — семнадцатью и от румынского — двадцатью тремя!»¹⁵. Сами по себе подобные цифры ни о чем не говорят, пока не будет установлен удельный вес каждой подобной «черты» в системе каждого языка. Наличие личных форм инфинитива в португальском образует только одну «черту». Однако, как мы видели, ее вполне достаточно, чтобы отчетливо отделить португальскую морфологию от морфологии соседнего испанского языка. В других же случаях и несколько «черт» не в состоянии провести водораздел между языками. И здесь, как, впрочем, и всегда в языке, существенно не количество, а качество. Каждая черта языка, каждая его особенность должны осмысливаться функционально. Важен удельный вес каждой категории.

Чтобы исследовать «сходства и несходства», нужно разобраться еще в одной проблеме, которую можно назвать вечной. Имею в виду проблему формы и содержания в самих языках, а, следовательно, и в науке о языках. Пролито немало чернил, велись десятки дискуссий на эту тему, но сама проблема остается до сих пор сложной и обычно освещается с диаметрально противоположных позиций. Здесь я коснусь этой проблемы лишь в той мере, в какой это необходимо для темы настоящей статьи — грамматические «сходства и несходства»¹⁶.

В этой связи представляются основополагающими два суждения К. Маркса. Первое: «Форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания»¹⁷. Второе: «...если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня...»¹⁸. Если первое положение утверждает единство формы и содержания, то второе положение развивает мысль о том, насколько подобное единство сложно. В таком единстве нет непосредственного совпадения формы и содержания. Поэтому требуется «вмешательство» науки, чтобы обнаружить

цветов, набор слов). Если и принять этот «термин», то он должен принадлежать не структурной лингвистике, а лингвистике арифметической. Знаменательно, что Ю. Н. Тынянов еще в тридцатых годах резко протестовал против аналогичного термина в поэтике — *сумма приемов*. Он считал, что это «механическое понятие, подменяющее живое бытие художественного целого» (см. об этом вступительную статью В. А. Каверина к кн.: Ю. Н. Тынянов, Поэтика. История литературы. Кино, М., 1977, стр. 7).

¹⁵ Сб. «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков», стр. 334.

¹⁶ См. гл. «Категория значения в разных направлениях современного языкознания» в моей книге «Человек и его язык», 2-е изд., М., 1976, стр. 94—122.

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 1, стр. 159.

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 25, ч. 2, стр. 384.

и установить отмеченное единство. К. Маркс идет дальше. Он считает: если бы подобное единство формы и содержания само по себе было очевидно, то и наука оказалась бы ненужной. Одна из важнейших задач науки как раз и заключается в том, чтобы показать, как следует понимать взаимодействие формы и содержания в каждой области знания.

Хотя К. Маркс и не имел здесь в виду непосредственно лингвистики, эти его суждения особенно актуальны для науки о языке и, шире, — для филологии в целом. В самом деле. Как обнаружить единство формы и содержания в грамматике? Как в свете подобного единства изучать «сходства и расхождения» между родственными языками? Эти вопросы до сих пор остаются весьма сложными прежде всего потому, что единство формы и содержания в самом языке не дано непосредственно. Его надо обнаружить, установить и показать. А это сделать нелегко. Еще труднее доказать, как в свете подобного единства углубляется наше понимание природы языка, природы его различных категорий, особенностей его функционирования.

Все сказанное имеет особо важное значение для синтаксиса, лексики и стилистики. В двадцатых годах нашего столетия А. А. Шахматов предложил как бы двойной путь анализа синтаксических категорий: от форм их выражения к тому, что «им соответствует в мысли», к содержанию, а от содержания вновь к тому, какими синтаксическими средствами (формами) передается данное содержание. Иными словами: от формы к содержанию и от содержания к форме¹⁹. В своем «Синтаксисе русского языка», опубликованном уже посмертно и окончательно не завершеном, сам А. А. Шахматов не сумел последовательно провести этот принцип, хотя принцип был обоснован убедительно. Он обеспечивал, как тогда многим казалось, всесторонний анализ материала.

Дело в том, однако, что здесь возникли новые, первоначально непредвиденные трудности. Если первая часть «пути» (от форм к их значению) представлялась сравнительно ясной, то в ином виде предстала вторая часть пути — от содержания к форме его передачи. Синтаксические формы каждого языка к большей или меньшей полноте могут быть описаны (тем более — формы морфологические), а как описать содержательные категории языка? Больше того. Как понимать подобные содержательные категории? Они обычно никем не перечисляются (иногда даже и не называются). Поэтому вторая часть «пути» в синтаксическом исследовании сразу же оказалась неясной.

Насколько эта проблема действительно является сложной, показывает, в частности, следующее. В свое время младограмматики настаивали на том, что изучение синтаксиса может быть строго научным только тогда, когда исследователь последовательно исходит из одного постулата, — от форм к их значению. Об этом же писал и В. Мейер-Любке в предисловии к третьему тому («Синтаксис») своей сравнительной грамматики, которая здесь уже упоминалась. Но — странное дело! — защищая строгий принцип «от форм к их значению», тот же автор постоянно выделяет такие смысловые категории, как, например, «глаголы движения», «глаголы состояния», «глаголы, передающие душевное настроение» и т. д. При этом исследователь стремится выяснить, какими языковыми средствами (формами) они передаются в языке²⁰. Теоретически забракованный «обратный путь» — от смысловых категорий к категориям формальным (а попросту — от форм к их содержанию) практически оживал под пером многих исследователей.

¹⁹ См. об этом статью С. И. Бернштейна в сб. памяти А. А. Шахматова (ИОРЯС, 25, 1922).

²⁰ W. Meyer-Lübke, указ. соч., 3, стр. 1.

Любопытно, что еще в 1912 г. Ш. Балли, позднее ставший одним из самых известных последователей Соссюра, спрашивал: почему ни в одной грамматике французского языка нет раздела о «несобственном прямом стиле» (*le style indirect libre*), хотя он реально бытует во многих европейских языках? На этот вопрос сам Балли отвечал так: такого стиля нет в грамматиках, ибо он относится к формам мысли, а не к формам языка. Лингвисты же, не замечающие «форм мысли», тем самым «препятствуют изучению синтаксиса», не замечают живого движения языка ²¹.

Вопрос, однако, не сводится только к тому, насколько последовательно придерживаются своих же принципов в науке те или иные ученые. Вопрос прежде всего в том, с какими фактическими трудностями сталкивается теория — от значений к форме их передачи в том или ином языке (в тех или иных языках)?

Сравним два таких предложения: *Он переквалифицировался* и *Он получил новую квалификацию*. Двигаясь от значения к форме, можно утверждать, что одно и то же значение («новая квалификация») передается в этих двух предложениях совершенно различными грамматическими средствами. В первом случае — грамматически (приставкой *пере-*), во втором — лексически (прилагательным *новый*). Оказывается, в первом предложении значение (смысл) взаимодействует с грамматикой, во втором — с лексикой. Как видим, движение «от значения к форме» осложняется. В действительности, в реально существующих языках оно еще сложнее, чем это кажется с абстрактно-теоретической точки зрения.

Столкнувшись с подобными фактическими трудностями, огромное большинство лингвистов и у нас, и за рубежом обычно делают такие выводы: либо объявляют категорию значения категорией нелингвистической («долой семантику, она источник всего субъективного»), либо — и теперь это гораздо чаще и гораздо «моднее» — объявляют, будто бы «в языке всё семантика». Между тем для любого естественного языка и то, и другое «смерти подобно». В случае «долой семантику» становится совершенно неясным, как же язык может быть важнейшим средством коммуникации. В случае же «в языке всё семантика» языки вообще становятся ненужными и заменяются «чистым мышлением».

В свете подобных, на мой взгляд, несостоятельных деклараций (противоположности здесь полностью сходятся) становится особенно очевидной вся глубина ранее приведенного тезиса К. Маркса: хотя форма и сущность вещей непосредственно не совпадают, наука должна обнаружить взаимодействие между ними. Хотя смысловые категории, с которыми имеет дело лингвистика, и на разных уровнях языка, и в разных языках передаются различно, наука обязана обнаружить взаимодействие между ними, взаимодействие между формой и содержанием в широком смысле.

3

Я глубоко убежден, что для теории языка и, в частности, для теории грамматики, одинаково губительно и игнорировать семантику, и защищать тезис «в языке всё семантика». При этом, если в пятидесятых и шестидесятых годах преобладало первое направление, то в наши дни — второе. В обоих случаях ликвидируется проблема взаимодействия формы и содержания, без которой не может быть ни одного естественного языка, ни одной грамматики.

²¹ GRM, Leipzig, 1912, 4, стр. 605.

Приведу пример этого второго направления («в языке всё семантика»). В одной из статей 1978 г. читаем: «Он пишет роман и Он оказался дома должны быть признаны реализациями расширенного варианта той же схемы, по которой построено предложение *Грачи прилетели*, так как семантику схемы и в том, и в другом случае составляет событийность...²². Это — концепция «чистой семантики» или «всё семантика». Структурно совершенно различные предложения (*Он пишет роман* и *Грачи прилетели*) объявляются вариантами одной и той же схемы на основе «чистой семантики»: оба предложения передают «событийность». Но под «событийность» можно подвести все что угодно. Не говоря уже о том, что в двух последних предложениях «событийность» совершенно различная («событийность» у пишущего роман совсем иная сравнительно с «событийностью» прилета грачей), автор решительно отказывается от проблемы взаимодействия формы и значения, без которой нет предмета грамматики.

Оговорка «расширенный вариант той же схемы» не спасает дела: в этом случае «расширенным вариантом» может оказаться конструкция любого предложения. Получается, что в грамматике бытуют две-три схемы с их «расширенными вариантами». Ведь почти любое предложение в любом языке можно связать с «событийностью» в том толковании, которое придает этому слову автор статьи.

Примененный на практике тезис «в языке всё семантика» («в грамматике всё семантика») оказывается губительным и для языка в целом, и для грамматики.

Постараемся, однако, отбросить экстравагантности (они никогда не помогали науке) и присмотримся к реальным трудностям, с которыми имеет дело наука о языке и, в частности, грамматика.

Но еще несколько слов о крайностях. Если тезис «в языке всё семантика» смертелен для грамматики (как, впрочем, и для языка вообще), то таким же мне представляется и противоположный тезис, согласно которому семантика в грамматике — это источник всего субъективного, ненаучного²³. Постараюсь сейчас показать, что подобная постановка вопроса противоречит фактам, а поэтому оказывается несостоятельной.

Начну с элементарных примеров. До сих пор никто не сомневался в том, что в языках, располагающих падежами, само понятие падежа, как и понятие об его отдельных разновидностях, различных в разнообразных языках (например, родительный или творительный падежи), это категории грамматические. Между тем, определяя функции каждого отдельного падежа, мы обязаны обратиться к его грамматической семантике. Отмечая, что в русском языке родительный падеж — это падеж прежде всего «принадлежности», закономерно обращаемся к его грамматической семантике. Если отбросим подобное, будто бы «субъективное определение» конкретного падежа, сейчас же становится неясно, что же передает подобный падеж, какова его функция в языке? Проблема не решается, однако, так просто. В том же русском языке, как и в других флективных языках индоевропейской группы (в частности, в греческом и латинском), известно не одно грамматическое значение родительного падежа, а множество. Бытует не только родительный падеж «принадлежности», но и «цели» (достигнуть *результата*), «материала» (стол *красного дерева*), «меры» (стакан *воды*), «веса» (килограмм *хлеба*) и множество других.

Возникает важный для теории грамматики вопрос: каковы пределы подобного дробления? Где «кончается» грамматика и начинается лексика?

²² Т. Н. Шмелева, О семантике структурной схемы предложения, ИАН СЛЯ, 1978, 4, стр. 361.

²³ Именно так ставится вопрос, например, в кн.: П. С. Кузнецов, О принципах изучения грамматики, М., 1961, стр. 43—45.

Иначе: где грамматическое значение переходит в значение чисто лексическое? Подобные вопросы обычно даже не ставятся²⁴. Между тем, как представляется, они весьма существенны для понимания природы грамматического значения, для понимания взаимодействия грамматики и лексики.

Поверхностному взгляду может показаться, что все это очевидно и известно каждому школьнику. Да, факты, разумеется, известны, но их природа вплоть до наших дней толкуется либо с противоположных позиций («всё семантика» — «никакой семантики»), либо вообще никак не осмысливается. До сих пор, насколько можно судить, никто не обращал внимания, что определения родительного падежа как падежа прежде всего принадлежности, а винительного падежа как падежа объекта предстают как определения теоретически разнородные: в первом случае определение опирается на грамматическую семантику (*принадлежность*, переданная грамматически), во втором — определение не выходит за пределы «чистой» грамматики (падеж *объекта*, где объект выступает как строго грамматический термин).

В прошлом столетии подобные вопросы глубоко интересовали А. А. Потебню, затем о них почти совсем забыли²⁵. Между тем здесь-то особенно очевидно, как много еще спорного в теории грамматики.

Бесспорно, однако, одно: в теории грамматики невозможно разобраться без привлечения конкретного материала различных языков, без понимания своеобразия грамматического значения, без учета взаимодействия грамматических и семантических (а то и просто лексических) категорий. В последние годы исследователи писали о том, как лексика ограничивает те или иные синтаксические конструкции (разыскивания Н. Ю. Шведовой, Д. Н. Шмелева и некоторых др.), но до сих пор не ставился вопрос о том, как дробятся более общие грамматические категории на категории более частные, более специальные в зависимости от их же семантики. Весьма существенно при этом, что подобная семантика может быть не только грамматической (например, семантика прямого или косвенного объекта), но и лексической (в этом случае перечисляются слова, которые могут или не могут функционировать в системе данной конструкции). Пояню подобное различие. Оно представляется важным и необходимым для теории грамматики.

В испанском и в румынском языках прямое дополнение оформляется либо без предлога, либо с помощью предлога. При этом дифференциация проводится по принципу грамматической (обобщенной) семантики: одушевленные имена «требуют» предлога, неодушевленные — в предлоге не нуждаются. Испанцы различают: *veo la casa* «я вижу дом», но *veo a la niña* «я вижу девочку». Аналогичное разделение имеется в румынском и в молдавском, только проводится оно не при помощи предлога *a*, а при помощи предлога *pe*. Во всех случаях мы имеем здесь дело не с лексическим ограничением, а с грамматическим, точнее — с ограничением, определяемым грамматической семантикой. Речь идет не об отдельных существительных (лексика), а о больших группах имен существительных (одушевленных или неодушевленных). Подобные обобщенные по семантическому признаку группы и составляют специфику грамматической семантики. Но если бы пришлось перечислять отдельные имена или отдельные глаголы, тогда

²⁴ Впрочем, в другом плане на материале японского языка см. наблюдения А. А. Холодовича в его кн.: «Проблемы грамматической теории», М., 1979, стр. 228 и сл.

²⁵ Из более поздних работ следует отметить яркую статью Р. О. Якобсона о теории падежей (TCLP, 6, 1936, стр. 240—288).

выступили бы вперед лексические ограничения (взаимодействие грамматики и лексики). Так обнаруживается возможность и необходимость различать в самой грамматике семантику грамматическую и семантику лексическую.

Известно, что проблема прямого дополнения в романских языках сложна и неоднократно привлекала к себе внимание исследователей. Если говорящий почему-либо представляет себе неодушевленный предмет как одушевленный (землю, небо, годы, горы и т. д.), то и предлог появляется перед дополнением. Могут быть и другие исключения и осложнения в процессе самого разграничения таких категорий, как одушевленность и неодушевленность. И все же отмеченное разграничение сохраняет свою силу и с ним обязаны считаться говорящие и пишущие люди, желающие соблюдать нормы соответствующего литературного языка.

Любопытно, что отмеченное правило функционирования предложного и беспредложного дополнения в испанском и румынском (аналогичная картина в молдавском) иначе представлено в португальском языке, где подобная закономерность осмысливается не синтаксически, а стилистически. Португальцы в обоих случаях (и при одушевленных, и при неодушевленных именах) могут употреблять, а могут и не употреблять предлога. Но в первом случае, при наличии предлога перед дополнением, само это дополнение выступает со своеобразным дополнительным акцентом²⁶. Категория, оформляющаяся как синтаксическая в одних языках, в других родственных языках может не «дотянуть» до синтаксиса и осмысливаться более свободно, находиться в распоряжении стилистики.

Не менее интересно, что в итальянском аналогичная конструкция встречается только за пределами литературной нормы и характеризует диалектную речь (*avere uno a maestro*, букв. «иметь кого-либо учителем»). Амплитуда конструкции расширяется: синтаксическая норма в одних языках, стилистическая — в других, характеристика диалектной речи — в третьей группе языков (не только в итальянском, но и в ретороманском и сардинском)²⁷. Трудность проблемы, однако, в том, что и в испанском, где подобная конструкция имеет, казалось бы, чисто синтаксический характер (как и в румынском), ее можно толковать одновременно и в стилистическом плане: *veo a la niña* «я вижу девочку» предлог *a* следует рассматривать не только как «автомат для одушевленных понятий», но одновременно и как средство стилистического выделения — «я вижу девочку, а не кого-либо другого».

При всей гибкости и подвижности подобных градаций они все же дают возможность разобраться в специфике грамматического значения в отличие от значения лексического: в первом случае речь идет об обобщенных (в большей или меньшей степени) категориях, во втором — об отдельных словах. Когда же перечисляются отдельные испанские глаголы, которые чаще всего сочетаются с предложными дополнениями, тогда можно говорить о лексическом ограничении синтаксической конструкции. Но в обоих случаях речь идет о взаимодействии грамматики и семантики. Эту последнюю, однако, представляется целесообразным разграничить: семантику грамматическую (категориальную) и семантику лексическую (отдельные слова или отдельные группы слов).

²⁶ См. убедительные примеры: P. T e u s s i e r, Manuel de la langue portugaise, Paris, 1976, стр. 202 (здесь же дается сравнение двух вариантов нормы — португальской и бразильской). История сложения конструкции K. D e l i l l e, Die geschichtliche Entwicklung des präpositionalen Akkusativs im portugiesischen, Bonn, 1970.

²⁷ Э. Б у р с ь е, Основы романского языкознания, М., 1952, стр. 455, 537.

Несмотря на то, что предложным дополнением в романских языках занимались многие лингвисты²⁸, особенности функционирования этой конструкции оказываются весьма многообразными и не укладываются в простую схему. Разграничение «одушевленные понятия — неодушевленные понятия» выступает лишь как общий постулат, который постоянно осложняется под воздействием грамматической и лексической семантики. К тому же в истории всех романских языков, в которых бытует эта конструкция, она то укреплялась в процессе своего функционирования, то вновь ослабевала, становилась не строго обязательной. В древнейших текстах румынского языка анализируемая конструкция еще не встречается, а затем позднее, в особенности в румынских переводах славянских текстов, она закрепляется и в румынском. Так появилось предположение о связи более позднего румынского предлога *pe* с более ранним болгарским предлогом *na*²⁹.

Возникает новая проблема: испанская конструкция с предлогом *a* несомненно возникла на романской почве, а румынская конструкция с предлогом *pe* — на почве славянской, в процессе славяно-румынского лингвистического взаимодействия в XVI—XVII столетиях. Диахронно и генетически различные, синхронно, в современных языках, эти конструкции функционируют во многом сходно. Здесь уже можно говорить об единой конструкции, хотя и имеющей варианты в разных языках. И это тоже весьма поучительно. Синхрония и зависит от диахронии, и вносит в диахронию свои собственные поправки.

История предложного и беспредложного объекта учит нас понимать, как внешне сходная грамматическая конструкция функционирует в разных языках обычно чуть-чуть несходно. Подобное «чуть-чуть» весьма важно для осмысления специфики каждого языка, для понимания функций изучаемой конструкции в родственных языках. Вместе с тем нельзя проходить и мимо сходства в поведении такой конструкции в тех или иных языках. Проблема «сходств и несходств» («сходств и различий») и здесь властно напоминает о себе при сравнительном изучении родственных языков.

4

Присмотримся, однако, еще ближе к характеру взаимодействия грамматики, грамматической семантики и лексики. Вместо обычного разграничения «грамматика — лексика» возникает разграничение тройное. Это целесообразно не для осложнения схемы, а для нашего приближения к пониманию природы самой грамматики.

Когда говорят о социальной природе языка, то имеют в виду все, что угодно, только не грамматику. Разумеют прежде всего лексику, разнообразные условия развития литературных языков в их взаимодействии с диалектами, явления билингвизма и т. д. Между тем, как мне уже приходилось отмечать, и грамматика не находится в стороне от социальных условий развития самых различных языков. Не следует только подобную связь понимать прямолинейно, тем более — вульгарно. Такая связь весьма своеобразна, и на нее уже обращали внимание (к сожалению, только попутно) отдельные выдающиеся лингвисты³⁰. И это понятно, если не забывать, что социально детерминированными оказываются не только ус-

²⁸ Помимо уже названных см. еще: H. I s e n b e r g, *Das direkte Objekt im Spanischen*, Berlin, 1968.

²⁹ Впрочем, имеется и противоположное мнение, согласно которому здесь наблюдается румынское влияние на болгарский язык: A. d u N a y, *The early history of Rumanian language*, [б. м.], 1977, стр. 96.

³⁰ См. в этой связи, в частности, яркую книгу Л. П. Я к у б и н с к о г о «История древнерусского языка», М., 1953, стр. 158—272.

ловия развития тех или иных языков, но прежде всего с а м а и х п р и р о д а, и х ф у н к ц и и. В этом, в частности, обнаруживается одно из важнейших отличий естественных языков от искусственных кодовых построений.

Ранее уже упомянутый определенный артикль бытует во всех романских языках, хотя функционирует во многом различно. Не касаясь здесь вопроса о его генезисе (об этом много писали), отмечу, что сфера его распространения не сразу охватила все имена существительные. В старых романских текстах такие имена, как, например, *солнце, луна, земля, бог, любовь, ненависть* и другие, обозначавшие либо единичные предметы, либо абстрактные понятия, обычно употреблялись без сопровождающего их артикля. К этой же категории относились слова типа *император* (он мог быть одним), названия служителей культа, представителей высшей власти и т. д.³¹

Здесь лексика, точнее, определенная часть лексики ограничивала сферу действия грамматики, степень обязательности ее норм. Вместе с тем очевидны и мировоззренческие (общественные) истоки подобных ограничений. Человеку средних веков представлялось, что определенная группа слов не нуждается ни в какой детерминации. Здесь могло и не быть сознательного ограничения. Тем более интересно подобное ограничение и тем более очевидна его мировоззренческая основа. Историки цивилизации неоднократно отмечали, что средневековые люди «иначе видели мир» сравнительно с людьми нашего времени³². И не только лексика, но часто и грамматика исторически подтверждают это положение.

Разумеется, здесь не все так просто. И в «Песне о Роланде», и в «Поэме о Сиде» (оба текста относятся к XII столетию) такое имя, как, например, *император* (исп. *emperador*, ст.-франц. *empereor*) все же иногда встречалось в сопровождении артикля, хотя по только что названному правилу средневекового мировоззрения этого не должно было бы наблюдаться. Но дело в том, что одна особенность тогдашнего мировоззрения, сплетаясь и соединяясь с другой или другими его особенностями, постоянно осложняли ситуацию и тем самым (в конечном счете) и грамматическую норму, степень ее регулярности, обязательности.

Отмеченная особенность средневекового мировоззрения, находившая почти прямое выражение и в грамматике, приводила к тому, что имена существительные, в особенности обозначавшие абстрактные понятия, обычно сопровождалась самыми различными детерминативами, в роли которых выступали не только артикли, но и разнообразные другие части речи (местоимения, прилагательные, числительные и т. д.).

В старых романских текстах (во многом сходную картину можно обнаружить и в старых славянских и германских текстах) имена существительных как бы обволакивались всевозможными определителями. В буквальном русском переводе: *вот моя эта рука, вот его та нога, вот это самое светлое небо, вот тот самый удаленный от нас мир* и т. п. Старые романские языки могли нанизывать один определитель на другой. Этого обычно не допускают современные языки. Если в наши дни француз скажет *mon ami* «мой друг», то он уже не может сказать *le mon ami* (два определителя здесь невозможны), тогда как в старом языке подобная конструкция с двумя и более определителями была очень широко распространена. Аналогичная картина и в истории всех других романских

³¹ W. Meyer-Lübke, указ. соч., 3, § 160 и сл. Новые данные см. в работе: P. В е с, *Manuel pratique de philologie romane*, II, Paris, 1971, стр. 44 и сл.

³² А. Я. Г у р е в и ч, Категории средневековой культуры, М., 1972, стр. 16 и 234. Из старых работ сохраняет свое значение: Г. Э й к е н, История и система средневекового мирозерцания, СПб., 1907.

языков³³. Сами эти факты известны, но до сих пор не сделаны обобщения, которые должны следовать из подобных фактов.

В мировоззрении средневековых людей сталкивались два, внешне противоречивых, а по существу глубоко связанных между собой постулата. Один из этих постулатов не позволял выравнивать в языке такие имена, как *стол*, *дом*, *хлеб*, и такие, как *господин*, *император*, *всевышний*. В языке это отражалось, в частности, в употреблении (в первом случае) или неупотреблении (во втором случае) артикля. Другой же постулат «смешивал карты» первого постулата, стремясь каждое существительное, независимо от степени его «важности» или абстрактности, как бы наделять большим количеством определителей и придавать тем самым всей речи максимально наглядный характер. Эта вторая тенденция, взаимодействуя с первой, осложняла и правила употребления артикля в средневековых текстах, вплоть до текстов XVI, а кое-где даже и до текстов XVII столетия.

Как это и ни странно с первого взгляда, противоречивые тенденции в грамматике лишь подтверждают ее важные социальные функции, ее связь с историей культуры. Разумеется, и здесь ничего не определялось прямолинейно. Семантически прозрачные отношения на одних этапах развития языков могут выступать как формализованные отношения на других этапах их исторического движения. В процессе функционирования та или иная грамматическая конструкция, если она постоянно не оживляется лексикой (взаимодействие грамматики и лексики), может приобрести абстрактно-грамматическое, формализованное значение. В этом случае начинает доминировать одно из возможных грамматических значений — абстрактно-грамматическое. Когда современный француз скажет *il avait collé son front à la vitre* «он прижался лбом к оконному стеклу» (букв. «своим лбом»), то с позиции русской грамматики местоимение *свой* здесь оказывается лишним. Между тем все романские языки стремятся прибегнуть в аналогичных случаях к тому или иному детерминативу. Это может быть и местоимение, и артикль, и прилагательное, и другая часть речи. Существенно только то, что опора на детерминатив более характерна для романских языков и может быть менее показательной для других языков.

В свою очередь и внутри романских языков здесь обнаруживаются различия. Приведу только один пример из новейших, профессионально тщательно выполненных переводов текста «Госпожи Бовари» Флобера на основные романские языки.

Сообщая, как обедал господин Бовари и что он ел, возвращаясь домой, автор перечисляет «его сыр, его графин...» (*son fromage, sa carafe...*), тогда как в соответствующих итальянском (*la crosta del fromaggio, la caraffa*), испанском (*la corteza al queso, una botella*), португальском (*a côdea ao queijo, a garrafa*) и румынском (*brînza, carafa*—с постпозитивным артиклем) переводах везде выступает в функции детерминатива не местоимение *свой*, как во французском, а определенный артикль. И таких примеров разл и ч н о й д е т е р м и н а ц и и в моей картотеке десятки. Следовательно, все романские языки в аналогичных случаях нуждаются в детерминативе существительного, но вопрос о том, какой детерминатив при этом выбирается, может отделять один язык от другого или других, хотя и близкородственных языков. Структура конструкции выступает как структура общероманская, а вот ее наполнение, а, следовательно, и

³³ Собрание примеров из разных языков см.: E. L o m m a t z s c h, Kleinere Schriften zur romanischen Philologie, Berlin, 1954, стр. 3—58.

функционирование, варьируется внутри романских языков³⁴. В русском же, как и в большинстве других славянских языков, в подобных случаях детерминативы представляются ненужными.

Дело, следовательно, не только в том, что внутри большой группы индоевропейских языков наблюдаются грамматические расхождения. Расхождения наблюдаются и внутри отдельных индоевропейских подгрупп. Это известно. К сожалению, однако, до сих пор не отмечалось, что второй тип расхождений, как правило, качественно отличается от первого типа расхождений. В первом случае та или иная грамматическая категория может быть или не быть, во втором — чаще всего речь идет о различиях внутри одной и той же общей категории. В приведенном случае — в способе выражения детерминации имени той или иной частью речи.

Если, как мы видели, неблизкородственные языки часто отличаются друг от друга типами грамматических конструкций, то близкородственные языки — вариантами единых конструкций, материалом, заполняющим эти конструкции. Подобное разграничение грамматических конструкций, казалось бы, очевидное, обычно не проводится в сравнительно-грамматических разысканиях.

Но и здесь возникает множество вопросов, на которые до сих пор трудно дать ответ. Если в средневековых европейских языках детерминация имен с помощью разнообразных частей речи может рассматриваться как «богатство от бедности» (выражение Л. П. Якубинского), то в какой степени, когда и в каких языках подобная детерминация утрачивает свое живое значение и превращается в грамматическое клише? На этот вопрос не находим ответа. Ведь детерминация во многих случаях остается живой, необходимой и в современных языках. Стоит только напомнить элементарные примеры: *человек, этот человек, этот самый человек, этот самый хороший (плохой, добрый, умный, выдающийся) человек* и т. д. Ссылка на то, что сравнительно самостоятельные части речи, например, прилагательные, обычно не подвергаются грамматизации, а части речи типа местоимений или артиклей легко подвергаются подобному процессу, не решает дела, ибо в сравнительно-типологическом плане прилагательное в функции определителя может равняться притяжательному местоимению или даже артиклю в другом, типологически отличном, языке. Поэтому сама проблема нуждается в дальнейших исследованиях.

Здесь хотелось отметить два положения. Первое: как общее правило в сходных грамматических построениях обнаруживаются их варианты в разных, близкородственных языках. Однако, подобные варианты несколько не разрушают близкого родства самих этих языков. Второе: на разных этапах развития родственных языков степень семантической прозрачности тех или иных грамматических конструкций обычно бывает различной, ибо различно складываются отношения между грамматической формой, грамматической семантикой и семантикой слов, «охватываемых» той или иной грамматической конструкцией (тройной ряд соответствий).

5

Проследим теперь кратко соотношение между падежами и предлогами в диахронии и синхронии романских языков. Заметим прежде всего, что всевозможные рассуждения на тему о том, какое из этих грамматических средств лучше или хуже, конкретнее или абстрактнее, представляют-

³⁴ Об особой позиции румынских детерминативов см. мои «Этюды по синтаксису румынского языка» (М., 1958, стр. 64 и сл.).

ся мне совершенно несостоятельными. К сожалению, до самого последнего времени появляются многочисленные статьи и даже книги на эту тему³⁵. Между тем с одинаковым правом можно «доказывать», что падежи передают абстрактные грамматические отношения, а предлоги — конкретные, как и защищать противоположный тезис, согласно которому абстрактность закрепляется за предлогами, а конкретность — за падежами. Все дело в том, что любые грамматические категории, любые грамматические отношения развитых языков человечества способны передавать и абстрактные, и конкретные отношения. В противном случае грамматика развитых языков не справлялась бы со своими основными задачами. Взятые сами по себе, подобные категории и отношения могут казаться абстрактными, в процессе же их живого функционирования — достаточно конкретными. Следует более вдумчиво оперировать понятиями абстрактного и конкретного в грамматике.

Начнем с известных положений. Их придется затем усложнить.

Как известно, в латинских письменных текстах роль именной флексии была огромной. *Manus homines* «рука человека» — отношение между словами передано флексией родительного падежа. В большинстве современных романских языков (кроме румынского и молдавского) в подобных случаях грамматические отношения передаются уже не с помощью падежа, а с помощью предлога, прежде всего — предлога *de (di)*. Казалось бы, все очень просто: вместо латинских падежей романские предлоги.

Действительность, однако, оказывается гораздо сложнее. Присмотримся к случаям латинского соположения: *urbs Roma* «город Рим», но итальянское *la città di Roma*. В общую формулу сейчас же следует внести разнообразные ограничения. Прежде всего следует выделить различные подгруппы, в которых и романские языки обходятся без всяких предлогов. Например, в обращениях: итал. *il poeta Ariosto* «поэт Ариосто», франц. *l'empereur Napoléon* «император Наполеон», исп. *el poeta Cervantes* «писатель Сервантес» и т. д. Оказывается, однако, что подобных подгрупп очень много: названия рек, гор, улиц, учреждений и т. д. Французы обычно говорят *rue Bonaparte* «улица Бонапарта» (без предлога), но *rue de Seine* «улица Сены» (с предлогом). Прямолинейное грамматическое противопоставление: латинские флексии (падежи) — романские предлоги сейчас же усложняется, как только мы окунаемся в материал, обращаемся к реальным фактам функционирования живых современных языков.

Из этих фактов можно сделать два противоположных заключения: 1) нет никаких закономерных соответствий между родственными языками (ошибочное заключение), 2) закономерности, безусловно, существуют, но они становятся многоступенчатыми под влиянием того самого тройного взаимодействия грамматики, грамматической семантики и лексической семантики, о котором речь шла в предшествующих строках. В самом деле. Сравним хотя бы такой ряд: лат. *corona aurea* «золотая корона» и соответствующие романские построения: рум. *cinină din aur*, итал. *corona d'oro*, франц. *couronne d'or*, исп. *corona de oro*, порт. *coroa de ouro*. Романская общность очевидна. Но подобная очевидность не только не исключает, но и предполагает возможные осложнения внутри этой общности. В противном случае надо было бы говорить не о романских языках, а о едином романском языке.

Несмотря на общность (предложные аналитические конструкции), между романскими языками здесь обнаруживаются серьезные расхождения. Испанский и португальский языки широко допускают стяжение

³⁵ См., например: М. Л. Л ó р е з, *Problemas y métodos en el análisis de preposiciones*, Madrid, 1970.

различных предлогов (явление «сгаше» в португальском), тогда как для французского, казалось бы наиболее аналитического языка, это явление теперь мало характерно³⁶. Французский предпочитает предлог *de*, а испанский — предлог *a*. Румынский и молдавский используют предлог в комбинации с падежами, чего не в состоянии сделать другие романские языки, не сохранившие падежных противопоставлений. Иная картина обрисовывается в диахронии: до начала XIV столетия французский и провансальский сохраняли противопоставление двух падежей (прямого и косвенного), следовательно, и сочетание падежей и предлогов, показательное для румынского и молдавского наших дней, было некогда типично и для другой подгруппы романских языков. Грамматическая группировка языков, их классификация внутри родственной семьи, может, таким образом, меняться в разные исторические эпохи.

Процессе исторического движения от флексий к предлогам в системе романского имени не был процессом только имманентным, как обычно считают. Если проследить, на какие группы слов первоначально распространялись предлоги и на какие до поры до времени не распространялись, то можно и здесь обнаружить социальную обусловленность самого процесса.

Знарок старофранцузских текстов Л. Фуле отмечает, что писатели той эпохи избегали конструкций с предлогами, когда речь шла либо «о высокопоставленных лицах», либо о лицах «просто уважаемых». Большой французский поэт двенадцатого столетия Кретьен де Труа пишет *«en la prison le roi Artu»* в темнице короля Артура (современное *du roi*), не прибегая к предлогу и опираясь на косвенный падеж артикля³⁷. Учитывая, что подобные случаи в старых текстах многочисленны, возникает желание проследить, как пробивали себе дорогу предложные конструкции сквозь «толщу» тех или иных лексических групп. Здесь уже знакомая нам проблема взаимодействия грамматики и лексики. Социальная же обусловленность последней отражалась и на социальной обусловленности сферы распространения предложных конструкций, на социальной обусловленности грамматики.

Как мы уже знаем, процесс движения от флексий имени к предложным построениям не был процессом прямолинейным. По мнению специалистов, в современном румынском языке дательный падеж вновь оттесняет предложные построения³⁸. И дело здесь не в круговороте, не в «заколдованном круге» (от флексий к предлогам, а от предлогов вновь к флексиям), как часто считают, а в функциях каждой грамматической категории. Румынский, как и молдавский, принадлежит к романским языкам, все же иначе распределяет функции между падежами и предлогами, чем западные романские языки. И хотя эти последние сохраняют в наше время падежи лишь в сфере местоимений, некоторые из них опирались на падежи в сфере существительных и прилагательных вплоть до XIV столетия. Следовательно, то, что было актуально для французского и провансальского в средние века, для румынского и молдавского актуально и в наше время (способ соотношения падежей и предлогов).

³⁶ Хотя пополнение языка типом *de-ab-ante* > *devant* уже невозможно, пополнение устойчивыми сочетаниями типа *au point de vue* «с точки зрения» широко наблюдается.

³⁷ L. F o u l e t, *Petite syntaxe de l'ancien français*, 3 éd., Paris, 1958, стр. 14—22. Для испанского: R. L a p e s a, *Historia de la lengua española*, 4 ed., Madrid, 1959 (гл. «El español arcaico»).

³⁸ См. об этом специальную статью И. И о р д а н а в сб. «Bulletin linguistique», București, 1939, стр. 29—64.

Так родство языков подтверждается не только движением от диахронии к синхронии, но и движением от синхронии к диахронии. Этим же последним движением детерминируются и различия внутри близкородственных языков.

Социальная обусловленность изучаемого процесса обнаруживается также и в том, как распалась падежная система в разных романских языках. В провансальском языке она распалась раньше, чем во французском, так как первый из них был связан с каталанским, который не знал падежей вовсе. Между тем провансальские трубадуры, стремившиеся писать «на чистом провансальском языке», строго соблюдали систему двух падежей³⁹. Получилось так, что в живом провансальском падежей не было уже тогда, когда «песенная речь» трубадуров строго соблюдала систему противопоставления прямого и косвенного падежей.

Взаимодействие грамматики, грамматической семантики и лексической семантики в истории самого процесса движения от флексий к предлогам может быть прослежено достаточно четко. Обычно допускают лишь лексические значения отдельных предлогов, но не обнаруживают тройного соотношения, отмеченного выше.

В статье была сделана попытка показать, что: 1) в самих грамматических чертах сходства между близкородственными языками, как общее правило, таятся и различия, 2) эти различия нисколько не опровергают самого родства языков, 3) как бы внутри близкородственных языков грамматические различия отличаются по своему типу, по своей качественной характеристике от различий внутри дальнеродственных языков (в нашем случае тип романского родства и тип индоевропейского родства, их качественная гетерогенность почти совсем не исследована), 4) сходства и различия в системах обоих отмеченных типов родства следует устанавливать не арифметически, не с помощью плюсов и минусов, а функционально, 5) целесообразное, практически полезное разграничение синхронии и диахронии не должно, однако, мешать пониманию постоянного взаимодействия между ними: диахронные отношения в одном языке могут выступать как синхронные отношения в другом языке, 6) грамматика, строго сохраняя свою специфику и не растворяясь в бесформенном «смысле», обычно взаимодействует с лексикой не прямо, а через сферу грамматической семантики (тройной ряд соответствий: грамматическая форма, грамматическая семантика, лексическая семантика)⁴⁰.

³⁹ W. Meyer-Lübke, *Das Katalanische. Seine Stellung zum Spanischen und Provenzalischen*, Heidelberg, 1925, стр. 68. Интересные материалы и соображения о позиции провансальского языка см. в кн.: Ch. Camproux, *Histoire de la littérature occitane*, Paris, 1971, стр. 40—82.

⁴⁰ Что же касается статистических подсчетов тех или иных конструкций, то, по моему давнему убеждению, статистика в науке о языке может иметь лишь вспомогательное значение. Очень старые лингвостатистические публикации XIX в. и аналогичные многочисленные публикации последних тридцати лет сами это обнаружили и доказали. Следует, однако, подчеркнуть, что вспомогательная роль статистики беспорна и не подлежит сомнению: функциональный анализ может быть подкреплён статистическими данными.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В., ИВАНОВ Вяч. В.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ СМЫЧНЫХ ОБЩЕИНДООЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА.

ГЛОТТАЛИЗОВАННЫЕ СМЫЧНЫЕ В ИНДООЕВРОПЕЙСКОМ

Для позднеобщиндоевропейского состояния система смычных реконструируется в соответствии с традицией в виде трех серий и четырех локальных рядов¹. Ряды объединяют фонемы по тождеству артикуляторных признаков места образования, серии — одного способа образования, т. е. в сериях объединяются фонемы гомогенные, но гетерогенные, а в рядах — гомогенные, но гетерогенные.

Три серии индоевропейских взрывных в традиционном представлении характеризуются как звонкие (*mediae*), звонкие придыхательные (*mediae aspiratae*) и глухие (*tenues*), а локальные ряды как лабиальный, дентальный, велярный и лабиовелярный (см. табл. 1).

Таблица 1

Традиционная («классическая») система индоевропейских смычных

I	II	III
<i>b</i>	<i>b^h</i>	<i>p</i>
<i>d</i>	<i>d^h</i>	<i>t</i>
<i>g</i>	<i>g^h</i>	<i>k</i>
<i>g^w</i>	<i>g^{wh}</i>	<i>k^w</i>

В традиционно реконструируемой системе обращает на себя внимание неравномерное заполнение лабиального ряда в серии «звонких». Уже Х. Педерсеном² было замечено, что в реконструируемой в таком виде индоевропейской системе отсутствует билабиальная звонкая фонема *b* при наличии большого числа корневых морфем с фонемами *g* и *d*. Все формы, приводимые для иллюстрации наличия звонкого *b* в индоевропейском, устраняются Педерсеном как неубедительные. В частности, Педерсен показывает, что в сопоставляемых обычно формах др.-инд. *balam* «сила», др.-греч. βέλτιον «лучше», ст.-слав. болѣ «более» могут быть этимологически связаны друг с другом только древнеиндийская и славянская формы, что не дает основания для постулирования начального *b*- в общиндоевропейском. Можно говорить о почти полном отсутствии форм, которые бес-

¹ Различие между локальными рядами так называемых «гutturальных» фонем рассматривается нами в особой статье. В настоящей статье при исследовании серий индоевропейских смычных можно ограничиться информацией, касающейся трех локальных рядов: лабиального, дентального и велярного (независимо от дальнейшего определения рядов, относившихся к велярным). Соответственно ниже палатализованные и велярные «гutturальные» будут обозначаться едиными символами.

² H. Pedersen, Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute, København, 1951.

спорно возводятся к **b*. Индоевропейское *-b-* в неначальной позиции усматривается авторами специальных работ вплоть до последнего времени ³ в двух формах: первая из них — гот. *diups*, литов. *dūgnas*, церк.-слав. *дъно*, *дъбрь*, галльск. *Dubno-rīx* «Царь мира», др.-ирл. *domun* «мир», тох. *A tsopats*. Однако эта группа соответствий охватывает бесспорно лишь одну (западную) группу индоевропейских диалектов, причем исконный характер этой фонемы определяется только на основании одного лишь германского. Не исключено, что глухая фонема *-p-* в готской форме и других германских языках является результатом комбинаторного оглушения *b < *bh*. Примечательно при этом, что близкая к этим формам греческая *βουβή* предполагает своего рода дублиеты **budh*, **bhudh-* с вероятной метатезой первоначальных звонких фонем, ср. др.-греч. *ποθύμη* «глубина» ⁴. В общем рассмотренные формы не дают бесспорного основания для реконструкции неначального *-b-* в индоевропейском.

Другим примером, иллюстрирующим возможное наличие *-b-*, могут служить формы: исл. (норв.) *slapa* «вялый; свисающий», ст.-слав. *слабъ* «слабый», литов. *slobstū*, *slōbti* «слабеть», сопоставляемое обычно с лат. *labor*, *lapsus* «скользить, поскользнуться» ⁵. В данном случае тоже наблюдается ареальное ограничение соответствий, что указывает на более поздний период возникновения этих форм, не относящихся к общеиндоевропейской эпохе. Однако даже при допущении возможности наличия общеиндоевропейского *b* в рассмотренных выше формах не может не броситься в глаза количественное несоответствие общеиндоевропейских форм с фонемой *b* по сравнению с формами, включающими фонемы **d* и **g*. Согласно нашим подсчетам, по словарю Покорного в общеиндоевропейских словоформах *d* и *g* встречаются каждая свыше 250 раз ⁶.

Уже Педерсен на основании устанавливаемого им отсутствия (или возможно крайне редкой встречаемости) *b* в общеиндоевропейских словах впервые ставит вопрос о возможной реинтерпретации этой серии взрывных, реконструируемой традиционно как звонкие, и о рассмотрении их в качестве незвонких (глухих), поскольку существование языка, в котором было утеряно *b* при сохранении *d* и *g*, ему представляется маловероятным, тогда как можно привести множество примеров языков, теряющих глухую лабиальную фонему *p* при сохранении *k* и *t*. Эта система преобразуется в традиционно восстанавливаемую систему уже в общеиндоевропейском языке (Gemeinindoeuropäisch). При этом Педерсен приводил в ка-

³ O. S z m e r é n y i, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970.

⁴ P. S h a n t r a i n e, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, I, Paris, 1968, стр. 201.

⁵ J. P o k o r n y, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern — München, 1959.

⁶ Расхождение со статистикой, предлагаемой в работах Жююка (G. J u s q u o i s, La structure des racines en indo-européen envisagée d'un point de vue statistique, «Linguistic research in Belgium», Wetteren, 1966, стр. 61; е г о ж е. La théorie de la racine en indo-européen, «La linguistique», VII, 1, 1971), где частотность *d* определяется как 83, а частотность *g* — как 70 (при *b* — 31), объясняется, очевидно, тем, что, в отличие от наших подсчетов, Жююка считал частотность по словарю Ю. Покорного только в корневых морфемах (имея в виду корень по Бенвенисту). Частотные данные о фонемах, полученные по словарю Покорного, не отражают, по-видимому, абсолютных соотношений в общеиндоевропейском, поскольку у Покорного дается и лексика позднего происхождения, возникшая в отдельных индоевропейских диалектах. Этим и объясняется то, что частотность *b* в индоевропейских формах по Покорному намного превышает реальное количество древних индоевропейских форм с *b*, возможные примеры которых были рассмотрены выше. По нашим подсчетам, *b* — 78, по Жююка — 31. Но и эти данные, полученные с учетом всех приводимых в словаре Покорного форм, — как общеиндоевропейских, так и более позднего происхождения — характерны в смысле частотного соотношения: частотность *d* и *g* значительно превышает частотность *b*.

честве типологического примера развитие глухих и звонких в восточных и западных армянских диалектах⁷.

Представляется, что такая процедура перевода восстанавливаемой Педерсеном раннеиндоевропейской системы в традиционно постулируемую общеиндоевропейскую систему диктовалась трудностью вывода исторически засвидетельствованных систем консонантизма из предлагаемой Педерсеном системы. Традиционно реконструируемая система, находящаяся, как выявляется, в противоречии с синхронными типологическими данными (что впервые было замечено Педерсеном), обладает, однако, свойством диахронической выводимости: эта система характеризуется тем, что из нее можно легко и непротиворечиво вывести системы исторически засвидетельствованных индоевропейских языков при допущении типологически верифицируемых фонологических преобразований, т. е. преобразований, подтверждаемых на примере исторического развития многих засвидетельствованных языков⁸.

Традиционная картина индоевропейского консонантизма была создана на заре развития индоевропейской сравнительной грамматики и совпала в основном с системой консонантизма языков с древнейшими литературными традициями, какими являлись древнеиндийский и отчасти классические языки — древнегреческий и латинский. Эти языки, обладавшие особым престижем, как это часто бывало в сравнительной индоевропейской грамматике, определили фактически облик реконструируемой системы.

Языковые системы, в которых обнаруживалось отличие от системы «престижных» языков, объяснялись как результат преобразования исходной системы, которая мыслилась в целом как тождественная системам языков с древней традицией. Этим объясняется то, что Гримм, устанавливавший вслед за Раском систему соответствий между германскими и классическими языками, рассматривал германское состояние как результат изменения, передвижения (*Lautverschiebung*) исходных индоевропейских фонем. И эта точка зрения, переходящая из поколения в поколение индоевропейцев, бытует в сравнительной грамматике индоевропейских языков и по сей день.

Нетрудно видеть, что такая картина является не результатом проведения определенного лингвистического анализа, а скорее продуктом исторической случайности, объясняемой престижем языков с древней литературной традицией. Структуры, обнаруживаемые в этих последних языках, возводились к общеиндоевропейской давности, тогда как структуры других индоевропейских языков объявлялись результатом преобразования и перестройки индоевропейских структур.

Неправомерность такого подхода довольно рано была обнаружена в отношении индоевропейского вокализма: древнеиндийский вокализм оказался вторичным по отношению к вокализму других индоевропейских языков и неотражающим общеиндоевропейское состояние. Однако в отношении индоевропейского консонантизма общеиндоевропейский характер древнеиндийской системы смычных, а также частично греческой и латинской, не вызывал сомнений у большинства исследователей.

Традиционно реконструируемая система индоевропейских смычных, хотя и обладает свойством диахронической выводимости, не характеризуется свойством соответствия данным синхронной типологии. Несоответ-

⁷ Н. Pedersen, указ. соч.

⁸ Это, возможно, и послужило одной из причин того, что традиционно реконструируемая система индоевропейского консонантизма в течение длительного времени рассматривалась как исходная для исторически засвидетельствованных диалектов, хотя при ближайшем рассмотрении она оказывается противоречивой и с точки зрения синхронной типологии.

ствие это заключается прежде всего в отсутствии (resp. крайне низкой частоте) звонкой лабиальной фонемы серии I *b.

Согласно новейшим данным синхронной типологии⁹, в системах с противопоставлением смычных по звонкости — глухости в серии звонких маркированным является веларный член *g*, немаркированным — лабиальный *b*, тогда как в серии (resp. сериях) глухих, наоборот, маркированным является лабиальный член *p*, немаркированным — веларный член *k*. В соответствии с этими соотношениями распределяются и частоты соответствующих фонем, а также пустые клетки в системе смычных. Маркированный член отношения характеризуется, как правило, более низкой частотой употребления, чем немаркированный. В ряде систем низкая частота маркированной фонемы может приравниваться к нулю, что дает пробел¹⁰ в соответствующем месте фонологической системы.

Аналогичные отношения маркированности можно установить между различными сериями смычных в подсистеме глухих. Максимальной маркированностью в подсистеме незвонких (глухих смычных) отличается серия глоттализированных¹¹, которая является более маркированной, чем серия придыхательных. Серия придыхательных, в свою очередь, является более маркированной, чем серия чистых глухих. Таким образом, иерархическую последовательность по возрастающей маркированности можно представить в виде ряда: «чистая глухая» — «аспирированная глухая» — «глоттализованная глухая»¹². В соответствии с этим наибольшей маркированностью в рассматриваемых сериях характеризуется лабиальный член в серии глоттализированных *p'*, что и проявляется в его крайней редкости или полном отсутствии во многих языковых системах, обнаруживающих серию глоттализированных¹³ (например, в ряде северокавказских языков, во многих африканских и американских индейских языках, где *p'* вовсе отсутствует, образуя пустую клетку — пробел в системе).

Следующим несоответствием традиционно реконструируемой системы индоевропейских смычных синхронным типологическим данным является отмечаемое Р. Якобсоном отсутствие в этой системе серии глухих придыхательных фонем при наличии серии звонких придыхательных¹⁴. Не обнаруживаются языки с серией звонких придыхательных без одновременного наличия в системе серии глухих придыхательных. В этом смысле традиционно реконструируемая система индоевропейских смычных находится в явном противоречии с данными синхронной типологии.

⁹ J. H. Greenberg, Language universals with special reference to feature hierarchies, The Hague — Paris, 1966; е го ж е, Some generalizations concerning glottalic consonants, especially implosives, IJAL, 36, 2, pt. 1, 1970; Е. Р. Н а м р, Maya-Chipaya and typology of labials, в кн.: «Papers from the Sixth regional meeting. Chicago Linguistic Society», Chicago, 1970; И. Г. М е л и к и ш в и л и, К изучению иерархических отношений единиц фонологического уровня, ВЯ, 1971, 3; е е ж е, Отношение маркированности в фонологии, Тбилиси, 1976 (на груз. яз.); L. S a m p b e l l, On glottalic consonants, IJAL, 1973, 39, 1, стр. 44—46.

¹⁰ Небезынтересно заметить, что отмечаемая невозможность пробела на месте лабиального члена в серии звонких и вероятность такого пробела в серии глухих является в сущности подтверждением мысли Х. Педерсена, высказанной им в форме диахронического утверждения о невозможности языковой системы с утерей в серии звонких лабиального *b* и распространенности языков, утерявших глухую лабиальную фонему *p*. Значение идеи Педерсена в свете типологических наблюдений Грипберга отмечается уже в заметке Э. Хэмпса (Е. Р. Н а м р, указ. соч.).

¹¹ Термин «глоттализированный» употребляется нами в узком смысле «смычногортанных» или «активных» (ср.: P. L a d e f o g e d, «Preliminaries to linguistic phonetics», Chicago — London, 1971).

¹² J. H. Greenberg, Language universals... reference to feature hierarchies.

¹³ J. H. Greenberg, Some generalizations..., Е. Р. Н а м р, Maya — Chipaya and the typology of labials.

¹⁴ Р. Я к о б с о н, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языковедение, в кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963.

Указанные несоответствия традиционно реконструируемой системы индоевропейских смычных и данных синхронной типологии требуют пересмотра ее с целью приведения этой системы в соответствие с данными синхронной типологии. При этом такая реинтерпретация индоевропейской системы смычных должна проводиться с учетом диахронической выводимости системы, предполагающей непротиворечивое, типологически верифицируемое выведение из постулируемой системы всех исторически засвидетельствованных структур. Особое значение при подобной реинтерпретации имеет такое определение дифференциальных признаков, противопоставляющих три серии индоевропейских смычных, которое бы соответствовало данным как синхронной, так и диахронической типологии.

Рассмотрим последовательно каждую из серий в традиционно реконструируемой системе в их взаимосвязи друг с другом.

Отмеченное Якобсоном несоответствие традиционно восстанавливаемой системы индоевропейского консонантизма типологическим данным, состоящее в отсутствии глухих придыхательных при наличии звонких придыхательных, устраняется при реинтерпретации серии III в качестве глухих придыхательных фонем; такая реинтерпретация делается с учетом отражения этой серии в ряде исторических индоевропейских языков. Тем самым глухие придыхательные — серия III — оказываются в системе рядом со звонкими придыхательными — серия II, что приводит традиционную систему в этом отношении в полное соответствие с синхронными типологическими данными при учете естественного вывода из нее конкретных исторических систем.

Реинтерпретация серии III как глухих придыхательных естественно ставит вопрос о соотношении ее с другими, с нею связанными сериями системы, в частности, с серией I, которая должна быть переинтерпретирована уже вследствие того, что дана новая интерпретация серии III. Вместе с тем, серия I и в силу своих внутренних особенностей требует переинтерпретации и приведения ее в соответствие с синхронными типологическими данными.

Серия I, традиционно реконструируемая как серия звонких, должна быть переинтерпретирована как серия незвонких ввиду дефектности лабиального члена. Как уже указано выше, лабиальный член является дефектным (т. е. отсутствует или характеризуется низкой текстовой и системной частотностью) и соответственно маркированным в сериях незвонких смычных. При этом наиболее маркированной среди этих серий, как было показано Дж. Гринбергом¹⁵, является серия глоттализированных, характеризующаяся обычно полным отсутствием или крайне низкой частотой лабиального члена *p'*. Эта универсально значимая особенность серии глоттализированных сразу же ставит вопрос о возможном фонологическом характере серии I индоевропейских смычных с дефектным лабиальным членом. При этом обращает на себя внимание то, что серия I характеризуется более низкой частотностью, чем серия II и тем более серия III. По подсчетам Жюкуа¹⁶ общая частотность фонем серий I, II и III в корневых морфемах выражается процентным соотношением: серия I — 6,2%, серия II — 8,9%, серия III — 17,7%, что соответствует абсолютным цифрам, отражающим частотность употребления фонем этих серий в индоевропейских словоформах по Покорному согласно подсчетам, проведенным нами.

¹⁵ J. H. Greenberg, Some generalizations...

¹⁶ G. J u c q u o i s, La structure des racines en indo-européen...

Уже эти частотные соотношения употребления индоевропейских фонем ставят под сомнение традиционную интерпретацию этих фонем как звонких, звонких придыхательных и глухих. Серия звонких придыхательных, будучи типологически маркированной в отношении серии звонких, не может характеризоваться более высокой частотностью согласно универсально значимому частотному выражению отношения маркированности. При интерпретации серии I в качестве серии глоттализированных частотные характеристики этих трех серий оказываются в полном соответствии с типологически устанавливаемыми соотношениями частотности для глоттализированных в их отношении к другим незвонким сериям фонологической системы, в частности, к глухим придыхательным и чистым глухим.

Интерпретация серии смычных III как глухих придыхательных, основывающаяся прежде всего на типологических соображениях, а также на характере отражения этой серии в исторических языках, заставляет интерпретировать фонемы серии I с дефектным лабиальным членом, определяемые типологически в общем как незвонкие, именно как глоттализированные, а не как, допустим, чистые глухие или тем более глухие придыхательные. Две последние интерпретации исключаются уже на том основании, что в подсистеме незвонких смычных глоттализированная серия является наиболее маркированной по сравнению с сериями аспирированных и чистых глухих фонем.

Таким образом, дефектность лабиальной фонемы серии I индоевропейских смычных при интерпретации серии III в качестве глухих придыхательных и при указанных частотных соотношениях заставляет интерпретировать серию I как серию глоттализированных (эктивных или смычно-гортанных) фонем. Индоевропейская система смычных в такой интерпретации имеет следующий вид (см. табл. 2).

Т а б л и ц а 2

I	II	III
(p ^h)	b ^h	p ^h
p'	d ^h	t ^h
k ^h	g ^h	k ^h

Постулируемая система смычных для индоевропейского языка полностью соответствует синхронным типологическим данным: дефектность лабиальной глоттализированной фонемы, которая является функционально самым слабым членом в группе незвонких согласных; наличие в системе глухих аспирированных при звонких аспирированных; частотные соотношения между отдельными сериями системы, отражающие возрастающую маркированность последовательности глухие придыхательные — звонкие придыхательные — глоттализированные. Такая система общеиндоевропейских смычных в кратком изложении была предложена нами в 1972 г.¹⁷

Следует отметить, что аналогичные идеи наличия изначально глоттализированных согласных (вместо традиционных звонких) были изложены также несколько позднее американским лингвистом П. Хоппером¹⁸ и французским лингвистом А. Одрикуром¹⁹. Хоппер приходит к аналогич-

¹⁷ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных, в кн.: «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварительные материалы», М., 1972, ср.: Th. V. Gamkrelidze, V. V. Ivanov, Rekonstruktion der germanischen Verschlüsse. Vorläufiger Bericht, «Phonetica», 27, 1973.

¹⁸ P. Norper, Glottalized and murmured occlusives in Indo-European, «Glossa», 1973, 7, 3, стр. 141—166.

¹⁹ A. Naudricourt, Le mutations consonantiques (occlusives) en indo-européen, в кн.: «Mélanges linguistiques offerts à E. Benveniste», Paris, 1975.

ным выводам, очевидно, независимо, на основе сходных типологических соображений с учетом более ранних работ авторов по типологии консонантизма реконструированных систем. Ср. также указание А. Мартине в работе, посвященной специально семитским согласным, о возможности интерпретации дефектного ряда смычных как древних глоттализированных²⁰.

В постулируемой системе индоевропейских смычных признак аспирации является, в сущности, фонологически нерелевантным, поскольку серия II и серия III противопоставляются друг другу не аспирацией, а по признаку звонкости — глухости. Признак аспирации следует рассматривать в данных сериях как сопутствующий фонетический признак фонем. Со строго фонологической точки зрения можно было бы охарактеризовать эти три серии как: I — глоттализированная, II — звонкая, III — глухая. Однако фонетический признак аспирации является существенным признаком фонем серий II и III, объясняющим их историческое преобразование и окончательные рефлексы в исторических языках. Такие фонетические признаки играют особую роль при диахронических фонемных преобразованиях, и учет их наряду с собственно фонологическими необходим при реконструкции системы смычных.

Из нерелевантности аспирированности в фонемах серий II и III вытекает возможность их реализации в виде звуковых вариантов без сопутствующего признака придыхания. Тем самым придыхательный и соответствующий непридыхательный звуки могли проявляться как комбинаторные варианты соответствующих фонем. Соответственно каждая фонема серий II и III могла выступать в виде двух своих комбинаторных аллофонов: аспирированного или неаспирированного в зависимости от позиции в слове.

Индоевропейская система смычных может быть представлена в соответствии с указанием фонетических вариантов реконструируемых фонем в следующем виде (см. табл. 3).

Таблица 3

I	II	III
(p ^h)	b ^h /b	p ^h /p
t ^h	d ^h /d	t ^h /t
k ^h	g ^h /g	k ^h /k

Постулируемая в таком виде индоевропейская система смычных, типологически вероятная с точки зрения соотношений в отдельных фонемных сериях, может считаться типологически реальной и в целом. Системы такого типа с противопоставлением смычных по признакам глоттализации и звонкости — глухости весьма распространены во многих исторически засвидетельствованных языках. Примером системы со звонкими придыхательными и чистыми звонкими в качестве вариантов единой фонемы могут служить современные армянские диалекты, в которых звонкие придыхательные и звонкие выступают в качестве позиционно обусловленных вариантов общей фонемной единицы²¹. Существование подобных систем может служить хорошим типологическим подтверждением реальности предлагаемой нами структуры индоевропейских смычных с придыхательными и непридыхательными звуками в качестве вариантов одних и тех же фонем.

²⁰ A. Martinet, Remarques sur le consonantisme sémitique, BSLP, 49, 1, 1953, стр. 70.

²¹ См.: W. S. Allen, Notes on the phonetics of an Eastern Armenian speaker, в кн.: «Transactions of the Philological Society», Oxford, 1950; Г. Б. Джаукян, Очерки по истории дописьменного периода армянского языка, Ереван, 1967, стр. 78—81.

Варианты смычных фонем должны были проявляться в зависимости от позиции в слове при сочетании фонем друг с другом в контактной или дистантной последовательности. Контактная последовательность предполагает непосредственное сочетание двух или более фонем, тогда как дистантная последовательность имеет в виду последовательность двух фонем, разделенных одной (гласной) или более фонемами в пределах предполагаемой основы. При этом дистантная последовательность может превращаться в контактную при выпадении гласной в формах с нулевой огласовкой.

Основные правила фонотактики индоевропейских смычных в пределах основы могут быть сформулированы в виде запретов и ограничений, налагаемых на сочетаемость фонемных единиц или отдельных признаков. Основным ограничением, налагаемым на всю подсистему смычных, является запрет на сочетание идентичных фонем в пределах индоевропейского корня, что может быть сформулировано в виде правила (1):

(1) Две смычные фонемы с одинаковыми наборами дифференциальных признаков несовместимы в пределах одного корня типа CVC - (невозможность корня типа T_1ET_2 ²², где $T_1 = T_2$).

Первым ограничением совместимости фонем в пределах индоевропейского корня является запрет на сочетание в дистантной последовательности двух фонем серии I, т. е. двух глоттализированных согласных:

(2) Две глоттализированные смычные согласные (т. е. согласные серии I индоевропейских смычных) несовместимы в пределах одного корня типа CVC - (невозможность корня типа $*t'ek^3$, т. е. корня типа $*deg$ - в традиционной системе).

Подобное ограничение в индоевропейских корнях на сочетание в пределах одной морфемы двух глоттализированных согласных находит широкие типологические параллели в языках с глоттализированными согласными. Так, например, в исконно картвельских словах не сочетаются в пределах одного корня две неидентичные глоттализированные согласные. Аналогичное ограничение наблюдается в сэлшском языке сушвоц (Британская Колумбия), где в корне структуры C_1VC_2 (а также C_1RVC_2 , C_1VRC_2) при глоттализированном характере C_2 невозможна глоттализованность C_1 ²³, и в ряде других америндейских языков — майя (юкатанский диалект), кечуа, а также и в языке хауса (чадской группы)²⁴. В этом последнем языке два гетерогантных глоттализированных согласных никогда не встречаются в одном слове²⁵.

Такие ограничения на сочетаемость глоттализированных в пределах одного слова свидетельствуют о физиологических (артикуляторных) особенностях глоттализированных согласных, имеющих тенденцию не вы-

²² Здесь и далее символ T означает любой смычный, $T^{[H]}$ — любой глухой (придыхательный), T^v — любой глоттализированный, $D^{[H]}$ — любой звонкий (придыхательный), т. е. каждый символ является представителем всей серии смычных. Поэтому запись типа $D^{[H]}ED$ или $DED^{[H]}$ предполагает сочетаемость в корне всех возможных единиц данной фонемной серии за исключением комбинации двух идентичных фонем, запрет на сочетаемость которых предусматривается правилом (1).

²³ A. H. K u i p e r s, The Shuswap language. Grammar. Texts. Dictionary, The Hague — Paris, 1974, стр. 23.

²⁴ Е. И. Ц а р е н к о, О ларингализации в языке кечуа, ВЯ, 1972, 4; J. H. R o w e r e, Sound pattern in three Inca dialects, IJAL, XVI, 3, 1950; C. O r r, R. E. L o n g a g a s e, Proto-Kechumaran, «Language», 44, 3, 1968.

²⁵ См.: F. W. P a r s o n s, Is Hausa really a Chadic language? Some problems of comparative phonology, «African language studies», 1970, 11, стр. 280. Действием такого же принципа несовместимости двух глотталльных (включая гортанную смычку) объясняется и прохождение особого тона в лаху (подразделение лодо внутри лобобирманской подгруппы тибето-бирманских языков). Ср.: J. A. Matisoff, Glottal dissimilation and the Lahu high-rising tone: a tono-genetic case-study, IJAL, 90, 1, 1970.

ступать совместно в одной дистантной последовательности. В общем случае эти ограничения снимаются при идентичности, гоморганности глоттализированных согласных. Но такие сочетания в пределах корня в индоевропейском недопустимы [см. правило (1)].

Правило (2) имеет существенное значение для типологического оправдания интерпретации серии I индоевропейских смычных именно как глоттализированных (но не звонких, как это было в традиционной системе). Дело в том, что при интерпретации серии I в качестве звонких было бы трудно найти типологическое оправдание несовместимости в пределах индоевропейского корня двух звонких и отсутствию в индоевропейском корнях типа *ged- и *deg-. Это ограничение, отмеченное уже у А. Мейе, оставалось до последнего времени необъяснимым²⁶.

Реинтерпретация индоевропейских звонких смычных в качестве глоттализированных снимает эту трудность и позволяет свести такие ограничения к общетипологическим закономерностям фонотактики.

На остальные сочетания глоттализированных со смычными фонемами серии III не наложено никаких ограничений, т. е. возможны все теоретически мыслимые комбинации.

(3) Глоттализированные могут сочетаться со всеми фонемами серии III как в предшествующей, так и в последующей позиции, т. е. возможны следующие комбинации: $T^{[H]}ET^{[H]}$, $T^{[H]}ET$.

Обращает на себя внимание отсутствие в индоевропейских корнях сочетаний фонем серии II с фонемами серии III и наоборот. Это значит, что нет корней типа $D^{[H]}ET^{[H]}$, $T^{[H]}ED^{[H]}$ (корни типа *bhet и *tebh в традиционной системе).

(4) Неглоттализированные смычные в составе одного корня должны характеризоваться одинаковым значением признака звонкости — глухости, т. е. возможны только корни типа $D^{[H]}ED^{[H]}$ или $T^{[H]}ET^{[H]}$ ²⁷.

Характерной особенностью фонем второй (звонкой) и третьей (глухой) серий смычных является наличие при них фонетического признака аспирации. Каждая фонема этих серий проявлялась в виде двух своих аллофонов — аспирированного и неаспирированного — в зависимости от конкретного фонетического окружения. Окружения, в которых данные фонемы проявлялись в виде двух своих аллофонов, определяют дистрибуцию этих фонем.

Существуют конкретные языковые данные для более или менее точного определения позиций, в которых фонемы серий II и III проявлялись в индоевропейских формах в виде придыхательного или непридыхательного вариантов. Основным аллофоном фонем этих серий следует считать их аспирированный вариант, поскольку он проявляется в большинстве фонетически независимых позиций, которые могут быть установлены для индоевропейских архетипов путем сопоставления и сравнения между собой исторически засвидетельствованных соотносимых между собой форм.

²⁶ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938. Ср.: W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952; G. Jucquois, указ. соч.

²⁷ Впервые данное правило было замечено Соссюром (A. Meillet, Avestica *zrazda*, MSLP, 18, 1912, стр. 60; Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955; O. Szemerényi, Comparative linguistics, в кн.: «Current trends in linguistics», ed. by T. A. Sebeok, IX: Linguistics in Western Europe, The Hague — Paris, 1972, стр. 143, примеч. 56). На основании этого правила Курилович (J. Kuryłowicz, Internal reconstruction, «Current trends in linguistics», XI: Diachronic, areal and typological linguistics, The Hague — Paris, 1973, стр. 68, § 1.5, примеч. 6) высказывает мнение, что между фонемами серий II и III имелось противопоставление не по двум различительным признакам (придыхательности и звонкости), а «по одному фонемному признаку», что достаточно близко к излагаемой нами концепции. Но при этом он считает серию II нейтральной по отношению к признаку глухости — звонкости.

Соответствующая непридыхательная форма этих фонем проявляется в зависимости от конкретного фонемного окружения. Следовательно, задача дистрибутивного анализа этих фонем сводится к определению тех позиций из всех возможных, в которых они проявлялись в виде своих неаспирированных вариантов. Такому анализу с большей определенностью удастся в первую очередь подвергнуть фонемы второй (звонкой) серии. Эта серия в исторических языках оставила довольно явные следы, позволяющие реконструировать с очевидной достоверностью модели распределения их в словоформах индоевропейского языка.

Одним из основных принципов, определяющих поведение фонем серии II в индоевропейских праформах, является то, что две такие фонемы в пределах одной основы выступают всегда в виде двух разных аллофонов — придыхательного и непридыхательного. Эту особенность дистрибуции аллофонов можно сформулировать в виде следующего правила:

В основе с двумя смычными серии II, представленными в дистантной последовательности, одна фонема проявляется всегда в форме придыхательного варианта, другая — в форме непридыхательного²⁸. Следовательно, в одной основе допускается один лишь придыхательный звук. Если начальная фонема представлена в виде непридыхательного аллофона, то последующая фонема проявляется в виде придыхательного, и наоборот, при придыхательном начальном аллофоне последующая смычная представлена в форме своего непридыхательного аллофона.

Указанную дистрибутивную особенность индоевропейских фонем серии II можно довольно четко проследить и реконструировать на основании данных индо-иранских и греческих диалектов. Эти диалекты отражают модель дистрибуции аллофонов фонем серии II, в которой в начальной позиции представлен непридыхательный аллофон, в последующей позиции перед гласными или сонантом — придыхательный. Например: др.-инд. *bahū-h* «рука», греч. *πῆχυς* «локоть» предполагает индоевропейскую праформу **bag^hu-s* с начальным непридыхательным аллофоном и последующим придыхательным аллофоном индоевропейских фонем (*b^h*) и (*G^h*), претерпевших в греческом оглушение; др.-инд. *badhnāti*, позднее *bandhati* «он связывает», *bandhuḥ* «родство, свойство, родственник», греч. *πενθερός* «тесть» (< «связанный свойством»): и.-е. [**bend^h-*]; др.-инд. *bahū-* «густой; многочисленный», греч. *παχύς* «толстый; густой»: и.-е. **benG^h-*; др.-инд. *bodhati*, *bodhate* «он будит; он пробуждается», греч. *πυθόμαι*, *πυθ'άγομαι* «узнаю; замечаю; бодрствую»: и.-е. [**beud^h-*], [**bund^h-*]; др.-инд. *budhnā-h* «почва», греч. *πυθμήν* «то же»: и.-е. [**bud^h-*]; др.-инд. *dāhati* «он жжет», *nidaghā-h* «жара; лето», греч. *τέφρα* «зола»: [и.-е. **deG^h*]; др.-инд. *dēhmi* «мажу; умащаю», *dehī* «стена; плотина; насыпь», греч. *τείχος* «стена»: и.-е. [**deiG^h-*].

Приведенные древнеиндийские и родственные греческие формы являются хорошим примером, отражающим распределение аспирированных и неаспирированных аллофонов соответствующих индоевропейских фонем.

Аналогичное дистрибутивное поведение фонем серии II смычных обнаруживается и в структурах с редупликацией начального согласного. В этом отношении особенно характерны глагольные формы с редупликацией от индоевропейских основ **dhē-* «ставить; класть», **G^hē-* «поставлять», *bher-* «нести» и др. Редулицированные формы представлены в виде др.-инд. *da-dhā-mi*, греч. *τίθημι*, и.-е. [**di-d^hē-mi*], др.-инд. *jahā-ti* «он оставляет»,

²⁸ В качестве типологической параллели можно указать на связь в кечуа закона несовместимости придыхательных смычных и закона несовместимости глоттализированных смычных (Е. И. Ц а р е н к о, указ. соч., стр. 102).

греч. *χιχημι, 2-е л. ед. числа χιχεις и.-е. [*gi-G^hē-ti], др.-инд. bi-bhar-ti <и.-е. [*bi-b^her-ti], ср. греч. ἐς-πιφράσαι²⁹.

Близость, вплоть до тождественности, древнеиндийских и греческих глагольных форм с редупликацией начального согласного основы позволяет в свете современных представлений о единстве греческо-арийской глагольной системы предполагать общий ареальный индоевропейский источник для этих форм, что подтверждает и высказанное выше предположение относительно индоевропейского источника предполагаемых фонемных соотношений. Их нельзя объяснять процессами дезаспирации и возникновением дезаспирированной фонемы порознь в истории отдельных языков, в частности, древнеиндийского и греческого, как обычно понимался в классическом индоевропейском языкознании закон Грассмана³⁰, а следует рассматривать как отражение общей закономерности распределения этих фонем в определенном ареале индоевропейского праязыка.

В полном соответствии с подобной трактовкой этих соотношений находятся данные и других индоевропейских языков — итальянских, германских и других.

Тем самым закон дезаспирации Грассмана принимает совершенно иной смысл. Он рассматривается как чередование придыхательных и непридыхательных звуков на аллофонном уровне в системе индоевропейского праязыка, а не как процесс дезаспирации аспирированных фонем, произошедшей в древнеиндийском и греческом независимо один от другого. Сходство вплоть до идентичности процессов в древнеиндийском и греческом объясняется общим происхождением этих процессов, восходящих к индоевропейской эпохе.

В индоевропейском этот процесс реконструируется, как явствует из изложенного, в виде соотношения аллофонов, позднее превратившегося в фонемное чередование в результате фонологизации в этих исторических языках рефлексов звонких придыхательных и непридыхательных аллофонов. После фонологизации этих рефлексов серии II смычных в греческом старый индоевропейский закон распределения придыхательных и непридыхательных аллофонов превращается в продуктивную закономерность чередования придыхательных и непридыхательных глухих фонем в пределах основы. Этим и объясняется продуктивное в греческом морфонологическое чередование типа τριχός: θριξί (<и.-е. *drigh-), ταχός: θάσσων (<и.-е. d^hng^h-)³¹.

Таким образом, индоевропейские праформы рассматриваемых выше форм следует восстанавливать не как *b^hāg^h-, *b^heng^h-, *b^heud^h-, *b^hud^h-, *d^heg^{wh}-, *dheig^h-, и т. д., с последующей дезаспирацией рефлексов индоевропейских звонких начальных придыхательных фонем *b^h и *d^h независимо друг от друга в индийском и греческом, а как соответственно фор-

²⁹ M. M a y r h o f e r, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, II, Heidelberg, 1962.

³⁰ H. G r a s s m a n n, Über die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An- und Auslaute der Wurzeln, KZ, XII, 1863.

³¹ Спорадические формы в греческом с двумя придыхательными типа θοφλος (вместо закономерного τοφλος «слепой») следует рассматривать не как отражающие древнее распределение двух придыхательных, а скорее как отражение правила проявления аспирации при любой из смычных в последовательности с дальнейшим обобщением аспирации на все сегменты такой последовательности. При этом следует учесть также действие фактора позднейшей ассимиляции смычных по признаку аспирации: (C...C^h) → (C^h...C^h) или (C^h...C) → (C^h...C^h), что дает формы с двумя придыхательными типа древнеаттических и древнекритских: θεός вместо θεός, Φάνσιος вместо Πάνσιος, ср. также формы типа θυθέν «пожертвованный» <τυθέν (W. D r e s s l e r, Zur Rekonstruktion phonologischer Prozesse im Altgriechischen: Grassmann Gesetze, в кн.: «Berichte der Slavistik. Festschrift zu Ehren von Josip Hamm», Wien, 1975).

мы *bāg^h-, *beng^h-, *beud^h-, *bud^h-, *deg^{wh}-, *deig^h- и т. д., с позиционным противопоставлением непридыхательных и придыхательных аллофонов звонких фонем серии II.

Постулируемая система индоевропейских смычных лучше всего сохранилась в германском, армянском и, вероятно, в анатолийском (хетто-лувийском). В этих системах следует допустить незначительные фонетические преобразования для того, чтобы постулируемая в таком виде индоевропейская система смычных из трех серий трансформировалась в системе указанных языков. В частности, в германской системе первая серия глоттализированных смычных отразилась как незвонкая, которая в прагерманском, возможно, характеризовалась глоттальной артикуляцией³².

Вторая звонкая серия индоевропейских смычных с придыхательными и непридыхательными аллофонами претерпевает спирантизацию и переход в соответствующие звонкие спиранты, которые в зависимости от позиции в слове отражались позднее как звонкие смычные (в начале слова) и звонкие фрикативные (в середине слова). Подобной спирантизации серии II по-видимому, содействовал отсутствующий этим фонемам в индоевропейском признак придыхательности, так как придыхательные имеют тенденцию к спирантизации.

Предполагается, что в начале слова проявлялась звонкая смычная, а в середине — звонкая фрикативная³³. Не исключено, что такое распределение смычных и спирантов в рефлексах фонем серии II отражает древний порядок распределения придыхательных и непридыхательных аллофонов фонем серии II в индоевропейском.

Отражение индоевропейских фонем серии III в германском аналогично отражению фонем серии II. Придыхательные аллофоны индоевропейских глухих отражаются в германском как глухие спиранты, тогда как комбинаторно обусловленные непридыхательные аллофоны представлены в германском соответственно в виде непридыхательных рефлексов (в позиции *s*- и после глухой смычной). В этом отношении преобразование фонем серии III в германском полностью соответствует преобразованию фонем серии II, в чем и проявляется параллелизм в развитии фонетически близко стоящих друг к другу серий индоевропейских смычных.

В формах, отражающих фонему серии III перед ударной гласной (после безударной), происходит озвончение фрикативной по закону Вернера типа гот. *faðar*, др.-исл. *faðir*, где звонкая фрикативная *ð* возникает в результате озвончения глухой. Закон Вернера³⁴ вызывает совпадение

³² Следы такой глоттальной артикуляции фонем серии I в германском можно было бы видеть в некоторых протодических признаках, отразившихся в позднейших германских языках. Одним из возможных источников ларингальной (смычногортанной) артикуляции слогового сегмента типа датского *stød*, западноготского толчка и подобных явлений в западногерманских диалектах в словах типа исл. *vaðin* «вода» (С. Д. Кацнельсон, Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966) можно было бы считать перенос признака глоттализации на весь слог с превращением этого признака в суперсегментный: и.-е. **uot^h-or/n-* → **ua^ht-n-*. Превращение определенного сегментного признака фонемы в суперсегментный является широко распространенным явлением в разных языках.

³³ Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954.

³⁴ Обращает на себя внимание то, что закон Вернера действует только в отношении глухих фрикативных, превращая их в звонкие. Действие этого закона не распространяется на германские глухие смычные, что не вполне понятно с типологической точки зрения. Вероятное объяснение этому следует искать в характере возникших в германском фонемных серий. Для германских глухих смычных, отражающих серию I индоевропейских фонем, признак глухости — звонкости, по которому они противопоставлялись фонемам серии II, был фонологически релевантным, тогда как фрикативные фонемы серии III не противопоставлялись особой серии фрикативных по признаку звонкости. Озвончение фрикативных фонем этой серии в германском по

исконных (глухих) фрикативных *f*, *θ*, *x*, *x^w* со спирантизованными вариантами звонких фонем, которые совместно с *b*, *d*, *g* объединяются соответственно в единые фонемы *b/β*, *d/ð*, *g/γ*, *g^w/γ^w*³⁵. Таким образом, индоевропейские рефлексy трех исходных серий смычных претерпевают в германском перегруппировку, приведшую к перестройке всей германской фонологической системы.

Предполагаемые здесь для германской языковой системы фонологические трансформации исходной индоевропейской системы, приведшие к образованию и оформлению фонологических систем исторических германских языков, существенно отличаются от тех процессов, которые принимались в классической индоевропейской грамматике для объяснения становления германского консонантизма и формулировались как закон Гримма, в частности, касающийся первого, общегерманского передвижения согласных.

Основные изменения, произошедшие в германской системе смычных, ограничиваются по существу фонетическим процессом спирантизации аллофонов фонем серий II и III. Хотя этот фонетический процесс и привел к фонологической перестройке германской системы смычных по сравнению с общиндоевропейской, но о каком-либо «передвижении» исходных фонологических серий в германском говорить не приходится. Германская фонологическая система сохраняет исходные фонологические черты первоначальной индоевропейской системы в отношении признаков глухости — звонкости и аспирации. Германская фонологическая система характеризуется скорее архаичностью и близостью к древним фонологическим соотношениям серий по признаку звонкости — глухости и аспирации.

Германская, а также армянская и, возможно, анатолийская и общетохарская системы могут быть охарактеризованы как системы с серией незвонких смычных (в некоторых системах фонетически глоттализированных), восходящей к индоевропейской серии глоттализированных (незвонких) смычных. В этом отношении эти системы отражают некоторые характерные особенности серии I индоевропейских смычных. По этому признаку рассмотренная выше группа языков противостоит другой большой группе индоевропейских языков, в которых происходит преобразование серии I индоевропейских глоттализированных смычных в звонкие смычные. К этой группе относятся, в частности, индоиранские языки, а также греческий, балтийский и славянский, албанский, кельтский, итальянский. Глоттализованная серия I индоевропейских смычных отражается здесь регулярно в виде чистых звонких смычных, что предполагает процесс озвончения исходных глоттализированных фонем.

Такой переход глоттализированных согласных в соответствующие смычные, наблюдаемый в ряде языков, может найти фонетическое оправдание в характере глоттализированных звуков, произносимых с гортанной артикуляцией, выражающейся в полном смыкании голосовых связок. Гортанная артикуляция характерна и для звонких смычных, что выражается в вибрации сближенных или сомкнутых голосовых связок. При взрыве глоттальной смычки во время фонации глоттализированных, в частности, перед гласным, может возникнуть кратковременная вибрация (размыкание после смыкания) голосовых связок, характерная для фонации звонких

влиянием последующего ударения носило первоначально, по всей видимости, чисто фонетический характер и лишь в дальнейшем привело к особому фонологическому перераспределению аллофонов. Ср. (с учетом предлагаемой интерпретации): R. N o r m i e r. *Idg. Konsonantismus, germ. «Lautverschiebung» und Vernersches Gesetz*, KZ, 94, 2, 1977.

³⁵ Возникает фонологическая система, типологически сходная с современной испанской.

звуков, соответствующих по сопутствующей ротовой артикуляции. При продлении периода сопутствующей вибрации при артикуляции глоттализированных может возникнуть соответствующий звонкий (или звонкий ларингализованный, как в хауса) звук, характеризующийся в целом артикуляционными признаками глоттализированного звука. Примечательно, что на шкале состояний гортани при фонации глоттализированные стоят ближе к звонким, чем к глухим³⁶. По новейшим общefonетическим описаниям предполагается, что звонкие звуки и звуки с глоттальной артикуляцией (ларингализованные), в том числе смычногортанные — глоттализированные являются близкородственными звуками, входящими в один «естественный класс» звуков. Эти звуки фонетически значительно ближе друг к другу, чем звуки с глоттальной артикуляцией и глухие³⁷.

Показательно, что во многих языках совершенно различных систем обнаруживаются соответствия глоттализированных согласных, смычных и аффрикат, звонким звукам, смычным или спирантам. Характерным примером могут служить данные ряда кавказских языков, а также некоторых семитских. В вейнахских языках бацкийским глоттализированным смычным и аффрикатам в интервокальной позиции и в позиции в конце слова соответствуют в чеченском и ингушском звонкие смычные и звонкие спиранты³⁸.

Наиболее преобразованной по сравнению с исходной системой представляется поздняя тохарская система смычных с совпадением всех трех индоевропейских серий в одну, которая на письме передается знаками для индийских глухих непрдыхательных, далее система смычных балтославянских языков, за которыми следуют кельтские языки, сохранившие отчасти фонетический характер придыхательных аллофонов фонем серии III; италийская и греческие системы имеют целый ряд общих новообразований, выразившихся в своеобразном отражении аллофонов фонем серии II. Италийская система сохраняет звонкий характер непрдыхательных аллофонов серии II, тогда как греческая система оглушает как придыхательные, так и непрдыхательные аллофоны фонем этой серии.

Фонологически более существенные преобразования имели место в индоиранской системе, в которой происходит симметричное расщепление фонемных серий II и III на четыре независимые фонологические серии смычных — звонкие, звонкие придыхательные (при сохранении их фонетического характера), глухие и глухие придыхательные смычные. Все названные языковые системы объединяются в общую группу по признаку отражения в них индоевропейской глоттализированной серии смычных: во всех этих системах происходит озвончение серии глоттализированных смычных и слияние ее с рефlekсами индоевропейской серии II смычных.

В этом отношении названная группа языков противостоит другой группе индоевропейских языков, в которых индоевропейская серия смычных I сохраняет свой первоначально незвонкий характер, а серия III сохраняет характер глухой придыхательной серии смычных; к этой немногочисленной группе архаических индоевропейских диалектов следует отнести анатолийскую систему, германскую языковую систему с позднейшей спирантизацией серий II и III смычных и армянскую систему, в наибольшей степени сохранившую первоначальные фонологические соотношения между тремя сериями индоевропейских смычных при допущении наличия в древнеармянском звонких придыхательных и чистых звонких как аллофонов общей серии звонких фонем. В этом отношении древне-

³⁶ P. L a d e f o g e d, указ. соч., стр. 16 и сл. См. там же о соотношении глоттализированных, звонких и ларингализованных.

³⁷ P. L a d e f o g e d, указ. соч., стр. 19.

³⁸ A. S o m m e r f e l t, *Études comparatives sur le caucasique du Nord-Est*, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XI, 1938.

армянский язык можно считать наиболее архаичным среди исторических индоевропейских диалектов.

Фонологические преобразования в большинстве рассмотренных выше индоевропейских диалектов могут быть описаны в терминах расщепления и слияния исходных трех серий индоевропейских смычных. Такие процессы происходили в значительной мере в тех языковых системах (например, в индоиранской, греческой, итальянской), которые в классической индоевропеистике считались наиболее архаичными в отношении исходного консонантизма. Наоборот, системы, считавшиеся традиционно более преобразованными в результате предполагавшегося передвижения согласных (германский, армянский), оказываются в отношении консонантизма наиболее архаичными, наиболее близкими к исходной индоевропейской системе смычных. Следовательно, известный закон Гримма (в части, касающейся первого общегерманского передвижения согласных), описывающий преобразования индоевропейского консонантизма в германском, оказывается неадекватным по отношению к фонологическим процессам, которые должны были иметь место в германском. Если и можно говорить по отношению к какой-либо исторической индоевропейской системе о «передвижении» согласных, то это, в первую очередь, судя по конечным результатам, касается таких систем индоевропейских языков, как индоиранская, греческая, итальянская и другие, т. е. систем, которые в классической индоевропеистике считались в общем отражавшими индоевропейский консонантизм.

ФИЛИН Ф. П.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Вопрос о происхождении современных восточнославянских языков, в общем, не вызывает больших споров, хотя тема эта сама по себе очень важная и подлежит дальнейшему углубленному изучению. Считается общепризнанным, что русский, украинский и белорусский языки возникли, имея своей исходной основой язык древнерусской народности, который распался в XIII—XIV вв. под воздействием внутренних причин и внешних обстоятельств.

Иначе обстоит дело с исследованиями, относящимися к славянскому и восточнославянскому этно- и глоттогенезу.

Литература, посвященная этому предмету, громадна. В результате усилий многих поколений ученых картина происхождения славян и славянских языков вообще, восточных славян и их языков в частности, в общих и многих частных своих чертах стала более или менее ясной. Все славянские языки через промежуточные ступени своего развития восходят к одному общему источнику — праславянскому (или древнему общеславянскому) языку, чем и объясняется их несомненное сходство. Реконструированы фонетическая (фонологическая) и морфологическая структуры этого языка в их длительном развитии (начиная с переходной протославянской ступени, когда славянское этноязыковое объединение стало выделяться и отличаться от других древних индоевропейских объединений) с их закономерностями, установлена последовательность (относительная хронология) многих существенных фонетико-морфологических изменений, хотя в то же время остается много спорных и даже вовсе не открытых еще явлений. Предмет по своему существу таков, что возможности реконструкции праславянского языка и жизни его создателей и носителей неисчерпаемы. За последние годы вырисовывается словарный состав праславянского языка до времени его распада (в первую очередь тут нужно назвать публикующиеся теперь московский и краковский словари праславянского лексического фонда). Если бы фантастическая «машина времени» Г. Уэллса сумела перенести нас в ту отдаленную эпоху, мы, безусловно, пользуясь нашими современными знаниями, могли бы отличить праславян от других родственных и тем более неродственных этноязыковых групп.

В то же время теперь стало очевидным, что процесс возникновения и развития праславянского языка и его поздних наследников был очень сложным, не похожим на механическое раскалывание праязыка на его отдельные части — диалекты и языки, как это представлялось раньше со времен шлейхеровского «родословного дерева». Славянский мир (как и другие этноязыковые общности) находился в постоянном движении, внутридиалектные его инновации, как и контакты с соседями, постоянно изменялись в зависимости от исторических обстоятельств с разной степенью интенсивности, одно многократно наслаивалось на дру-

гое. В обособляющихся диалектах и языках сохранялись и сохраняются, так или иначе видоизменяясь, более архаические членения и связи, в своем территориальном распространении не совпадающие с границами новых диалектов и языков. Вся славянская языковая область вдоль и поперек пересекается изоглоссами — следами более древних членений и связей, восходящих к разным периодам истории. Исследование этих изоглосс хотя и весьма трудное, но перспективное дело, поскольку оно открывает существенные стороны жизни славянской речи и ее носителей. Уже для прото- и праславянской эпох обнаруживаются связи то с древними центральноевропейскими и балканскими языками, то с иранскими и даже древнеиндийскими, располагавшимися на территории «старой Скифии» (по данным последних работ О. Н. Трубачева), и иными языками, родственными и неродственными. Правда, добытые таким путем сведения пока что фрагментарны, но они необходимы и перспективны, так как обещают нам все новые и новые открытия в познании славянского этногенеза. Конечно, не следует забывать, что язык — важнейшее средство коммуникации и обязательно является системой, поэтому старое и новое в нем связывается в одно целое, поэтому инновации, отличающие один язык от другого, представляют собой важную сторону языкового развития, немислимого без преодоления накапливающихся в системе противоречий. Если бы это было не так, то не появлялись бы новые языки и диалекты, а воцарилась бы хаотическая смесь напластований разных эпох и язык не смог бы выполнять свою коммуникативную функцию.

Как было сказано выше, праславянский язык в своих важнейших фонетико-грамматических и лексических чертах нам более или менее известен. Однако в его происхождении и развитии многое еще остается неясным и спорным. Праславянский язык возник и развивался не вне времени и пространства. Праславяне вели хозяйство (охота и рыбная ловля, скотоводство и примитивное земледелие), имели свой бытовой уклад, обычаи и верования, владели некоторыми ремеслами, воевали и вели товарообмен, передвигались. Все это разнообразилось в разной природной среде и при разных контактах с другими этническими объединениями. Остались следы их материальной и духовной культур (предмет археологии, этнографии и некоторых других смежных научных дисциплин). Стало быть, этногенез славян — комплексная проблема, которую решают историки, языковеды, археологи, этнографы, антропологи, палеоботаники, палеозоологи, палеоклиматологи, палеогеографы. Достоверные исторические сведения о славянах дошли до нас только от VI в. н. э., причем их географическое положение в исторических источниках этого времени не очень определено. Все исторические сведения нам известны (хотя, конечно, не исключено, что могут быть новые открытия), но истолковываются они неодинаково. Во всяком случае, к VI в. н. э. славянские племена заняли уже обширную территорию в Центральной и Восточной Европе, в VI—VII вв. заняли Балканы. Совершенно очевидно, что не VI в. н. э. — начало славянства, и не обширные территории, занимаемые славянами в этот период, первичный очаг их зарождения. Наоборот, VI в. н. э. — время распада праславянского единства. Неизвестная по письменным источникам история праславян — предмет реконструкции. Все признают, что реконструкция жизни праславян может быть решена только общими усилиями представителей разных научных дисциплин. В принципе это верно, но пока что трудно осуществимо.

Археология Центральной и Восточной Европы нашего времени имеет огромные успехи. Открытия следуют за открытиями. Обнаруживаются все новые и новые материальные культуры, уточняются ранее известные, причем совершенствуются методы установления времен их существования

вплоть до выяснения абсолютной хронологии. Накапливаются новые обширные знания о материальной и в значительной мере духовной культуре населения указанных территорий древнего дописьменного времени. Ископаемые культуры имеют свои границы, которые изменяются и часто напластовываются друг на друга или вовсе прерываются и сменяются другими культурами. За всеми этими процессами несомненно скрывается история древних этнических единиц. Казалось бы, подставляй под обнаруживаемые культуры определенные этнические единицы — и проблемы этногенеза будут решены. Однако без определения языка нельзя установить, какие племена оставили в земле те или иные культуры. Язык является наиболее характерной особенностью этнических общностей. Черепки не говорят на каком-либо языке. Археологам хорошо известны многочисленные случаи, когда одна и та же культура оставлена разным этноязычным населением, и, наоборот, одно и то же в этноязычном отношении население могло иметь разные культуры. И в этом вся трудность. Не случайно, что одни и те же культуры, в зависимости от точек зрения исследователей, приписываются разным этносам (ср. споры о лужицкой, черняховской, пшеворской и многих иных культурах — что ни оригинальный исследователь, то своя гипотеза, исключаяющая другие). Не случайно также археологи ищут точки опоры в топонимике (особенно гидронимике), в других языковых сведениях, часто в неясных исторических источниках. К сожалению, нет археологов, которые владели бы в должном объеме сравнительно-историческим языкознанием, его современными методами, как нет языковедов, которые были бы основательными археологами. Ссылки археологов на лингвистические труды, как правило, случайны и произвольны, как и попытки языковедов, обычно поверхностно знакомых с археологическими исследованиями, опираться на данные археологии. В наше время невозможно «объять необъятное», и пока не появился такой ум (коллективный или индивидуальный), который сумел бы с полным знанием дела синтезировать все данные современной науки в решении невероятно трудных проблем этногенеза вообще, этногенеза славян в частности. И появится ли он?

Из сказанного вовсе не следует, что автор этих строк признает комплексный подход к проблемам этногенеза только на словах, а на деле его отрицает. Комплексный подход действительно необходим и вероятно уже сейчас дает кое-какие положительные результаты, но пока что он очень часто осуществляется на уровне взаимоисключающих гипотез. Нужно еще много поработать, создать саму методику комплексного исследования, которая позволяла бы объективно совмещать данные истории, языкознания, археологии и т. п. (если это возможно вообще).

Что касается лингвистов, то при освещении проблем этногенеза они опираются на связи искомого объекта с другими этническими объектами и на древнейшие значения лексики, насколько их можно восстановить (интересна попытка Н. Д. Андреева установить на основе семантического анализа реконструируемых им корней раннего праиндоевропейского языка — таких он нашел свыше двухсот — жизненный уклад наших весьма отдаленных предков, которых Н. Д. Андреев относит на 10—15 тыс. лет в глубь истории, то есть к позднему палеолиту).

Когда речь идет о славянском этногенезе, языковеды определяют место раннего праславянского (протославянского) языка среди других древних индоевропейских языков. Отправным пунктом разысканий обычно служат балтийские языки ввиду их особой предполагаемой близости к славянским. Подразумевается, что после распада праиндоевропейского языка протобалты продвинулись к юго-восточному побережью Балтийского моря, вытеснив и ассимилировав древнейшее финно-угорское или

какое-либо другое этнически не известное население, и стали на тысячелетия аборигенами этих земель. Часть их распространилась на восток — в верховья Днепра, Волги и Оки. Сторонники гипотезы прабалтославянского языка, начиная с А. Шлейхера, опираясь на сходства современных балтийских и славянских языков, считали, что протобалтийцы и протославяне в глубокой древности составляли единое этноязыковое целое, лишь впоследствии распавшееся на две обособленные, но близкородственные группы. Однако более детальное изучение балто-славянских связей обнаружало и глубокие различия между балтами и славянами, что вызвало резкую критику прабалтославянской гипотезы со стороны И. А. Бодуэна де Куртене, А. Мейе и многих других крупных компаративистов. Даже такой убежденный сторонник этой гипотезы, как Т. Лер-Сплавинский, вынужден был признать наличие древнейших весьма существенных различий между балтийскими и славянскими языками на всех их уровнях: фонетическом, морфологическом и лексическом. И те доводы, которые им приводятся в пользу названной гипотезы, нуждаются в пересмотре. Почему, например, совпадение индоевропейских кратких *ǵ* и *ǵʰ* в одном звуке (у славян в *o*, у балтов в *a*) мы должны возводить к прабалтославянскому лабиализованному *ǵʰ*, когда совпадения *ǵ* и *ǵʰ*, *ǵ* и *ǵʰ* имеются и в других индоевропейских языках, например, в германских, с разными результатами таких совпадений? Этот процесс мог развиваться в разных индоевропейских языках независимо друг от друга.

Споры относительно существования прабалтославян и их языка продолжают и теперь. Особенно много сторонников реальности этого языка имелось и имеется среди тех польских ученых, которые обязательно хотят видеть исконную прародину славян на территории Польши. Большинство же современных компаративистов считает, что прабалтославянский язык — научная фикция, что реальны только праславянско-прабалтийские связи, вызванные длительными контактами праславян и прабалтов (контакты эти то усиливались, то ослабевали). Если подходить к освещению этой проблемы, выискивая не только черты сходства, но весь комплекс явлений, в том числе и глубоких расхождений, то последнюю точку зрения надо считать единственно правильной. В конце концов все реконструкции решаются практикой исследования. А практика исследования такова, что, реконструируя славянские языковые древности, мы по необходимости обращаемся к праславянскому языку, а затем к языку праиндоевропейскому, а не к прабалтославянскому. Совершенно правильно в свое время заметил Т. Милевский по поводу «Сравнительной грамматики славянских языков» А. Вайана, что А. Вайан, предполагающий три ступени языкового развития — праиндоевропейскую, прабалтославянскую и праславянскую, практически пользуется, как и все его предшественники и современники, только двумя — праиндоевропейской и праславянской (балтийские материалы привлекаются наряду с другими индоевропейскими)¹. А это решает дело.

Праславяне и праславянский язык выделились из древнейшей, индоевропейской среды независимо от балтийской языковой общности. Когда это произошло, мы не знаем (на этот счет высказываются взаимоисключающие предположения). Во всяком случае в первом тысячелетии до н. э. праславяне уже существовали: развитая структура праславянского языка, какой она представляется в современных исследованиях, могла сложиться только в течение продолжительного времени. Где был первоначальный очаг выделения протославян из праиндоевропейского населения

¹ T. Milewski, [рец. на кн.:] A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I — Phonétique, RS, XVIII, 4, 1956, стр. 45.

(славянская прародина)? По этому вопросу нет единодушия. Из многих гипотез наиболее распространенными оказались две: 1) прародина славян располагалась между средним течением Днепра, верховьями Западного Буга и Вислы (территория северо-западной Украины, южной Белоруссии и юго-восточных областей Польши); 2) прародина славян находилась между Вислой и Одрой, т. е. в Польше. Коротко обе гипотезы называются среднеднепровской и висло-одерской. В спорах между сторонниками этих гипотез принимают участие историки, лингвисты, археологи, специалисты других областей знания. Вопрос остается нерешенным. Помимо всех прочих данных автор этих строк придает большое значение показаниям тех слоев архаической лексики, которые обозначают специфику природных условий определенной местности (названия особенностей ландшафта, растений и животных). Получается, что древнейшие наши предки не проживали в степях, в горах, у моря, что особенности их природных условий характерны для среднего Поднепровья и прилегающих к нему с запада областей. Противники этой концепции считают, что первоначальные названия особенностей ландшафта, растений и животных за длительную историю славян могли неоднократно изменить свои значения, поэтому лексический материал для реконструкций ненадежен и не должен учитываться. И вообще лексика слишком текуча в своем развитии, и ее не следует учитывать при характеристике истории языков и диалектов.

Конечно, верно, что семантические закономерности в развитии лексики (а они несомненно имеются) еще изучены гораздо меньше, чем закономерности фонетические и морфологические. Но если бы речь шла об отдельных разрозненных названиях, такой материал был бы действительно не пригоден для этноязыковых реконструкций. Однако в данном случае мы имеем дело с массовыми показаниями, взятыми в комплексе. Отсутствие исконно славянских названий, относящихся к степям, горам и морям с их специфическим животным и растительным миром, и наличие массы наименований особенностей ландшафта, животных и растений, характерных для лесов и лесостепи с умеренным климатом, нельзя признать случайностью, с которой можно не считаться. Простое отрицание — не метод научного исследования. Не надо забывать, что звуки и формы без слов с их значениями не существуют. Именно лексика, в которой заключается содержание всего, что выражает язык, наиболее перспективна для дальнейших исторических исследований, что теперь признается многими историками языков.

Чтобы примирить разные гипотезы, некоторые историки, лингвисты и археологи пытаются объединить их («и волки сыты, и овцы целы») и говорят о прародине славян, как о территории, распространявшейся от среднего Днепра до Одры. Однако такое предположение маловероятно. Во-первых, трудно представить себе такую огромную территорию с редким и неустойчивым в те отдаленные времена населением и крайне ограниченными путями и средствами сообщения как очаг возникновения праславянского языка. Обособление языка с его относительным единством предполагает непосредственное и длительное общение его носителей. Как могло непосредственно общаться между собой население Одры и Днепра, да еще постоянно и в течение длительного времени? Первичная прародина могла представлять собою сравнительно ограниченную территорию. Во-вторых, если бы протославяне оформились в особое этноязыковое единство у Карпат и Балтийского моря, было бы непонятно отсутствие в древнем праславянском языке исконных наименований специфических особенностей гор (*хребет, ущелье, гребень, ник* и прочие слова имеют явно вторичное значение или же в этой лексике присутствуют заимствования) и морей (в морской терминологии положение то же, что в горной, само название

море «обширное пространство воды», по данным славянских, балтийских и германских языков, имело исходное значение «болото», «озеро», «пруд»). Конечно, эта этимология слова *море* не безупречна. Не исключено, что первичным значением было «море», а значение «болото» является своего рода семантической деградацией. Если это верно, то праславяне знали о существовании моря, если не непосредственно, то через своих приморских соседей, или же память о море сохранилась у них от времени праиндоевропейского единства. Однако отсутствие в праславянском языке исконных названий, обозначающих специфически морской животный и растительный мир и особенности самого моря, говорит о многом. Первое тысячелетие до н. э. (особенно его вторая половина) — время, когда приморские племена широко пользовались дарами моря, уже выходили в море для рыбной ловли и иных надобностей. Праславяне не могли бы составить исключение. То же можно сказать и о горах. Само праславянское **goga* скорее всего означало «холм, покрытый лесом». Слово *гора* имеет широкие соответствия в индоевропейских языках. Не исключено, что праиндоевропейское **g^uer-*, **g^uor-*, **g^ur-* первоначально имело свою «внутреннюю форму» и, как считает О. Н. Трубачев, было отглагольным производным от **g^uer-* «пожирать», а также «испускать через рот, уста (например, воду)», т. е. значение «гора» вторично. Однако это вторичное образование уходит в такую глубину праиндоевропейской эпохи, когда никаких протославян еще не существовало. У нас же речь идет о семантической ступени развития слова *гора* в позднюю, праславянскую эпоху. Что касается явно производных *гребень* (горы), *ущелье* и др., то обращает на себя внимание разноречивость в славянских языках в обозначениях этих реалий (русск. *гребень* — польск. *grzbiet góry*, русск. *ущелье* — польск. *wąwóz górski* и т. п.). Иными словами, названия горных ландшафтов, специфически горного растительного и животного мира у славян, в основном, позднего происхождения. Это, конечно, не означает, что праславяне не знали о существовании гор, но отсутствие в их языке исконных древних названий, относящихся к горам и их особенностям, указывает на то, что горы не были местом их постоянного проживания. И в то же время в праславянском языке отчетливо выступает большой исконный пласт слов (а не отдельные слова), обозначающих специфические особенности ландшафта, растительного и животного мира, характерные для среднего Поднепровья и прилегающих к нему с запада областей. Случайность это, на которую не стоит обращать внимания («лексике доверять нельзя»), или нет? Нам представляется, что это не случайность, а закономерность.

Конечно, мы хорошо понимаем, что наши предположения являются только рабочей гипотезой. Когда будет завершена публикация упомянутых выше словарей праславянского лексического фонда, в котором было более 10 тыс. слов, исследователи получат в свое распоряжение массовый материал, изучение которого под углом зрения определения прародины славян может внести в эту гипотезу серьезные коррективы или даже вовсе зачеркнуть ее. Однако возможно (на что мы надеемся) и другое: гипотеза получит веское фактическое обоснование и станет теорией.

Очень важное значение имеют показания отношений праславянского языка с его соседями. Один из крупнейших современных иранистов В. И. Абаев подчеркивает, что большая часть связей северноиранских языков приходится на долю славянских языков. Иранцы имели контакты и с балтийцами в районах левых притоков Днепра выше Киева, но эти контакты значительно слабее славяно-северноиранских. В то же время в балтийских языках имеется гораздо больше древних германских заимствований, чем в языках славянских. С точки зрения представителей вис-

ло-одерской гипотезы славянской прародины этот факт объяснить невозможно.

Одним словом, выбирая между двумя гипотезами, мы отдаем предпочтение среднеднепровской, как наиболее соответствующей известным нам фактам.

Особая увлеченность какой-либо гипотезой, независимо от ее побудительных мотивов, может приводить к явной тенденциозности. Так произошло с одним из крупнейших славистов Т. Лер-Сплавинским, которого сторонники висло-одерской гипотезы называют «зачинателем, патриархом славянского этногенеза». Т. Лер-Сплавинский в конце своей деятельности пришел к выводу, будто бы праславяне возникли из балтийцев на юго-западной периферии балтийского мира (т. е. между Вислой и Одрой) в результате столкновения окраинных прабалтов с индоевропейскими племенами, передвинувшимися с юга на север (то ли иллирийцами, то ли италиками или какими-либо другими племенами, о языке которых нам известно очень мало). Эту мысль высказывают также и некоторые советские лингвисты и археологи, которые пытаются во что бы то ни стало доказать, что славянское население Восточной Европы является пришлым. Получается, будто бы языковая (и археологическая) история балтов и славян прошла три ступени: прабалтийскую (ее усматривают в восточно-балтийских языках); раннебалтийскую (она якобы лучше всего сохранилась в западнобалтийских языках — прусском, ятвяжском и галиндском; кстати, о ятвяжском и галиндском языках нам ничего не известно, если не считать некоторых гидронимов) и дочернюю праславянскую, возникшую на окраине территории западных балтов. Схема стройная, но фактически ничем не обоснованная (факты берутся не во всем их комплексе, а сугубо выборочно) и представляющая собой всего лишь декларацию. И исторически остается непонятным, как это периферийные балтийцы, да еще с примесью неизвестно какого населения, став славянами, превратились в огромное этноязыковое объединение (одно из крупнейших в человеческой истории), во много раз больше численно и территориально скромной балтийской группы. Остается только приписать им особую агрессивность, экспансию (откуда она взялась и как ее объяснить?), что, между прочим, и делается антиславянами (особенно антирусски) настроенными политиками. Для науки на этом пути никакой перспективы нет.

Итак, данные, которые предоставляет нам современная непредубежденная компаративистика, позволяют с уверенностью предполагать, что древнейшее славянское этноязыковое единство выделилось из праиндоевропейских групп населения как особая самостоятельная единица, в которой пережиточно наверняка сохранялись и предшествующие ей диалектные членения. В течение длительного времени протославяне (переходная ступень от праиндоевропейцев к славянам) и праславяне имели различные и неодинаковой степени интенсивности связи со своими соседями (в том числе и прабалтами), что нашло отражение в сходствах и различиях их языка на всех уровнях со многими другими индоевропейскими группами. Границы территории их расселения неоднократно изменялись.

Медленно, но изменялись их общественный уклад, материальная и духовная культуры. К VI в. н. э. классический родовой строй их был уже основательно поколеблен, начался переход от общества бесклассового к обществу классовому. Расселение праславян на обширных территориях не могло не ослабить связи между членами праславянского сообщества. Начался распад праславянского единства на отдельные группы племен, постепенно перераставших в народности, а соответственно и распад праславянского языка на близкородственные, но самостоятельные славянские языки. На востоке ставшей к этому времени обширной славянской тер-

ритории (между средним течением Днепра и Карпатами) обособляется восточнославянская этническая группа со своим особым языком, который обычно называется древним восточнославянским или прарусским, а со времени образования древнерусского государства древнерусским. Инновации прарусского языка в его фонетическом и морфологическом строе хорошо известны. Эти инновации в сочетании с унаследованной праславянской основой, подвергшейся определенной трансформации, пережиточными более древними диалектными членениями и новыми диалектизмами образовали неповторимую оригинальную систему, которую нельзя смешать с другими славянскими языками того времени. Восточнославянские племена (их названия нам известны из древнерусских летописей и некоторых иных источников; летописец начала XII в., пользуясь более ранними сведениями и народными преданиями и учитывая сознание родства, четко отделяет их от других славянских племен). Приблизительно с этого времени начинают прощупываться и восточнославянские археологические культуры. Археологи, стоящие на позициях автохтонности прото- и праславян в Восточной Европе (Б. А. Рыбаков и мн. др.), не сомневаются, например, в славянской принадлежности зарубинецкой культуры, которая прослеживается со II в. до н. э. в среднем Поднепровье и южнее Припяти (вплоть до ее верховьев и по правым ее притокам). Это совпадает с нашими лингвистическими наблюдениями. В. В. Седов, положивший много труда, чтобы доказать, что славяне в Восточной Европе — поздние пришельцы, в своей последней книге «Происхождение и ранняя история славян» также теперь признает, что носители зарубинецкой культуры, «по-видимому», принимали участие в этногенезе славян². Во II в. до н. э. праславянский язык еще не распался, но позже именно на этой территории выделяется древневосточнославянский (прарусский) язык как самостоятельная славянская ветвь. Из этой области древневосточнославянские племена расселяются в разные стороны, ассимилируя редкое балтийское, финно-угорское, отчасти иранское (а, может быть, и индийское в «старой Скифии» Геродота) и тюркское население. Конфигурация древневосточнославянской территории постоянно менялась и из-за внешних обстоятельств (нашествия готов, гуннов и других пришельцев). В южном и восточном направлениях древние восточные славяне то наступали, то отступали. Наибольших успехов они достигли на севере и северо-востоке. По данным специалистов по западнофинским и восточнославянским связям (прежде всего тут следует упомянуть работы В. Р. Кипарского), древнейшие восточнославянские заимствования в прибалтийско-финские языки (в том числе и в суоми) относятся к VIII в., а скорее всего к VII в. Это означает, что восточнославянские переселенцы из Приднепровья в VII—VIII вв. достигли бассейна Волхова и земель южного Приладожья. Примерно в то же время они появляются в верховьях Оки и в Воляско-Окском междуречье. Широкое расселение древних восточных славян вызывало новые деления прарусского языка, в котором появлялась также субстратная лексика и топонимика, но существенно структура прарусского языка не нарушалась. Положение о древневосточнославянском (прарусском) языке как переходном этапе от праславянского к письменно засвидетельствованному древнерусскому языку в славянском сравнительно-историческом языкознании стало аксиомой. Когда мы говорим о трех братских, близкородственных восточнославянских народностях, то имеем в виду не только их общий источник — древнерусскую народность, но и генетическую общность их корней от выделения из праславянских племен до образования древнерусского государства.

² В. В. С е д о в, Происхождение и ранняя история славян, М., 1979, стр. 74.

Однако в литературе делались попытки отрицать общность происхождения русских, украинцев и белорусов. В свое время австро-венгерский славист Ст. Смаль-Стоцкий пытался доказать, что никакого прарусского языка не существовало: украинский язык выделился непосредственно из праславянского языка, независимо от русского, и по своим структурным особенностям он ближе к сербскому языку, чем к русскому. «Доводы» Ст. Смаль-Стоцкого были решительно отвергнуты всеми славистами, в том числе и И. В. Ягичем, как в научном отношении совершенно несостоятельные. Мысль о независимом происхождении украинцев и украинского языка широко использовалась и используется политиканами из среды украинских националистов, но это к науке не имеет никакого отношения. Позже советский этнограф и лингвист Д. К. Зеленин возрождает давно оставленную гипотезу о переселении сухопутным или морским путем в район Ильменя и Волхова прибалтийских лехитских племен, которые будто бы положили основу северновеликорусов, лишь затем слившихся с остальными восточными славянами. В пользу своей гипотезы Д. К. Зеленин приводит случайные и вероюно понятые факты, даже так называемое «сладкоязычие» в русских говорах северо-востока Сибири, которое на самом деле появилось у русских переселенцев под воздействием местных языков (что было разъяснено А. М. Селищевым и П. Я. Черных), и одиночное произношение в тех же русских сибирских говорах *яхать* «ехать», которое он возводит к польск. *jachać* и уводит в глубокую древность. Фантастическая гипотеза о западнославянском происхождении северновеликорусов еще привлекает некоторых современных историков, но все это не оставило сколько-нибудь заметного следа в науке о славянском этногенезе и на этом можно было бы поставить точку, если бы не недавно вышедшая в свет книга русиста Г. А. Хабургаева «Этнонимия „Повести временных лет“»³.

Г. А. Хабургаев утверждает, что никакого прарусского языка (промежуточного этапа между праславянским и древнерусским языками) не было, что древнерусское языковое единство сложилось в результате объединения (интеграции) разнородных (гетерогенных) южных и западнославянских элементов с большой примесью автохтонных (прежде всего балтоязычных) компонентов, которое произошло только в рамках древнерусского государства в IX—XI вв. Все общие восточнославянские инновации будто бы распространились именно в это время, а единого восточнославянского массива от среднего Поднепровья до Ладоги до IX в. не существовало. Сходство, единство восточных славян — явление позднее, вторичное⁴. Как же складывалось это позднее (время эпохи раннего феодализма или существования средневековой Европы), сложившееся из разных по происхождению этноязычных лоскутков языкового единства? Ссылаясь на взгляды археолога В. В. Седова, которые Г. А. Хабургаев считает «безупречными», и полностью присоединяясь к гипотезе о происхождении славян из окраинных балтов и, следовательно, к висло-одерской гипотезе (только со ссылками на соответственно подобранную литературу, без каких-либо собственных разысканий), автор книги утверждает, что зарубинецкая культура была балтийской, на территорию ее распространения откуда-то с запада приходит часть праславян, ассимилирует балтов и образует особую группу поздних праславянских диалектов. С запада же из лехитской области неизвестно каким путем приходит прежде всего в бассейн р. Великой другая, по происхождению запад-

³ Г. А. Хабургаев, Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза, М., 1979 (рецензенты — К. В. Горшкова и Е. Ф. Васеко).

⁴ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 226—228.

нославянская группа, принявшая от балтов название кривичей, которая постепенно распространяется по всему современному русскому Северу. Между двумя этими группами (южной и северной) лежала широкая полоса балтов. Срединные балты постепенно славянизируются, и только в IX—XI вв. создаются в результате интеграции разнородных элементов древнерусская народность и древнерусский язык. Такова общая схема. Как она обосновывается?

Не будучи археологом, Г. А. Хабургаев большое место в своей книге отводит реферированию археологической литературы, что позволяет ему называть свой метод реконструкции «лингво-археологическим». Известно, что славянская (в том числе восточнославянская) археологическая литература весьма богата. Как было сказано выше, пока нет таких методов, которые позволяли бы отождествлять ареалы археологических культур с языковыми, поэтому в археологии существует множество гипотез об этнической принадлежности ископаемых культур. Г. А. Хабургаев излагает только одну из них (славяне не были автохтонами Восточной Европы, они пришельцы), а другие мнения в науке для него попросту не существуют. И если он ссылается на археологические авторитеты других теоретических направлений, то эти ссылки касаются только частных и рассчитаны они на создание у читателей видимости объективности изложения. Однако сугубо избирательная ориентация только на одну гипотезу, составляющую основу его рассуждений, с полным игнорированием иных концепций наших крупнейших археологов, свидетельствует не об объективности, а сугубой тенденциозности автора. Не сопоставляя разных точек зрения и не опровергая по существу дела иные мнения, можно «доказать» все, что угодно. Вот и получается, что на древнейших территориях восточных славян автору видятся всюду балты, а славяне пришли в среднее Поднепровье в VI в. н. э. («может быть и ранее») в процессе распада праславянского единства⁵. Носители знаменитой зарубинецкой культуры тоже были балтами, пришедшими с запада, хотя физически они вошли в состав восточного славянства (в результате их славянизации)⁶. Стало быть, и Киев, возникший, как теперь установлено, в V в. н. э., вероятно, следуя рассуждениям Г. А. Хабургаева, был основан балтами или, во всяком случае, этнически пестрым, смешанным населением. Конечно, все это стоит на уровне «археологических домыслов», не более того.

А как обстоит дело с лингвистическим обоснованием «гетерогенного происхождения» восточных славян? Важнейшим доказательством такого происхождения Г. А. Хабургаев считает противопоставление фрикативного γ ($> h$) взрывному g . Фрикативный γ ($> h$) распространен в украинском и белорусском языках, а также в южновеликорусском наречии, за их пределами — в чешском, словацком и верхнедужицком языках. Взрывной g характерен для северновеликорусского наречия, польского и нижнедужицкого языков. Первоначально между северной границей γ и южной границей g в Восточной Европе, как думает Г. А. Хабургаев, лежала широкая балтоязычная полоса, и только в эпоху древнерусского государства в процессе славянизации балтов образуется общая изоглосса γ и g (γ распространялось на север, а g на юг). Наличие на севере восточных славян g якобы свидетельствует о западном (лехитском) происхождении северновеликорусов (кривичей и словен). Все слависты согласны, что в праславянском языке был взрывной g , который позже диалектально изменился в γ . Но когда позже? Тут мнения расходятся. Одни языковеды

⁵ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 148.

⁶ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 88.

считают, что изменение *g* в *γ* произошло еще в праславянскую эпоху или в процессе распада праславянского языка (эту точку зрения разделяет и автор этих строк), другие же относят возникновение *γ* к позднему времени (не ранее XI—XIII вв.), причем это фонетическое изменение произошло в разных славянских языках независимо друг от друга (а фарингальный *h* появился только вместе с оформлением украинского языка). Нужно признать, что вопрос этот остается открытым. Во всяком случае, нет никаких оснований считать, что взрывной *g* пришел к восточным славянам из лехитской области. Взрывной *g* — прямое наследие праславянского языка, сохранившееся в южнославянских языках, польском и нижне-лужицком, в северновеликорусском наречии (из которого оно перешло в русский литературный язык, став в нем нормой). Где возник фрикативный *γ*, каковы были пути его распространения в древнее время, об этом нам решительно ничего не известно. И уже совсем несерьезно основывать этногенетические концепции на каком-либо одном изолированно взятом фонетическом явлении, без учета всего гигантского комплекса славянских диалектных явлений на всех языковых уровнях. Других лингвистических доказательств о переселении предков северновеликорусов из лехитских земель Г. А. Хабургаев не приводит. Он еще упоминает о северновеликорусском цоканье, но и сам воздерживается от установления связей между цоканьем и польским мазуреньем (большинство современных полонистов считает, что мазуренье в польском языке возникло не ранее XIII—XIV вв.). Немногие другие диалектные особенности, которые Г. А. Хабургаев привлекает в своей книге, являются поздними и к проблеме глоттогенеза восточных славян прямого отношения не имеют. При этом же следует заметить, что изложение поздних диалектизмов подается не всегда корректно, что приводит к ошибкам. Например, на стр. 63 книги сообщается, что А. И. Соболевский открыл в юго-западной письменности «новый *ʔ*», т. е. «удлинение краткого *e*, а также *o* перед слогом с утратившимся „слабым“ редуцированным». Можно подумать, что «новый *ʔ*» возникал не только перед «слабым» *ь*, но и перед «слабым» *ъ*!

Возможно (это мое предположение), что следы древних славяно-балтийских контактов отражаются в аканье, которое, как известно, распространено в белорусском языке и говорах южновеликорусского наречия, а также стало нормой русского литературного языка. Попытки объяснить происхождение аканья редукцией неударяемых гласных ни к чему не привели, поскольку территории аканья и редукции неударяемых гласных совершенно не совпадают. Редукция неударяемых гласных — явление явно позднее, наиболее яркое свое выражение оно нашло в современном русском литературном языке. Естественней объяснить происхождение аканья тем, что гласный *o* в праславянском и прарусском языках был открытым и мог в неударяемых слогах или лабиализоваться (современное оканье), или же измениться в *a* (современное аканье). Может быть, толчком к изменению неударяемого *o^a* в *a* было воздействие балтийского субстрата (краткие *ō* и *ā* в прибалтийском языке совпали в *a*). Вопрос о происхождении аканья остается нерешенным. Но если даже признать справедливым возникновение аканья под балтийским воздействием, это не нарушает «автогенность» происхождения восточных славян, имевших единую языковую систему с диалектным ее расчленением.

Другую опору своей гипотезы Г. А. Хабургаев ищет в этнонимах, представленных в «Повести временных лет». Он использует известный в топонимике (в частности, и в этнонимике) формантный метод, который дополняется историко-этимологическими соображениями. Самый ранний слой этнонимов — бессуффиксальные образования собирательного значения, которые, по мнению Г. А. Хабургаева, перестали быть продуктивными

к VII в. ⁷. Этноним **поля* «поляне» исчез к VIII—IX в., так как племенное объединение «полей» растворилось в разнородном населении Киева и его области. Само название **поля* «поляне» как производное от *поле* (так объяснял его древний летописец, так определяют его и современные этимологи) Г. А. Хабургаев считает образцом «народной этимологии», но своего толкования этого этнонима он не предлагает ⁸. Он только спешит заявить, что на территории днепровских полян археологические памятники славянского происхождения «появляются как будто не ранее VIII столетия» ⁹, а до этого их земля была заселена неславянскими аборигенами. Остальные бессуффиксальные этнонимы обычно обозначали балтийское и финно-угорское население (*литва*, *зимгола*, *весь*, *ямь*, *чудь* и т. п.). Что касается бессуффиксальных обозначений восточнославянских племен, то они на славянской почве не этимологизируются и их следует признать иноязычными по происхождению: *дулбы* (< **dudlǣb-*) — германское, *хърваты* — иранское, *сѣверъ* — иранское, **kriv-* «кривичи» — балтийское, **dregŭ-* «дреговичи» — балтийское, **tiver-* «тиверцы» — тюркское и т. д. Это якобы объясняется тем, что были племенные названия неславянских аборигенов, которые присвоили себе славянские пришельцы. Сюда же относится и этноним *Русь* — скандинавского происхождения. Летописец якобы тенденциозно пытался доказать, что славянское население на Волхове было первичным, а скандинавское — вторичным. Славяне-пришельцы наслонились на скандинавов и восприняли от них этноним *Русь* как самоназвание. Но тенденциозным оказывается не летописец, а Г. А. Хабургаев, так как археологи обнаруживают на Волхове островки скандинавских (варяжских) древностей, датируемые не ранее IX в., тогда как славяне появляются здесь не позже VIII в. (современные археологи возникновение Старой Ладogi как города, основанного русскими, относят к VIII в.). Даже название **слоу* — *словѣне*, *славяне* «могло быть усвоено группой праславян от автохтонов» ¹⁰ (конечно, не славянских).

Этимологизация этнонимов — дело очень трудное и спорное. По поводу их происхождения высказывается множество противоречивых гипотез. Большинство компаративистов находят корни этнонима *словѣне* на славянской почве, так же, как и *поляне*, *сѣверяне*, *кривичи*, *дреговичи* и др., а этноним *Русь* скорее всего распространялся с юга на север, а не наоборот. Причины заимствования этнонимов (а такое нередко) выяснить не всегда просто, и сам факт заимствования вовсе не обязательно обозначает смену одного населения другим. Этнонимы, конечно, должны учитываться при осуждении проблем этногенеза, но не как основной материал, так как обычно их этимологизация бывает очень спорной, а следовательно, малонадежной для решительных этногенетических выводов.

Далее Г. А. Хабургаев выделяет этнонимы на -'ане (*бужане*, *деревяне*, *полочане*, *поляне*, *сѣверяне*) и -'ыци (*тиверьци*), которые, по его мнению, возникли не ранее VIII—IX вв. и обозначали не племена, а территориально-политические объединения и произведены от названий населенных пунктов (как *кыяне*, *куряне* и пр.). Что суффиксальные образования были созданы от бессуффиксных основ, это верно. Но доказать позднее (не праславянское) происхождение -'ане и -'ыци (они разбросаны по всей славянской территории), да еще приурочивать их к VIII—IX вв., невозможно.

⁷ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 210.

⁸ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 151. Впрочем, следует отметить, что восстановление нормы *поля* (или *поли*) явно ошибочно. Форма *полямъ* ясно свидетельствует о том, что от **pole* «поле» образовалась консонантная основа **polen-*, им. падеж мн. числа которой был *полѣне*.

⁹ Там же.

¹⁰ Г. А. Хабургаев, указ. соч., стр. 213.

Это всего лишь означает выдавать желаемое за действительное. Между прочим, суффиксы, как и другие форманты, нередко меняют свои значения, и образования типа *кьяне, куряне, новгородьци* (они, конечно, от названий городов) не следует семантически отождествлять с этнонимами *поляне, сьверяне, тиверьци*. Невозможно также доказать, что последние обозначали не племена, а территориально-политические единицы. Г. А. Хабургаева смутил этнимом *словѣне* (население р. Волхова). То он считает, что его принесли с собой западнославянские переселенцы, то объявляет его церковнославянизмом, «явно искусственным книжным» словом, что относится к категории беспочвенных домыслов.

Наконец, выступает еще группа этнонимов с суффиксом *-ич-и*: *кривичи, дреговичи, радимичи, вятичи*. Согласно тенденциозным толкованиям, все население, носившее эти имена, было сплошь балтийским, славянизированным только в эпоху древнерусского государства. И это вопреки мнению летописца, четко определявшего указанные племена как восточнославянские, славянские по происхождению. Что касается этимологий этих этнонимов, то они являются спорными, неясными (как и многих нарицательных имен). Тем более к их анализу нужно относиться с особой тщательностью. Между тем, Г. А. Хабургаев «реконструирует» несуществовавшую исходную балтийскую форму **kriv-* вместо **kreiv-*, которая приводится в современных этимологических словарях. Корень **kreiv-* является общим для славянских и балтийских языков, а литов. **kriėvai* «русские» (< кривичи), латыш. **krievs* «русский» справедливо считаются славянским заимствованием в балтийских языках. Можно ли давать форму **krievā* (графически — современную литовскую, литературную, вплоть до знака ударения)? Нет, так как из такой несуществовавшей «прабалтийской» формы ожидалось бы **krievā* или **krievō*, чего нет на самом деле. Можно ли в словообразовательном отношении сравнивать древнерусское *дерева* (< **derv-*), от которого образовано *деревяне*, с литов. *Liet-uvā*, где в первом случае мы имеем корневой *-v-*, а во втором суффиксальный *-v-*? Как можно отнести к балтийскому заимствованию IX—XI вв. **dregŭv-* (> *дреговичи*), не принимая во внимание явно родственного названия *драговиты, другевиты* — славянское племя, проникшее на Балканы в VI—VII вв. и поселившееся в теперешней северной Греции между Солунем и Верреей? И с хронологией тут не получается. По Г. А. Хабургаеву, дреговичи — балты, ославянившиеся только в IX—XI вв. И откуда появляется (правда, под знаком вопроса) праформа **ventis*, из которой будто бы образуется этнимом *вятичи*? Любая праформа нуждается хотя бы в минимальных доказательствах. Правдоподобнее выглядит предположение о славянском патронимическом происхождении этнонимов *радимичи* и *вятичи*, подкрепленное к тому же известной летописной легендой о Радиме и Вятко. И уже совсем фантастична праформа **radimis* (= радимичи), которая без всяких доказательств дважды приводится на картах № 14 (стр. 90) и № 16 (стр. 112). Желание у автора выдать восточнославянские этнонимы за балтийские очень велико, но, кроме желания, нужны еще и аргументы. На самом деле среди восточнославянских этнонимов нет ни одного, который с некоторой долей вероятности можно было бы возвести к балтийскому источнику. Мы могли бы продолжить список явных промахов, имеющих в анализе восточнославянских этнонимов в книге Г. А. Хабургаева, но и сказанного достаточно, чтобы показать полную несостоятельность такого анализа. Суффикс *-ич-* несомненно праславянского происхождения. Вообще нужно иметь в виду, что бессуффиксальные и производные суффиксальные этнонимы в праславянском языке сосуществовали, а не просто сменяли друг друга. Кстати, Г. А. Хабургаев не замечает противоречия, в которое он впадает. По его мнению, бессуффик-

сальные этнонимы перестали быть активными к VII в., и в то же время он подчеркивает позднее происхождение у славян термина *Русь*. Ср. также этнонимы *сумь, весь, меря, мордва* и др. (и совсем поздние, современные для русского языка бессуффиксальные *коми, ханты, манси* и т. п.), появившиеся у восточных славян в эпоху контактов с финно-уграми, т. е. не ранее VII—VIII вв. Бессуффиксальные этнонимы активны и в современном русском языке. Плохо распорядился Г. А. Хабургаев формантным методом анализа этнонимов, не лучше обстоит у него дело и с этимологией этнонимов. Какая другая фактическая основа, кроме тенденциозного изложения археологической литературы и произвольного толкования изоглоссы γ и g , а также этнонимов, лежит в основе гипотезы Г. А. Хабургаева? Больше никакой, если не считать субъективного истолкования всем хорошо известных сведений из «Повести временных лет» и некоторых других источников.

Славянское сравнительно-историческое языкознание установило языковую общность восточных славян на всех уровнях. Известно также, что лингвисты неодинаково группируют южнославянские и западнославянские языки, но они все дружно считают восточнославянскую языковую группу фактом, не подлежащим сомнению. Если статья на позицию гетерогенного происхождения восточных славян, то как же в таком случае объяснить их столь несомненную этноязыковую общность, причем общность тесную, неразрывную? Своеобразия восточнославянской языковой группы, как и других славянских групп, к IX в. проявились с достаточной четкостью: возникло полногласие, свойственное только восточным славянам (начало преобразования праславянского **tort*, давшее разные рефлексы у славян, приурочивается по крайней мере к VIII в., если не ранее), изменение начальных **ort-*, **olt-* с нисходящей интонацией в *rot*, *lot*, *tort*, в отличие от южнославянского **trt* (ст.-сл. *крѣмъ, плѣкъ, зръно, влькъ*), сохранение во всей восточнославянской области в IX—XI вв. редуцированных фонем τ и ψ (следы праславянской старины), когда в это время у других славян начался процесс их падения, изменение носовых o и e в чистые y и a (этот процесс завершился по крайней мере к середине X в.), изменение **tj*, **dj*, **kt'* в *ч* и *ж* (<*дж*) и ряд других фонетических явлений, замена в твор. падеже ед. числа имен с основой на \bar{o} окончания *-омь/-емь* окончанием *-ъмь/-ъмь*, окончание *-ѣ* в род. падеже ед. числа основ склонений на *-а* и т. д., общевосточнославянские особенности лексики (дальнейшие исследования в этой области дадут много новых сведений), вся своеобразная и неповторимая совокупность разных явлений с неоспоримостью свидетельствует о существовании до IX в. особого восточнославянского (прарусского) языка. И если языковеды продолжают спорить между собой о путях возникновения тех или иных особенностей, сложившихся к IX — середине X в., то никто из них не сомневается в существовании восточнославянского (прарусского языка) — переходной ступени от праславянского языка к письменно засвидетельствованному древнерусскому. Реальность его подтверждается и тем, что в старославянском письменном языке, созданном в середине IX в. Кириллом и Мефодием, достаточно ярко представлены южнославянские и отчасти западнославянские черты, не совпадающие с особенностями языка восточных славян. Стало быть, по крайней мере к середине IX в. распад праславянского языка на отдельные близкородственные славянские языки в основном завершился (на самом деле это произошло не позже VI—VII вв.).

Реальность древнего восточнославянского (прарусского) языка и единого восточнославянского этноса, из которого через ступень единой древнерусской народности в XIII—XIV вв. возникли братские близкородственные народности — русские, украинцы, белорусы, — отрицают лишь те,

кто вопреки всем данным славянской компаративистики пытается навязать нам мысль о «гетерогенном», разношерстном происхождении восточных славян. Если бы восточнославянская общность была лишь результатом нивелировки различных по происхождению этнических элементов только в эпоху IX—XI вв. (время сложения и существования древнерусского государства), то в XI в., от которого дошла до нас древнерусская письменность, должны были еще сохраняться в языке южные, западославянские, балтийские и иные особенности, так как за такой короткий срок «гетерогенность» не могла бы сгладиться, чего не было на самом деле. Более того, нам пришлось бы в корне пересмотреть принципы и достижения славянского сравнительно-исторического языкознания, чего Г. А. Хабургаев и другие не делают, да и никогда не смогут сделать. А это решает все.

Конечно, восточные славяне в процессе расширения своей территории ассимилировали родственное и неродственное население (вообще в антропологическом и материально-культурном отношениях несмешанных народностей не бывает, и восточные славяне не представляют собой исключения из этого общего правила), внутри их земель происходили в разных направлениях передвижения племен и территориальных групп, в языке их сохранялись и сохраняются как пережитки более древние диалектные членения, непрерывно изменялись их контакты с соседями и т. п. Все это верно. Однако верно и то, что исторические различия между их отдельными группами нельзя доводить до абсурда. Любопытно, что Г. А. Хабургаев начинает свою книгу с восхваления этногенетической концепции А. А. Шахматова, которую ее критики, дескать, просто не поняли. Однако тут же выясняется, что конкретные положения шахматовской концепции (в том числе и его реконструкция дописьменного прарусского языка) устарели и должны быть заменены новыми. Если все конкретные положения концепции стали непригодны, то что же остается от самой концепции? По здравой логике ничего не остается. Шахматов для Г. А. Хабургаева понадобился как своего рода дымовая завеса для прикрытия его «гетерогенной гипотезы». Г. А. Хабургаев видит перспективность шахматовских исследований в том, что наш великий русист связывал историю языка с историей народа, общества. Но кто же из советских ученых отрицает такую связь? Только история общества, его материальной и духовной культур понимается по-разному. Отвергая «конкретную» концепцию А. А. Шахматова, Г. А. Хабургаев делает попытку создать собственную «концепцию» восточнославянского глоттогенеза. Что получилось из этой попытки, об этом может судить любой непредубежденный читатель.

Тенденциозно настроенные историки и филологи пытались, например, отрицать древнее происхождение «Слова о полку Игореве», подлинность надписи 1068 г. на известном Тмутараканском камне, многих других произведений литературы Киевской и Московской Руси. Но что, кроме шума и скандальной «славы», остается от таких «гипотез» в науке? Недоказанное, но настойчиво проводящееся утверждение, что славяне произошли от окраинных балтийцев, отрицание выделения восточных славян непосредственно из праславянского этноязыкового единства и исконного родства восточнославянских народностей и их языков путем пропагандирования «гетерогенности» их исторических истоков, утверждение, что современный русский литературный язык имеет иностранное (древнеболгарское или позднефранцузское) происхождение, и иные «концепции» такого же рода составляют хотя и пестрое, но единое направление, которое получает (хотя и этого представители подобного направления или нет) определенное общественное звучание. Не все гипотезы безобидны.

Положение о близком родстве и едином прарусском (древнем восточнославянском) источнике происхождения восточных славян остается непроверяемым.

КУЗЬМИН А. Г.

ЗАМЕТКИ ИСТОРИКА ОБ ОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
МОНОГРАФИИ

Название монографии Г. А. Хабургаева — «Этнонимия „Повести временных лет“ в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза» (М., 1979) — несколько громоздко и описательно. Но оно не случайно, поскольку автору важно было подчеркнуть некоторые аспекты своей концепции.

Основное содержание книги, написанной в остро полемическом тоне, — опыт решения традиционного вопроса образования и взаимодействия древнерусских диалектов и их отношения к современным восточнославянским языкам и диалектам. Автор формулирует два вопроса: «1. Действительно ли ко времени распада древнерусской народности сложились именно такие диалектно-этнографические группы, которые предопределяли границы и состав формирующихся после XIV в. восточнославянских народов...? 2. Действительно ли позднерусские диалектно-этнографические группы населения... непосредственно связаны с племенами, названными „Повестью временных лет“?» (стр. 13). Ответ на оба вопроса дается отрицательный. Автор приходит к выводу, что «каждый новый период социально-исторического развития восточных славян определял и новые направления их языкового развития» (стр. 229).

Избранная автором тема вызывает неизменный интерес не только у лингвистов, но и у историков. Историческое языкознание не может обойтись без истории, а историки без лингвистического осмысления материала, являющегося для них важнейшим источником. Но вопрос о взаимодействии этих двух дисциплин сам является спорным: что и как следует лингвистам брать у историков, а историкам у филологов. Монография Г. А. Хабургаева побуждает вычлнить в качестве особого объекта исследования вопрос о принципах междисциплинарных связей. Автор заявляет себя решительным сторонником теснейшего единения обеих наук, широчайшего использования достижений историков для объяснения лингвистических явлений, что не может не вызвать благожелательного отношения к такому подходу у историков. У лингвистов в свою очередь может возникнуть вопрос, в какой степени привлеченный автором исторический материал соответствует современному состоянию исторической науки. Эти два момента и объясняют включение в полемику историка.

Автор книги основную линию расхождений в лингвистике сводит к альтернативе: рассматривать ли процесс глоттогенеза через призму структуры языка или же как часть более общего процесса этнического развития? Но вопрос этот значительно сложнее, так как существует и другая альтернатива: какие проблемы могут и должны быть решены с точки зрения структуры языка, а какие требуют обязательного привлечения истории? Думается, что автор недостаточно различает эти разные плоскости расхождений, а потому нередко его претензии к оппонентам трудно понять.

Успех любого масштабного исследования в значительной мере зависит от четкости и продуманности методологических установок. «О задачах и методах исследования» говорит первая глава книги. По мнению Г. А. Хабургаева, «новейшие достижения русского языкознания, истории, археологии, этнографии, фольклористики, палеоантропологии не опровергли, а полностью подтвердили правильность и перспективность методологических основ гипотезы А. А. Шахматова» (стр. 6).

В последнее время почему-то стало модным приписывать А. А. Шахматову такие достоинства (а по существу недостатки), которых у него не было, а часто и быть не могло. К А. А. Шахматову нередко прибегают, когда ищут икону для освещения собственного понимания вопроса. У Г. А. Хабургаева А. А. Шахматов оказывается родоначальником исторического направления в диалектологии, и в этом может оказаться ключ к пониманию самим автором принципа историзма.

Следует иметь в виду, однако, что в конце прошлого столетия филология еще не была оторвана от истории, поскольку университеты давали историко-филологическое образование. Но начавшаяся дифференциация уже затронула и принцип историзма, что как раз хорошо заметно на работах Шахматова. И хотя со временем историзм в его работах нарастал, глубоко правы те авторы, которые отмечали у Шахматова недостаток историзма¹. И дело не только в том, что он никогда не осознавал значения социальных вопросов, а и в том, что он не воспринимал историзм как процесс развития и не искал закономерных связей между структурой и воздействующими на ее стабильность факторами.

В отличие от А. И. Соболевского, Шахматов считал возможным широкое использование современных говоров для реконструкции древнерусских диалектов. Ф. П. Филин примыкает к тем, кто считает такой подход недостаточным. Г. А. Хабургаев, напротив, видит в этом сильную сторону Шахматова. Но априорно нельзя сказать, в какой концепции больше историзма. Любое явление современности, несомненно, — важный источник для познания прошлого. Однако при этом необходимо знание определенных закономерностей, а иногда и этапов развития этого явления. Пессимизм Соболевского происходил из неверия в возможность их познания. Оптимизм Шахматова базировался на пренебрежении к самому факту эволюции изучаемых явлений. Он просто переносил на древность то, что правильным было лишь для современной ему эпохи. В итоге современный материал не только не помог в реконструкции диалектов прошлого, а дал неверное направление решению самой задачи. Кстати, ту же ошибку допускал Шахматов и в реконструкции истории летописания, на что справедливо указал Д. С. Лихачев².

Самое парадоксальное заключается в том, что Г. А. Хабургаев защищает Шахматова для того, чтобы затем отвергнуть его концепцию как несостоятельную, поскольку и формулировка вопросов, и выводы имеют в виду именно построение Шахматова, и отрицание шахматовской концепции у него в некоторых случаях более радикально, чем у Ф. П. Филина. Последний принимает концепцию Шахматова как частный случай, допуская стабильность отдельных диалектных явлений на протяжении ряда эпох; Г. А. Хабургаев же настаивает на обязательном их изменении под влиянием социально-исторических факторов.

¹ Ср.: Р. И. А в а н с о в, Вопросы образования русского языка в его говорах, «Вестник МГУ», 1947, 9; Л. В. Ч е р е п и н, Об исторических взглядах А. Е. Преснякова, «Исторические записки», 33, М., 1950; В. Т. П а ш у т о, А. А. Шахматов — буржуазный источниковед, ВИ, 1952, 2, и др.

² Ср.: Д. С. Л и х а ч е в, Русские летописи и их культурно-историческое значение, М.—Л., 1947, стр. 32.

В конечном счете основные выводы Г. А. Хабургаева (ср. стр. 66 и др.) подтверждают сделанные ранее заключения Ф. П. Филина. Действительные же их расхождения к Шахматову никакого отношения не имеют. Речь идет о факторах, реально влиявших на языковое развитие. Г. А. Хабургаев настаивает на изменении диалектных границ вслед за политическими, Ф. П. Филин наличие такой закономерности отрицает. Схема глоттогенеза у Г. А. Хабургаева predetermined политической историей государства. Ф. П. Филин такой фатальной predeterminedности не видит. Расхождение это непосредственно не имеет отношения к тому, принимать или не принимать принцип историзма и лишь косвенно соотносится с пониманием самого этого принципа. Гораздо больше здесь различий, связанных с оценкой конкретного исторического развития. Г. А. Хабургаев воспринимает его в слишком социологизированной форме. Это проявляется, в частности, в том, что он переоценивает степень единства феодальных земель в рамках централизованного государства и преувеличивает разобщенность их в условиях феодальной раздробленности. Ф. П. Филин совершенно справедливо обращает внимание на важность интеграционных процессов, проходивших во все периоды русской истории. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что в большинстве земель этот процесс в период феодальной раздробленности даже преобладал³. И прерывался он насильственно в результате нападений внешних врагов.

Основная часть работы Г. А. Хабургаева посвящена опровержению положения Шахматова о преемственности диалектного членения в древнерусский период и в предшествующий ему племенной. По-видимому, автор мог бы существенно усилить свои позиции, сославшись на многочисленные предшественников, в особенности как раз на тех, кого он склонен упрекать в неисторическом подходе. Но автор, видимо, счел себя вправе не делать таких отсылок, поскольку способ доказательства у него отличается определенным своеобразием. До сих пор, пожалуй, никто из лингвистов не пользовался в такой мере историко-археологической литературой, которая, как будто, и лежит в основе выводов автора.

Должно заметить, что историка не может удовлетворить скепсис в отношении вторжений в «чужую» область, прославляющий в отдельных замечаниях Ф. П. Филина и ряда других специалистов. К сожалению, для преодоления такого рода скепсиса опыта Г. А. Хабургаева оказывается совершенно недостаточно. Автор не пояснил, почему им берется одна и отвергается другая литература, а потому совсем не защитил себя от упрека в субъективизме. Вне поля его зрения часто оказываются такие работы, которые способны кардинально изменить выводы. Поэтому может создаться впечатление, что автор подошел к соседней области достаточно потребительно, останавливаясь лишь на том, что попало в его поле зрения или же созвучно его общим представлениям.

Автор любой книги по истории славянского глоттогенеза исходит из того или иного представления о славянской предыстории. И одной из самых сложных остается проблема прародины славян. Положение усугубляется тем, что не всегда учитывается связь ее с вопросом о хронологической глубине этнических процессов. А вопрос о прародине кардинально меняет вид в зависимости от того, начинают ли историю этноса с эпохи бронзы или же с первых письменных свидетельств. У Г. А. Хабургаева есть ряд беглых замечаний на этот счет, но их вряд ли возможно согласовать. Так, он убежден, что «геродотовы „скифы“ не могли быть прямыми

³ См., например: П. П. Толочко, Этническое и государственное развитие Руси в XII—XIII веках, ВИ, 1974, 2.

предками каких-либо исторически известных народов, а могли послужить лишь компонентами позднейших этнических образований, в том числе и праславян» (стр. 71). И здесь же милоградская культура эпохи Геродота определяется как балтоязычная (стр. 72). Если учесть, что автор исходит из гипотезы о существовании балто-славянской общности, то акцентирование внимания на балтоязычии тех или иных племен в противовес еще не существовавшим славянам вообще непонятно.

Сейчас появилась книга Б. А. Рыбакова, в которой время Геродота рассматривается как один из этапов (отнюдь не первый) в истории славянства⁴. Концепция эта излагалась им и ранее, и придерживается ее не один Б. А. Рыбаков. Если говорить по существу, то ни сравнительное языковедение, ни стадиальная теория Н. Я. Марра не предполагают все-таки быстрой и крутой перестройки языков. Языки, существовавшие в канун нашей эры, слагались, очевидно, не столетиями, а тысячелетиями. Интенсивность процесса развития нарастает, а не ослабевает. Отклонения от этого правила могли объясняться внешними (и вполне конкретными) причинами. Принцип историзма как раз и требует неперменного учета как общих, так и конкретных факторов, воздействующих на исторический процесс.

Поскольку расселение славян по Восточно-Европейской равнине шло главным образом из Среднего Поднепровья, особенно важны археологические культуры, сложившиеся на этой территории. Упомянутая милоградская культура (VII—II вв. до н. э.) — одна из них. О. Н. Мельникова убедительно доказывает ее славянскую принадлежность в специальной монографии, оказавшейся почему-то вне поля зрения автора⁵. А ведь если милоградская культура — славянская, то гипотетическую балто-славянскую общность придется относить к таким временам, что для рассматриваемых в книге культур это уже не будет иметь практического значения, а бесспорный факт ассимиляции славянами значительных балтийских массивов тоже сдвинется в глубь веков.

Зарубинецкую культуру, сменяющую милоградскую, Г. А. Хабургаев, опираясь на ранние работы В. В. Седова, отождествляет с западнобалтским племенем галиндов («голядь» русских летописей), оговаривая, что западные балты были к славянам по языку ближе, чем восточные (стр. 86—93). Оговорка эта, видимо, должна означать, что славяне зарождаются на Балтийском Поморье в послезарубинецкое время. Фактических подтверждений такой гипотезы нет. Исторически же — это время слишком позднее для начала славянства. Если же соотносить балтскую топонимику верховьев Оки с галиндами (голядь), то ни о какой особой близости языка этого племени к славянскому говорить не приходится. Кстади, В. В. Седов, на которого ссылается Г. А. Хабургаев, пересмотрел свою точку зрения, признав наличие в составе зарубинецкой культуры и славяноязычных племен⁶. Наиболее же полная аргументация в пользу славянства зарубинцев дана П. Н. Третьяковым в работе, также, к сожалению, оказавшейся вне поля зрения автора⁷. А признание возможности сосуществования (и противоборства) на одной территории на рубеже нашей эры разных групп славяноязычных племен даст совсем другое направление исследованию.

⁴ См.: Б. А. Рыбаков, Геродотова Скифия, М., 1979.

⁵ О. Н. Мельниковская, Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке, М., 1967; ср.: Б. А. Рыбаков, указ. соч., стр. 146—148.

⁶ Эту мысль автор проводил в ряде публикаций. Придерживается он ее и сейчас; см.: В. В. Седов, Происхождение в ранняя история славян, М., 1979, стр. 74.

⁷ П. Н. Третьяков, Древности второй и третьей четвертей I тыс. н. э. в Верхнем и Среднем Подесенье, сб. «Раннесредневековые восточнославянские древности», Л., 1974; см. там же «Предисловие» и статьи других авторов.

Черняховским древностям Среднего Поднепровья (II—V вв.) автор не уделяет особого внимания. Он напоминает о наиболее распространенном мнении, согласно которому в многоэтничной черняховской культуре были и славянские племена (стр. 84). Но, согласно его концепции, славянам в это время попасть сюда было невозможно, поскольку предшествующие среднеднепровские культуры он не считает славянскими. Отрицательному заключению помогает и действительно очень важное наблюдение Т. И. Алексеевой о преемственности антропологического облика поляня с эпохи бронзы и отличии этого типа от характерного славянского (стр. 85). Здесь нужно только иметь в виду, что на этой же территории и в эпоху черняховской культуры, и ранее сохранился обряд трупосожжения, принадлежавший иному населению. Славян же, как известно, можно искать лишь в культурах с трупосожжениями.

Со времен Татищева в литературе стоит вопрос об участии в восточнославянском этногенезе также «вендской», т. е. балтийской группы славян. Г. А. Хабургаев касается этой проблемы и подтверждает правомерность такой постановки вопроса на лингвистическом материале (стр. 108—113). Для историка это заключение чрезвычайно важно, поскольку оно помогает правильной мобилизации неясного историко-археологического материала. Но сам автор за своими выводами не последовал. Ему, в частности, представляется «исторически недопустимым» ставить вопрос о переселении новгородцев с запада (стр. 108, примеч. 10), так как в эпоху этой миграции (когда именно?) он еще не видит диалектного членения славян. «Недоказанным» считает он и тезис о наличии морского пути с южного берега Балтики в район Приладожья (стр. 113).

Прямые доказательства наличия морского пути в то или иное время привести, конечно, нелегко, так как на море следы не остаются. Косвенных же — более чем достаточно. Они многократно фигурировали в литературе, которая, к сожалению, также оказалась за пределами данной работы. Конечно, последних работ, решающих эти вопросы вполне однозначно, автор учесть еще не мог⁸. Но статьи по новгородской керамике Г. П. Смирновой выходят уже с 50-х гг. В 1965 г. опубликованы аналогичные материалы В. Д. Белецкого⁹. Значительный материал для решения этих вопросов содержат монографии В. Л. Янина и В. М. Потина¹⁰. Известное описание Адамом Бременским морского пути от Волина (Юмны) до Новгорода (и далее до «Греции») сделано в XI в. Но это было время не зарождения, а угасания пути, наиболее интенсивно функционировавшего в IX—X вв.

Факты, установленные упомянутыми специалистами, трудно переоценить. Так, Г. П. Смирнова на основе исследования керамического материала подтверждает правильность летописной записи о заложении Новгорода в 864 г.¹¹ По летописи, как известно, город основали варяги,

⁸ Ср.: Г. П. Смирнова, К вопросу о датировке древнейшего слоя Перевского раскопа, сб. «Древняя Русь и славяне», М., 1978; И. Херрман, Полабские и ильменские славяне в раннесредневековой балтийской торговле, там же; В. В. Семенов, Лещная керамика Изборского городища, «Краткие сообщения Института археологии», 155, М., 1978; С. В. Белецкий, Биконические сосуды Труворова городища, СА, 1976, 3, и др.

⁹ В. Д. Белецкий, Раскопки Древнего Пскова в 1964 году, «Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1964 год», Л. 1965; его же, Древний Псков по материалам археологических раскопок экспедиции Государственного Эрмитажа, «Сообщения Государственного Эрмитажа», 29, 1968.

¹⁰ В. Л. Янин, Денежно-весовые системы русского средневековья, М., 1956; В. М. Потин, Древняя Русь и европейские государства в X—XIII вв., Л., 1968.

¹¹ Дату дают Ипатьевская и Радзивилловская летописи. Соответствующий текст Лаврентьевского списка испорчен.

а летописная традиция упорно выводила и самих новгородцев «от рода варяжска»¹². Г. А. Хабургаев видит в этой фразе указание на выходцев из Скандинавии (стр. 221). Между тем, древнейшая керамика недвусмысленно указывает на южный берег Балтики от Колобжега до Мекленбурга¹³. Именно эта территория признавалась «варяжской» в единственной летописной записи о месте обитания варягов¹⁴. Именно на этой территории И. Херрман фиксирует распространение культовых построек кельтского облика, бесспорно свидетельствующих о теснейших славяно-кельтских контактах¹⁵.

Сложный вопрос об этнической ситуации на южном берегу Балтики в I тыс. мог бы увести слишком далеко от основной темы. Но стоит обратить внимание на то, что «варяжские» имена *Шимон* (т. е. *Симон*) из Печерского патерика и *Шихъберн* (т. е. *Сигоберн*) из договора Игоря приобрели характерную для балтийских славян окраску. Многим другим именам (включая *Рюрика*, *Синеуса*, *Дира*) аналогии находятся не в Скандинавии, а на континенте¹⁶. О языке же этих варягов говорят названия построенных ими городов: *Новгород*, *Изборск*, *Белоозеро*. Очевидно, количество лингвистических данных, свидетельствующих о некотором участии в древнерусском этногенезе балтийских славян, может быть увеличено. Здесь достаточно заметить, что в этом и заключается варяжская проблема.

Собственно этнонимии «Повести временных лет» посвящена лишь последняя глава книги. С точки зрения подхода автора такое распределение материала вполне оправдано. Не вызывает возражений и основной вывод: «бессуффиксные» этнонимы первичны по сравнению с суффиксальными. Глава эта была бы несомненно интересной, если бы автор учел недавно вышедшую специальную работу О. Н. Трубачева¹⁷. Но нежелание переделывать готовую работу можно понять (стр. 210). Другое дело — анализ самого летописного текста. Эта часть вызывает явное чувство неудовлетворенности. Сожаления достойно уже то, что автор не попытался самостоятельно взглянуть через свой материал на состав «Повести временных лет». Но, видимо, на данном этапе он и не мог этого сделать. Его отсылка к «Комиссионному списку „Повести временных лет“» (стр. 153, примеч. 179), являющемуся в действительности списком Новгородской I летописи, свидетельствует лишь о первом приближении к летописеведческой проблематике. При этом литература, посвященная анализу этнографического введения «Повести», т. е. самого нужного автору раздела, практически не нашла отражения в книге. Не говоря о современных работах, автор не учитывает, например, блестящих исследований Н. К. Никольского. За пределами его монографии остались также специальные разыскания М. Н. Тихомирова и А. Н. Насонова¹⁸.

¹² «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.—Л., 1950, стр. 106 и др.

¹³ Ср.: Г. П. Смирнова, указ. соч., стр. 167—169, и др. ее работы.

¹⁴ Ср.: А. Г. Кузьмин, Об этнической природе варягов, ВИ, 1974, 11, стр. 56—59.

¹⁵ J. Herрман, Zu den kulturgeschichtlichen Wurzeln und zur historischen Rolle nordwestslawischer Tempel des frühen Mittelalters, «Slovenská archeológia», Bratislava, 1978, 1.

¹⁶ А. Г. Кузьмин, указ. соч., стр. 75—78.

¹⁷ См.: О. Н. Трубачев, Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян, ВЯ, 1974, 6. Книга Г. А. Хабургаева была сдана в набор ровно три года спустя после выхода в свет этой статьи.

¹⁸ Н. К. Никольский, «Повесть временных лет» как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, I, Л., 1930, и др.; М. Н. Тихомиров, Начало русской историографии, ВИ, 1960, 5, и др.; А. Н. Насонов, История русского летописания XI — начала XVIII века, гл. I, М., 1969.

Иногда вызывает недоумение и просто понимание автором летописного текста. Так, знаменитая Ливенская битва 1024 г. между Мстиславом и Ярославом не может привлекаться для противопоставления северян и черниговцев (стр. 207). Мстислав пришел из Тмутаракани с русской дружиной и, потерпев неудачу под Киевом, сел в Чернигове. Под Ливенем (недалеко от Любеча) Мстислав против наемных варягов Ярослава поставил «север» — ополчение северян, а свою дружину ввел в бой лишь после того, как варяги основательно потрепали ополченцев. В этом и смысл «радости» Мстислава: «Кто сему не рад? Се лежит северянин, а се варяг, а дружина своя цела».

Непонятен и комментарий к сказанию об апостоле Андрее (стр. 225), будто фраза «приде в словене, идеже ныне Новгородъ» рассчитана на современников, которым термин «словене» для обозначения новгородцев «не был известен». Смысл здесь в противоположном: летописец знал, что во времена апостола Андрея Новгород еще не существовал, а о времени появления в этих местах словен представления у него не было. Летописец стремился уязвить новгородцев, и, по справедливому замечанию Е. Е. Голубинского, у него «апостол не совсем скромным образом употреблен в орудие насмешки»¹⁹. Это стремление принизить новгородцев прослеживается в ряде текстов, принадлежащих, видимо, одному автору²⁰.

Этимологизация древнейших летописных этнонимов у автора не имеет самостоятельного значения, поскольку он просто повторяет существующие точки зрения. Автор, правда, обнаруживает некоторый уклон в сторону тюркизмов и германизмов, что плохо согласуется с приводимыми им самим данными антропологии и топонимики. Не учитываются и противоречащие его точке зрения мнения²¹. В книге также есть сюжет, который поверхностно затрагиваться не может. Это вопрос о происхождении «Руси». Он неизмеримо более важный и объемный, нежели непосредственное содержание книги. Поэтому настоятельно необходимы разноплановые оговорки, ограничивающие притязания автора. А их-то и нет.

Вопрос о варягах и руси автор решает в соответствии с норманистской традицией, признающей варягов вообще норманнами, а русь — шведами (стр. 216—222). О варягах шла речь выше в связи с рассмотрением «вендской» проблемы. Естественно, что иное направление решения варяжской проблемы должно изменить и взгляд на проблему руси.

Г. А. Хабургаев упрекает М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова за то, что они выступали против «норманистской» интерпретации имени «Русь» (стр. 216—217). Он разъясняет им, что вопрос о происхождении этнонима не имеет отношения к происхождению государственности. Но сам норманистскую интерпретацию использует для доказательства гипотезы о норманнских колонистах и их преобладании в составе древнерусской знати. Споры нет, антинорманизм до недавнего времени носил остро полемический характер. Но наивно было бы думать, что нормализм можно отвергнуть простым тезисом: «Государство не может быть привнесено извне». Достаточно внимательно вчитаться в текст «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса²², чтобы понять, что он никогда не отрицал возможности возникновения государства в результате завоеваний (ср. хотя бы путь образования государства у германцев или ранее

¹⁹ Е. Е. Г о л у б и н с к и й, История русской церкви, I, 1, М., 1901, стр. 25.
²⁰ Ср.: А. Г. К у з ь м и н, Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи, сб. «Летописи и хроники», М., 1974.

²¹ Так, принимаемую автором этимологию тиверцы=тюрки (стр. 172) решительно отвергает К. Г. Менгес (ср. русское издание его книги «Восточные элементы в „Слове о полку Игореве“», М., 1979, стр. 149—150).

²² К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 21, стр. 119, 126—127, 146—147, 150—151 и др.

у народов, завоеванных римлянами). Новейшие же исследования показывают, что как раз путь завоеваний, путь возвышения одних племен над другими и был наиболее осязаемым во всемирно-историческом процессе возникновения классов²³. И если автор признает преобладание норманно-германской прослойки в социальной верхушке древнерусского общества, то это и есть норманизм в его крайнем проявлении.

Разумеется, норманизм вызывает возражения не из-за ущемленного чувства национального достоинства. Никто не будет отрицать, например, факта продолжавшегося два с половиной столетия татаро-монгольского господства, потому что это — факт. Норманизм же построен не на фактах, а на гипотезах, подаваемых норманистами как факты.

В решении вопроса о происхождении и значении имени «Русь» Г. А. Хабургаев считает достаточными старые работы А. А. Шахматова, от которого как бы отошли советские историки в 40—50-е гг. (стр. 216). Но автор явно упрощает проблему. К сожалению, в книге опять-таки не нашли отражения многие важные работы, в том числе большая статья И. П. Шаскольского, посвященная этой теме²⁴. Не упоминает Г. А. Хабургаев и факта, о котором напоминал Д. К. Зеленин: эстонско-финское название *Rootsi* — *Ruotsi* распространялось не только на шведов, но и на Ливонию²⁵. А в Ливонии автор конца XII — начала XIII в. Саксон Грамматик помещал многолюдное и воинственное племя рутенов (руси), которое он неизменно отличал по разным признакам (включая обряд погребения) как от датчан, так и от шведов-свеев²⁶. Необходимо учитывать также, что «Русью» в источниках X—XIV вв. часто называлась Ругия и некоторые другие районы южнобалтийского побережья²⁷.

Названные примеры взяты только из одной прибалтийской области. По проблема еще сложнее, так как существует, по крайней мере, четыре «Руси»: Приднепровская, Причерноморская, Прибалтийская и Прикарпатская. По каждой из них имеется большая литература, которую нельзя в небольшой работе ни объять, ни отвергнуть. Кстати, вопреки сетованиям автора, доказательство южного происхождения «Руси» не обязательно означало истолкование этого имени на основе славянских языков. Напротив. Большинство исследователей искали объяснение ему на иранской почве. В числе этих авторов можно назвать П. Н. Третьякова, С. П. Толстова, И. П. Шаскольского, и многих других. О. Н. Трубачев усматривает истоки термина «Русь» в древнеиндийских диалектах «Старой Скифии» Геродота. Не исключено, что в разных случаях предполагалось неодинаковое происхождение и значение этого этнонима. И даже название «Русское море», как именуется в самых различных источниках и языках Востока и Запада Черное море, не обязательно связало с русью как этносом. Какой-то части славян вплоть до XVII в. оно было известно, как «Чермное море», а ирландским сагам как «Mare Ruad», т. е. в обоих слу-

²³ Ср.: А. М. Х а з а н о в, «Военная демократия» и эпоха классовобразования, ВИ, 1968, 12; А. Г. К у з ь м и н, Болгарский ученый о советской историографии начала Руси, ВИ, 1971, 2.

²⁴ См.: И. П. Ш а с к о л ь с к и й, Вопрос о происхождении имени *Русь* в современной буржуазной науке, в кн.: «Критика новейшей буржуазной историографии», Л., 1967.

²⁵ Д. К. З е л е н и н, О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода, «Доклады и сообщения Института языкознания», VI, М., 1954, стр. 90.

²⁶ В хронике Саксона Грамматика имеется в общей сложности свыше печатного листа сведений, касающихся этой прибалтийской Руси, относящихся к периоду не позднее IX—X вв.

²⁷ Ср.: А. Г. К у з ь м и н, «Варяги» и «Русь» на Балтийском море, ВИ, 1970, 10; Г. К. Л о в м я н ь с к и й, Руссы и руги, ВИ, 1971, 9, и др.

чаях название означает «Красное», очевидно, в значении «красивое» (может быть, в отличие от «Белого», Балтийского)²⁸.

Работы, в которых так или иначе ставится вопрос о «норманнских колонистах», представлены в книге достаточно полно (стр. 221—222). Но для правильного понимания собранных археологами фактов необходимо их историческое осмысление. Ведь если поверить, например, Л. С. Клейну, Г. С. Лебедеву и В. А. Назаренко в том, что «норманны» появились на Верхней Волге на столетие ранее славян и долгое время численно превосходили последних²⁹, то, очевидно, следует поставить вопрос: каким образом из синтеза германской и угро-финской речи родился славяно-русский язык? Видимо, что-то в этих построениях не так: либо факты, либо осмысление. Кстати, упомянутая в «норманистском» ряду Н. В. Тухтина это поняла. Вероятно, поэтому она изменила свою точку зрения (автор книги не учитывает этого факта)³⁰. Суть же заключается в том, что для решения этого вопроса нужно отказаться от традиционного германоцентризма и той наивной «скандинавomanии», которую Ю. Венелин остроумно развенчал еще полтора столетия назад.

В книге найдется немало и иных сюжетов, которые могут вызвать возражения историков или направить на ложный след лингвистов. По частным вопросам возражения могут быть бесконечными. Правда, от «смежника» нельзя требовать исчерпывающего знания литературы. При усиливающемся потоке публикаций это практически невозможно и для специалиста. Однако важно быть в курсе основных идей и проблем смежной науки, понимать ее методы, уметь отделять факты от предположений. При обращениях к историческим работам самое важное, видимо, заключается в понимании принципа историзма, который, конечно, не сводится к примату во всех случаях социального или экономического факторов. Историзм требуется и при изучении таких явлений, которые вообще не имеют отношения к социальным и экономическим вопросам. Прделанная автором работа могла бы быть полезной как начало решения поставленной задачи. Однако, к сожалению, этого не получилось. Автор пока, видимо, еще не осознает характера возникающих в контактной зоне трудностей. Но, скажем, прекрасно их осознающие Ф. П. Филин или О. Н. Трубачев, пожалуй, излишне щепетильны в вопросах выхода за пределы лингвистического материала. Сходная обстановка существует и в исторической науке. Мостик между обеими отраслями знания пока узенький и шаткий, и используется он чаще всего в духе противоборства Торговой и Софийской сторон Новгорода, сходящихся на Волховском мосту. А пора поставить вопрос о принципах широкого сотрудничества. Только в этом случае и окажется возможным создание «непротиворечивых концепций», о которых говорит Ф. П. Филин, т. е. таких концепций, в которых имманентные противоречия исторической и лингвистической наук окажутся скоррелированными в единой системе.

²⁸ Сводку этих сведений см.: А. Г. Кузьмин, Об этнической природе варягов, стр. 67—68.

²⁹ См.: Л. С. Клейн, Г. С. Лебедев, В. А. Назаренко, Норманские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения, сб. «Исторические связи Скандинавии и России. IX—XIX вв.», Л., 1970, стр. 246 и др.

³⁰ См.: Н. В. Тухтина, Этническая принадлежность погребенных в курганах Юго-Восточного Приладожья, в кн.: «История и культура Восточной Европы по археологическим данным», М., 1971.

МЕЛИКИШВИЛИ И. Г.

СТРУКТУРА КОРНЯ В ОБЩЕКАРТВЕЛЬСКОМ
И ОБЩЕИНДООЕВРОПЕЙСКОМ

Новые реконструкции и реинтерпретации построенных ранее гипотез, предложенные в последние годы в картвелологии и индоевропеистике, значительно сближают системы, восстанавливаемые для общекартвельского и общеиндоевропейского языковых состояний. Общие черты выявляются как в области фонологии, так и в области морфологии, синтаксиса¹. И это касается не периферийных, малозначительных черт, а фундаментальных характеристик, имплицитующих общность более поверхностных признаков и, таким образом, определяющих характер всей языковой системы.

В настоящей статье излагаются результаты систематического сравнения общекартвельских и общеиндоевропейских реконструированных корневых структур. Предпосылкой сравнения служит близость парадигматических систем смычных и основных корневых структур в этих системах.

Для общекартвельского языкового состояния реконструируется трехчленная система смычных с противопоставлением серий звонких, глухих аспирированных и глухих и глоттализированных фонем. Общеиндоевропейская система смычных традиционно реконструировалась в виде трехчленной системы с противопоставлением глухих, звонких простых и звонких аспирированных фонем. Однако исследования последних лет выявили необходимость реинтерпретации серии звонких непрдыхательных фонем. Вкратце изложим типологические предпосылки реинтерпретации.

Эта серия смычных в общеиндоевропейском предстает в виде наиболее маркированного, периферийного члена системы смычных. По подсчетам Г. Жюкуа², она имеет наименьшую частотность в классе смычных фо-

¹ Мы имеем в виду работы, выявляющие большое типологическое сходство общекартвельского и общеиндоевропейского на всех уровнях языка. По фонологии, морфологии и акцентуации см.: Т. Г а м к р е л и д з е, V. I v a n o v, Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeinindoeuropäischen Verschlüsse, «Phonetica», 27, 1973; Т. В. Г а м к р е л и д з е, Г. И. М а ч а в а р и а н и, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.); Г. В. Ц е р е т е л и, Метр и рифма в поэме Руставели «Витязь в барсовой шкуре», Тбилиси, 1973 (на груз. яз.); по морфологии и синтаксису: К. Н. S c h m i d t, Zu den Aspekten im Georgischen und in indogermanischen Sprachen, RK, 43—44, 1963; е г о ж е, Konjunktiv und Futurum im Georgischen und in indogermanischen Sprachen, RK, 45—46, 1964; е г о ж е, Indogermanisches Medium und Sataviso im Georgischen, RK, 48—49, 1965; е г о ж е, Tempora im Georgischen und in indogermanischen Sprachen, «Stidia Caucasia», 2, 1966; е г о ж е, Beiträge zu einer typologisch-vergleichenden Grammatik der indogermanischen und südkaukasischen Sprachen, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 22, 1967; на разительное сходство между версионными системами картвельских и древних индоевропейских языков еще раньше обратил внимание А. Ш а н и д з е, см. его «Основы грамматики грузинского языка», Тбилиси, 1953, стр. 362—363 (на груз. яз.); общие черты, обусловленные активным строем языка, выявлены на уровнях морфологии, синтаксиса и лексики Г. А. К л и м о в ы м, см. его «Типологию языков активного строя», М., 1977, стр. 207—230.

² G. J u q u o i s, La structure des racines en indoeuropéen envisagée d'un point de vue statistique, «Linguistic research in Belgium», Wetteren, 1966.

нем — ср. частотные характеристики глухих аспирированных, звонких аспирированных и простых звонких фонем:

<i>p</i>	189	<i>b^h</i>	142	<i>b</i>	(31)
<i>t</i>	158	<i>d^h</i>	83	<i>d</i>	83
<i>k</i>	220	<i>g^h</i>	61	<i>g</i>	70
	567		286		184

Однако в живых языках такого соотношения не наблюдается. В языках с противопоставлением звонких простых и звонких аспирированных фонем частотность простых звонких всегда выше частотности звонких аспирированных фонем³. Вот, например, частотные характеристики бенгальских смычных:

<i>p</i>	1.73	<i>p^h</i>	0.21	<i>b</i>	4.40	<i>b^h</i>	0.84
<i>t</i>	3.87	<i>t^h</i>	0.52	<i>d</i>	2.88	<i>d^h</i>	0.42
<i>ʈ</i>	1.57	<i>ʈ^h</i>	0.22	<i>ɖ</i>	0.09	<i>ɖ^h</i>	0.00
<i>c</i>	2.25	<i>c^h</i>	0.77	<i>j</i>	2.76	<i>j^h</i>	0.00
<i>k</i>	6.54	<i>k^h</i>	2.06	<i>g</i>	1.83	<i>g^h</i>	0.25

В особом противоречии с типологическими данными является функционирование общеиндоевропейской «звонкой» лабиальной фонемы. Она настолько ограничена в дистрибутивном и частотном отношениях, что в праиндоевропейском реконструируется пробел на ее месте. Однако данные живых языков показывают, что в классе звонких фонем лабиальная всегда имеет функциональное преимущество перед веллярной и при наличии пробелов в серии звонких фонем пустая клетка в первую очередь приходится на место звонкой веллярной фонемы. Слабую единицу лабиальная артикуляция создает в сочетании с признаком глухости. В классе глухих фонем возможен пробел на месте лабиальной фонемы при наличии в системе веллярной⁴. Следовательно, данные синхронной типологии указывают на необходимость реинтерпретации традиционной серии звонких фонем в качестве глухих. При этом указанная серия должна была иметь дополнительный различительный признак (аспирации или глоттализации), ибо в системе уже имелась другая, функционально более сильная (немаркированная) серия глухих фонем.

Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, а также Х. Хопшер предлагают реконструировать данную серию в виде глухих глоттализованных фонем. Мы принимаем это предположение и надеемся показать, что правила, определяющие структуру общеиндоевропейского корня, сформулированные в терминах этой реконструкции, создают более последовательную систему, в большей степени согласующуюся с типологическими данными и общей фонологической теорией, чем правила, сформулированные на основе традиционной реконструкции.

Как в общеиндоевропейском, так и в общекартвельском в качестве канонической формы корня реконструируется закрытый слог (*CVC*)⁵.

Из 710 общекартвельских корней нашего списка⁶ 608 относятся к ти-

³ Эти данные взяты из работы: В. S i g u r d. Rank-frequency distributions for phonemes, «Phonetica», 18, 1, 1968.

⁴ См. об этом: И. Г. М е л и к и ш в и л и, К изучению нерархических отношений единиц фонологического уровня, ВЯ, 1974, 3, стр. 98—99.

⁵ Т. В. Г а м к р е л и д з е, Г. И. М а ч а в а р и а н и, указ. соч., стр. 304.

⁶ Список общекартвельских морфем, который мы использовали для статистического и дистрибутивного анализа, был составлен на основе «Этимологического словаря картвельских языков» (далее — ЭСКЯ) Г. А. Климова (М., 1964). Был также использован индекс сопоставлений, приложенный к работе К. Н. S c h m i d t, Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache, Wiesbaden, 1962 (далее — «Studien») и материал исследований, содержащих картвельские сопоставления и опубликованных позже 1964 г.

пу *CVC*, а из этих последних 359 — к типу *CVS* (с конечным сонорным согласным).

Как известно, доминантной структурой корня и в общиндоевропейском является закрытый слог с конечным сонантом. Из 2027 индоевропейских корней, изученных статистически Г. Жюкуа, 70% составляют структуры с конечным сонантом⁷. В данной статье мы не будем рассматривать все подтипы корневых структур. Рассмотрим распределение шумных смычных и аффрикат в структурах типа *CVC*⁸, а также коснемся распределения сонантов в этом типе структур.

Корни типа *CVC*, составленные из шумных смычных и аффрикат, разделены на два подтипа — гомогенные и гетерогенные структуры — и начнем с рассмотрения гетерогенных структур, ибо в них ярче проявляется общая закономерность построения корневых структур, действующая и в гомогенных корнях. В структуре гетерогенных корней нас интересует взаимоотношение признаков способа артикуляции и места артикуляции начальных и конечных смычных. Анализ полученных результатов показал, что правила взаимного ограничения этих признаков лучше всего формулируются в терминах относительной сонорности звуков⁹, составляющих корневую морфему. Принцип распределения звуков в соответствии со степенью их сонорности позволил объединить частные правила распределения в одну общую закономерность. Поэтому мы с самого начала представим общекартвельские корневые структуры упорядоченными на основе соотношения начальных и конечных смычных по степени их сонорности. Гетерогенные гетерогенные корневые структуры разделим на структуры восходящей и нисходящей сонорности по признакам ларингальной артикуляции и места артикуляции¹⁰:

1. По признакам ларингальной артикуляции

а) Восходящая сонорность

Глоттализированный — звонкий
Аспирированный — звонкий
Глоттализированный — аспирированный

б) Нисходящая сонорность

Звонкий — глоттализированный
Звонкий — аспирированный
Аспирированный — глоттализированный

2. По признакам места артикуляции¹¹

а) Восходящая сонорность

Передняя артикуляция — задняя
артикуляция
(Децессивные структуры)

б) Нисходящая сонорность

Задняя артикуляция — передняя
артикуляция
(Акцессивные структуры)

⁷ G. Juquois, указ. соч., стр. 57—68. Малое количество общекартвельских корней по сравнению с индоевропейскими объясняется как немногочисленностью сравниваемых единиц — картвельских языков, так и несколько меньшей разработанностью картвельской этимологии по сравнению с индоевропейской.

⁸ Место начального или конечного смычного в общекартвельских корнях может занимать гармоничный комплекс согласных (т. е. комплекс гомогенных, децессивно соединенных согласных) типа смычный — смычный или смычный — щелинный. Выявленные закономерности действительно и для консонантизма корней типа *CVCV*.

⁹ Об относительной сонорности звуков и о сонорном принципе строения слога см.: E. Sievers, Grundzüge der Phonetik, Leipzig, 1901, стр. 194—205. Основными из факторов, определяющих степень сонорности звуков, являются степень участия голоса и объем и открытость резонансной полости. В поисках фонетической мотивации как общих закономерностей, так и устанавливаемых в отдельных языках фонологических правил лингвисты все чаще обращаются к сонорному принципу построения слога; см. например: G. Drahm a n, On the notion «phonological hierarchy», «Phonologica. 1976», Innsbruck, 1977.

¹⁰ Гомогенные структуры — структуры с нулевым соотношением по признаку места артикуляции — в этой работе не рассматриваются.

¹¹ Смычные более заднего образования как более открытые, с большим объемом резонансной полости, являются более сонорными, чем передние. Поэтому в децессивных структурах сонорность растет по признаку места артикуляции к концу корня, а в акцессивных — уменьшается.

На основе этих параметров результаты изучения гетерогенных корней в общекартвельском можно представить в следующей таблице:

Ларингальная артикуляция		Место артикуляции	
		Восходящая сонорность Децессивные структуры	Нисходящая сонорность. Акцессивные структуры
Нисходящая сонорность	Звонкий — глоттализированный	19 ($B - K$)*	
	Звонкий — аспирированный	10 ($B - K$)	
	Аспирированный — глоттализированный	4 ($P - K$)	
Восходящая сонорность	Глоттализированный — звонкий		31 ($K - B$)
	Аспирированный — звонкий		15 ($K - B$)
	Глоттализированный — аспирированный		15 ($K - P$)

* В обозначениях типа структур $B - K$, $B - K$, $P - K$, $K - B$, $K - B$, $K - P$ указывается на ларингальную артикуляцию начального и конечного смычного и на децессивность или акцессивность последовательности. Каждый из этих типов в общекартвельском реализован в виде некоторого числа структур. Тип $B - K$ включает структуры: $b - tk$, $b - tq$, $b - c$, $b - ck$, $b - cq$, $b - \check{c}$, $b - k$, $b - q$, $d - k$, $d - q$; тип $B - K$ — структуры: $b - tk$, $b - c$, $b - cx$, $b - \check{q}$, $d - tx$, $d - q$, $\check{z}_1 - cx$, $\check{z}_1 - q$; тип $R - K$ — структуры: $p - t$, $p - c$, $c - k$; тип $K - B$ — структуры: $t - b$, $t - d$, $tk - b$, $tq - b$, $c - d$, $c_1 - d$, $\check{c} - d$, $q - b$, $q - d$, $q - \check{z}_1$; тип $K - B$ — структуры: $t - b$, $c_1 - d$, $c - d$, $k - b$, $k - d$, $q - d$; тип $K - P$ структуры: $t - b$, $c - p$, $c_1 - p$, $c_1 - t$, $c_1q - t$, $k - t$, $k - tx$, $k - c_1$, $k - cx$, $k - cx$.

Из таблицы видно, что структуры типа звонкий — глоттализированный, звонкий — аспирированный, аспирированный — глоттализированный являются децессивными, а структуры типа глоттализированный — звонкий, аспирированный — звонкий, глоттализированный — аспирированный акцессивными. Имеет место как бы тенденция равновесия по степени сонорности начального и конечного смычного: если конечный смычный является более сонорным по сравнению с начальным по признаку ларингальной артикуляции, то последовательность этих смычных акцессивная, т. е. сонорность уменьшается по признаку места артикуляции, и, наоборот, если конечный смычный менее сонорен по признаку ларингальной артикуляции, то последовательность является децессивной, т. е. сонорность увеличивается к концу по признаку места артикуляции.

Запрещены такие дистанционные соединения смычных в корне, когда сонорность к концу растет или уменьшается по обоим параметрам сразу. Имеются последовательности типа $B - K$, $B - K$, $P - K$ и $K - B$, $K - B$, $K - P$, и нет последовательностей типа $P - G$, $P - G$, $P - K$ (в которых сонорность растет к концу корня по обоим параметрам) и $G - P$, $G - P$, $K - P$ (сонорность уменьшается к концу по обоим параметрам)¹². Итак, в корнях этого типа наблюдается некая дополнительность в распределении смычных и симметричность структур: после-

¹² Единственное исключение из этого правила составляет корень со значением «мышь». Г. А. Климов, Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани реконструируют его в виде $*(s_1)tagw-$, К. Х. Шмидт — в виде $*tagw-$. Сонорность в этой морфеме к концу нарастает по обоим параметрам. Ниже «правило равновесия» мы выведем из тенденции слога к более открытому и сонорному концу по отношению к началу. Поэтому рост сонорности к концу корня по обоим признакам не противоречит общему принципу, определяющему структуру картвельского корня.

довательности $B - K$ и $K - B$, $B - K$ и $K - B$, $P - K$ и $K - P$, а также и недопустимые структуры являются зеркальными отражениями друг друга¹³. При этом наиболее маркированными оказываются фонемы /g/ и /p/, запрещенные в структурах этого типа.

Выявленное взаимоотношение начальных и конечных смычных мы обозначили как «правило равновесия по степени сонорности», однако надо учесть, что фактически абсолютного равновесия достичь не удастся, этому мешает различие признаков ларингальной артикуляции и места артикуляции в плане соноризации звуков: звонкость в большей степени способствует сонорности звука, чем задняя артикуляция; при этом признаки ларингальной артикуляции обуславливают большую разницу по степени сонорности, чем признаки места артикуляции. Поэтому в структурах типа $K - B$, $K - B$, $K - P$ имеет место фактическое увеличение сонорности к концу корня, а в структурах типа $B - K$, $B - K$, $P - K$ сонорность к концу уменьшается. Следовательно, речь может идти только лишь о тенденции, характер реализации которой определяется свойствами признаков, посредством которых она реализуется.

Как объяснить правило равновесия по степени сонорности начального и конечного смычного корня, определяющее структуру гетерогенных и гетерогенных корней в общекартвельском? Как известно, общая тенденция строения слога состоит в большей открытости и сонорности конца слога по сравнению с началом. Об этом свидетельствует универсальность структуры слога CV и ограниченность слогового типа CVC . Этот последний засвидетельствован не во всех языках, а в тех языках, где он имеется, доминантной из входящих в него структур является структура с конечным сонорным согласным¹⁴. Этой закономерности соответствует основная структура корня как в общекартвельском, так и в общеиндоевропейском: закрытый слог с конечным сонорным звуком. Этому соответствует и то, что структуры типа $K - B$, $K - B$, $K - P$ (с действительным увеличением сонорности к концу корня) более многочисленны в общекартвельском (64), чем структуры типа $B - K$, $B - K$, $P - K$ (33). Мы предполагаем, что «правило равновесия по степени сонорности» в общекартвельском сложилось в результате взаимодействия нескольких закономерностей. Этими закономерностями нам представляются: а) тенденция к большей сонорности и открытости конца слога по сравнению с началом, б) тенденция к контрастному соединению смычных в корне¹⁵ и в) различ-

¹³ К аналогичным результатам пришел Х. Фебрих при анализе общекартвельских корней (см.: H. F ä h n r i c h. Zur Struktur der Wurzelmorpheme vom Typ CVC in der frühgemeinkartvelischen Grundsprache, ZfSK, 1975, 1, 28). Наше исследование отличается от проведенного Х. Фебрихом а) расширением объекта: учитываются начальные и конечные комплексы согласных в корнях типа CVC и б) представлением статистических характеристик типов структур, что позволяет увидеть их относительную значимость в общекартвельском, а также интерпретацией полученных результатов.

Современный грузинский язык не сохраняет этих общекартвельских правил распределений. Как показывает исследование И. Кобалава, в грузинском из перечисленных правил действует только следующее: структуры типа глоттализованный — звонкий могут быть только акцессивными (см.: И. Д. К о б а л а в а, К фонематической структуре корней типа CVC в грузинском языке, сб. Вопросы современного общего и математического языкознания, II, Тбилиси, 1967, стр. 191 (на груз. яз.)).

¹⁴ Об асимметричном строении слога см., например: Е. К у р л о в и ч. Вопросы теории слога, в его кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 269.

¹⁵ Из закономерностей, определяющих структуру слога и корневых морфем, чаще всего обращают внимание на тенденцию к диссоциативным соединениям, которая, по-видимому, имеет универсальный характер. См. например: W. F. T w a d e l l, Combinations of consonants in stressed syllables in German, AL, 1939, 1; 1941, 2; V. К р у р а, Dissociations of like consonants, «Asian and African Studies», 1967, 3; е г о ж е, The

ные функциональные возможности отдельных смычных фонем¹⁶, посредством которых строится корневая морфема.

Взаимодействие этих закономерностей осуществляется следующим образом: на общие тенденции построения структуры корня модифицирующие действуют свойства смычных фонем, посредством которых они реализуются. Тенденция к контрастности соединения ограничивает в корнях, составленных из смычных, функционирование фонем дентального ряда. Из фонем лабиального и веларного рядов, обеспечивающих максимальное расстояние в соединении, универсально наибольшей функциональной свободой обладают в классе звонких /b/, а в классе глухих /k/ и /k̥/ (см. выше). Глоттализированный /k̥/ создает более контрастные соединения со звонкими фонемами, чем аспирированный /k̰/. Соответственно, в аналауте корней, составленных из смычных, самую высокую частотность имеют фонемы /b/ и /k̥/. Приведем частотности начальных смычных в корнях этого типа:

b	32	p	7	p̰	—
d	8	t	2	t̰	5
z	—	c	2	c̰	4
z̰	3	c̰	3	c̰̰	8
z̰̰	—	ç	3	ç̰	2
g	3	k	9	k̰	25
		q	4	q̰	5

Как видим, на фонемы /b/ и /k̥/ приходится 46% всего числа начальных фонем. Остальные 15 смычных имеют гораздо меньшую частотность в этой позиции. Функционально наиболее ограниченные (маркированные) смычные /p/ и /g/ имеют очень низкую частотность: /p/ в начале корней этого типа вообще не встречается, а с начальным /g/ имеется всего три гомогенных корней. Конечный смычный подбирается к начальному таким образом, чтобы сонорность к концу была по возможности большей, а соединение — контрастным. Подбор конечного согласного к начальному /b/ дает глухие задние согласные в исходе корня. Самым предпочтительным является глоттализированная фонема /k̥/. Звонкий исход в корнях с начальным /b/ дает гомогенные корни, в которых сонорность к концу растет по обоим признакам. А подбор конечного согласного к начальному /k̥/ с учетом этих условий дает звонкие и аспирированные передние фонемы.

Действие тенденции к контрастности соединения проявляется и в том, что в общекартвельском а) число гетерогенных корней втрое больше числа гомогенных корней (94 : 32) и б) более контрастные соединения (например, звонких и глоттализированных фонем) имеют большую частотность (50), чем менее контрастные соединения (звонких и аспирированных — 25, аспирированных и глоттализированных — 19).

Думаем, что в пользу такой динамичной интерпретации «правила равновесия» свидетельствует и то, что это правило определяет и структуру древних картвельских глагольных основ с аблаутным чередованием гласных, большое число которых возводится к общекартвельскому уровню: в структурах, в которых корень начинается с глоттализированного или аспирированного смычного, суффикс (он имеет структуру -VC) оканчивается на звонкий, а последовательность всегда имеет акцессивный характер; акцессивна последовательность и в тех основах, в которых корень начинается с глоттализированного смычного, а суффикс кончается на аспирирован-

phonotactic structure of morph in Polynesian languages, «Language», 47, 3, 1971; J. H. Greenberg, The patterning of root morphemes in Semitic, «Word», 1950, 6.

¹⁶ См. об этом: И. Г. Меликишвили, указ. соч.

ный¹⁷. И наоборот, последовательность является депессивной, когда глагольный корень начинается со звонкого смычного, а суффикс кончается глоттализированным или аспирированным смычным¹⁸. Выбор формы древнейших суффиксов (они засвидетельствованы в виде: *-eb, *-ed, *-et, *-ec, *-eç, *-ec₁, *-eç₁, *-ek, *-ek₁), по-видимому, определяется местом артикуляции и ларингальной артикуляцией начального согласного глагольного корня.

Полученные результаты сопоставимы с правилами распределения согласных в общиндоевропейских корнях. С точки зрения взаимоотношения признаков места артикуляции и ларингальной артикуляции начальных и конечных смычных общиндоевропейские корни исследованы В. Магнуссоном. В. Магнуссон обратил внимание на дополнительную дистрибуцию согласных в общиндоевропейских корнях, составленных из смычных. Как было показано выше, дополнительная дистрибуция смычных имеет место и в обшкартвельских корнях. Однако правило распределения смычных в корне, полученное В. Магнуссоном, чрезвычайно трудно интерпретировать фонетико-фонологически. В. Магнуссон устанавливает ряд согласных: лабиовелярный — дентальный — палатальный — лабиальный и отмечает, что в индоевропейских корнях допустимы лишь такие сочетания взрывных, в которых согласный, находящийся левее в данной формуле, является звонким непридыхательным¹⁹.

Мы думаем, что интерпретация индоевропейских звонких в качестве глоттализированных дает возможность подвести адекватную фонетическую базу под правило Магнуссона, и положение о дополнительной дистрибуции смычных вывести из принципа сонорного строения слога, лежащего в основе структуры корневой морфемы.

В. Магнуссон делит индоевропейские корневые структуры на две группы: 1) структуры, в которых принимает участие лабиальная согласная — они образуют наиболее последовательную систему и 2) структуры без лабиальной согласной — которые несколько труднее поддаются систематизации. Представим первую группу структур в традиционном обозначении (а) и в новой интерпретации — заменив простые звонкие глоттализированными (b)²⁰:

	a		b		
g	—	b ^h	K	—	b ^h
G	—	p	K	—	p
b ^h	—	G	b ^h	—	K
p	—	G	p	—	K

Возможности фонетической интерпретации первой системы мы не видим, вторую же можно интерпретировать как реализацию сонорного принципа строения корня: если начальный согласный более сонорен по месту артикуляции (последовательность акцессивна), то конечный соглас-

¹⁷ Основами этого типа являются: *tkeb-*, *tqeb-*, *ðxweb- kreb-*, *cməd-*, *cred-*, *cqwəd-*, *kmed-*, *qed...* Показательно, что в новогрузинском языке древние аблаутные глагольные основы, составленные из глоттализированных согласных, характеризуются акцессивной последовательностью начального и конечного смычного. Эти структуры сложились в результате ассимилятивного изменения типа глоттализированный — звонкий. Этот процесс прослеживается исторически: *tqeb* > *tqep*, *cred* > *cret*, *cqwəd* > *cqwet* и т. д.

¹⁸ Этот тип представлен следующими основами: *bret-/blet-*, *brec-*, *brec-*, *brek-*, *drek-*.

¹⁹ W. Magnusson, Complementary distributions among the root patterns of Proto-Indo-European, «Linguistics», 34, 1967, стр. 22.

²⁰ Общее обозначение пелабиальной звонкой (для нас глоттализированной) смычной знаком *D* у В. Магнуссона мы заменяем знаками *G* (*K*), так как дистрибуция велярных в индоевропейских корнях, составленных из смычных, менее ограничена, чем дистрибуция дентальных (см. ниже), и не вызывает поэтому неправильных представлений.

ный является более сонорным по ларингальной артикуляции — таковы первые две структуры: глоттализированный — звонкий и глоттализированный — аспирированный; если же конечный является более сонорным по месту артикуляции (последовательность децессивна), то начальный смычный является более сонорным по ларингальной артикуляции — такова вторая пара структур: звонкий — глоттализированный и аспирированный — глоттализированный.

Остальные структуры, как было сказано выше, образуют чрезвычайно непоследовательную группу. Однако ограничение структуры индоевропейского корня, выявленное Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ивановым: если в корневой структуре принимает участие дентальная согласная (т. е. состояние по месту артикуляции начального и конечного согласного не является максимальным), то допустима децессивная последовательность согласных и отсутствует акцессивная²¹, — исключает из этой группы акцессивные структуры $k - \dot{t} (d)$ и $\dot{g}^h - \dot{t} (d)$ — с уменьшением сонорности к концу корня по обоим признакам, противоречащие сонорному принципу строения корня. Из оставшихся децессивных структур одна пара построена в соответствии с правилом равновесия начальных и конечных смычных по сонорности: $t - k^w (g^w)$, $d^h - k^w (g^w)$, а в другой сонорность растет к концу корня как по месту артикуляции, так и по способу артикуляции: $\dot{t} (d) - \dot{g}^h$, $\dot{t} (d) - k$, что также соответствует общему принципу сонорного построения корневой морфемы.

Итак, принцип сонорного строения корня действует и в общеиндоевропейском. Типологическое различие между общеиндоевропейским и общекартвельским в этой области состоит в том, что в индоевропейском оказываются реализованными структуры с увеличением сонорности к концу корня по обоим признакам, тогда как в общекартвельском, не считая одного проблематичного исключения (см. выше), такие структуры остаются нереализованными.

И, наконец, по данным Г. Жюкуа, в начале корня в общеиндоевропейском также высока встречаемость звонкой лабиальной /b^h/ и глухой веллярной /k/, как и в общекартвельском. Как мы попытаемся показать выше, это соответствует немаркированному характеру этих фонем, конечный же согласный является как бы производным по отношению к начальному. Поэтому думаем, что нет нужды объяснять эту дистрибутивную черту индоевропейского корня на основе морфологии слова, выделяя начальные фонемы /b^h/ и /k/ в качестве преформантов, хотя вообще выделение преформантов в общеиндоевропейском и может быть обоснованным²².

Перейдем к рассмотрению гомогенных структур. В общекартвельском материале гомогенные корни распределяются следующим образом:

	Децессивная последовательность	Акцессивная последовательность
Звонкий — звонкий	14	4
Аспирированный — аспирированный	5	7
Глоттализированный — глоттализированный	—	2

Как видно из этих данных, наибольшее распространение из гомогенных структур имеет соединение звонких согласных (это соответствует немаркированному характеру звонких в общекартвельском), а наиболее огра-

²¹ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и сравнительно-типологический анализ праязыка и протокультуры (в печати).

²² Ср.: Л. Г. Герценберг, Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках, Л., 1972, стр. 141—145.

ническим является соединение глоттализированных согласных. Соединение звонких согласных в корне имеет преимущественно децессивный характер. Мы считаем это проявлением тенденции нарастания сонорности к концу корневой морфемы. Вызывает удивление преобладание акцессивных структур в соединениях глоттализированных и аспирированных согласных. Их противоречие с основной тенденцией построения общекартвельского корня ставит перед нами вопрос: Не являются ли акцессивные соединения этого типа результатом преобразования других типов структур? Не создается ли иллюзия их наличия в общекартвельском однотипными ассимилятивными изменениями во всех картвельских языках? Можно предположить, что они являются результатом ассимилятивных трансформаций структур типа аспирированный — звонкий, глоттализированный — звонкий, глоттализированный — аспирированный, акцессивный характер которых, как мы видели выше, соответствует «правилу равновесия по степени сонорности». Чрезвычайно малое число и однотипность соединений глоттализированных согласных с большим правом позволяет поставить этот вопрос по отношению к этому типу. Рассмотрим те два сопоставления, которые как будто позволяют реконструировать этот тип корневой морфемы на общекартвельском уровне: 1) **krt* — др.-груз. *krt-n* «щипать, выщипывать», *ni(s)-kart* «клюв» ~ мегр. *kirt-on*, *kərt-on* ~ чан. *kirt-on* «щипать» ~ сван. *ni-kraṭ*, *ni-kraṭ* «клюв»²³. Корень имеет звукоподражательный характер; 2) **kar* — груз. *ni-kar* «подбородок», *kar-uni* «стучать челюстями», *ru-kar* «баба-яга с огромной челюстью» ~ сван. *perka* (н.-балъск.), *nikra* (ушг.) «подбородок», *kar-räj* «подбородок»²⁴. В ушгульском диалекте сванского языка засвидетельствована форма с аспирированным лабиальным смычным. Не исключена возможность этимологической связи со словом *ḡba* «челюсть»²⁵. Следовательно, в отношении этого корня происхождение структуры типа глоттализированный — глоттализированный из структуры типа глоттализированный — аспирированный или глоттализированный — звонкий можно проследить на фактическом материале. Мы считаем возможным предположить, что дистантное соединение двух глоттализированных смычных в общекартвельском корне было недопустимым. Это ограничение продолжает действовать в исторических картвельских языках: в сванском²⁶ и древнегрузинском. Анализ древнегрузинского материала показывает, что в корнях с децессивной последовательностью начального и конечного смычного недопустима глоттализированная артикуляция обоих смычных, однако имеется несколько корней с акцессивным порядком глоттализированных согласных. Эти формы, как и рассмотренные выше две морфемы, считаем полученными в результате ассимилятивного преобразования структур типа глоттализированный — звонкий, характеризующихся акцессивной последовательностью. Это же правило действует и в структуре древнегрузинских форм с интерконсонантным /r/ типа *brk-*, *drk-* и т. д., отражающих общекартвельские слоговые сонанты. Диссимилятив-

²³ ЭСКЯ, стр. 116, 148. Грузинские и мегрельские основы сопоставлены Г. Фотом, грузинские и сванские формы увязаны О. Уордропом.

²⁴ А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942, стр. 177—178 (на груз. яз.); ЭСКЯ, стр. 148; «Studien», стр. 128; Л. Ш. Гелендзе, Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков, Тбилиси, 1974, стр. 57—59 (на груз. яз.).

²⁵ А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 178. Грузинские слова: *rukar-i* «баба-яга с огромной челюстью», *kar-uni* «стучать челюстями», свидетельствуют в пользу семантической связи «челюсти» и «подбородка»; см. также: «Studien», стр. 128, 140.

²⁶ Г. С. Ахвледиани, К вопросу о диссимилятивном озвончении смычных, «Основы общей фонетики», Тбилиси, 1949, стр. 378—388 (на груз. яз.).

ное ограничение сочетаемости глоттализированных имеет многочисленные типологические параллели²⁷.

В структуре индоевропейского корня находит параллель и это правило построения общекартвельского корня. Если традиционные общиндоевропейские звонкие интерпретировать в качестве глоттализированных, то правило А. Мейе «нет корней, которые бы начинались и оканчивались на смычную звонкую не придыхательную»²⁸ обозначает ограничение сочетаемости глоттализированных согласных²⁹. Поскольку признак звонкости имеет тенденцию к ассоциативным соединениям, а признак глоттализации — наоборот, к диссоциативным, предположение о недопустимости соединения глоттализированных согласных в структуре общиндоевропейского корня гораздо более приемлемо с точки зрения типологии и объяснимости на основе фонологической теории, чем предположение о диссоциативном ограничении соединения звонких согласных.

Распределение сонорных фонем в корне также регулируется однотипными правилами в общекартвельском и общиндоевропейском. Чем более сонорен звук, тем выше вероятность его функционирования в интерконсонантной позиции в качестве слоговой вершины и в ауслaute, также имеющем склонность к высокой сонорности, и тем меньше вероятность его появления в анлауте — в наименее сонорной, наиболее консонантной позиции слога и корневой морфемы. По степени сонорности сонанты образуют следующий ряд: $r - l - n - m$ ³⁰. В общекартвельском частота появления сонантов в интерконсонантной, слоговой позиции корня соответствует именно этому ряду: $r - 31, l - 2, n - 2, m - 0$ ³¹. И в ауслaute распределение сонантов соответствует сонорному ряду: в общекартвельском $r - 79, l - 65, n - 45, m - 29$; в общиндоевропейском: $r - 394, l - 258, n - 154, m - 62$. Как и следовало ожидать, особую способность функционирования в качестве слоговой вершины и в ауслaute проявляет самый сонорный звук из согласных — фонема /r/. В начале же корня появление /r/ ограничено как в общекартвельском, так и в общиндоевропейском³². Остальные сонанты также распределяются в обратном по отношению к сонорности порядке (с маленьким отклонением — перемещением мест l и n): в общекартвельском $m - 11, l - 9, n - 8$; в общиндоевропейском $m - 135, l - 103, n - 54$. Как в общекартвельском, так и в общиндоевропейском такое распределение выводимо из общего принципа построения корневой морфемы в этих системах, поэтому нет надобности приписывать отсутствие начального /r/ в древних индоевропейских языках субстратному влиянию.

Появление корней с начальным /r/ в индоевропейских диалектах, по мнению В. Лемана, является результатом утери начальных ларингальных и /w/. В современном грузинском языке свободная дистрибуция /r/ в начале слова объясняется сложившимся в нем богатым анлаутным консонан-

²⁷ См. об этом: Дж. Г р и н б е р г, Некоторые обобщения, касающиеся возможных начальных и конечных последовательностей согласных, ВЯ, 1964, 4, стр. 57—58.

²⁸ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М., 1938, стр. 191.

²⁹ См. об этом также: Т. G a m k r e l i d z e, V. I v a n o v, указ. соч., стр. 153.

³⁰ О. J e s p e r s e n, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig, 1913.

³¹ К сожалению, у Г. Жюкуа нет данных относительно частотности сонантов в этой позиции.

³² Об общекартвельском начальном /r/ см.: А. С. Ч и к о б а в а, Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик, ИКЯ, II, 1948, стр. 266. Об общиндоевропейском см.: J. K u r y l o w i c z, Origine indoeuropéenne du redoublement attique, Eos, 1927, 30, стр. 209; E. B e n v e n i s t e, Repartition des consonnes et phonologie du mot, TCLP, 1939, 8, стр. 27—35; W. P. L e h m a n n, The distribution of Proto-Indo-European /r/, «Language», 27, 1, 1951, стр. 13—17.

тизмом. Тут начальный /r/ приобретает функцию протетического гласного. Кроме того, в грузинском, как и в мегрело-чанском, по отношению к общекартвельскому меняется доминантная структура слога: слог становится открытым. Ограничение начального /r/ в слогах типа CV- является менее строгим, чем в слогах типа CVC, так как тут исход не может оказаться менее сонорным, чем начало.

В «Этимологическом словаре картвельских языков» представлен ряд реконструированных для общекартвельского форм с начальным /r/, однако обращает на себя внимание тот факт, что почти во всех этих формах /r/ находится в позиции перед переднеязычными взрывными или аффрикатами: *rc₁-/rec₁- «стлать», *rtx-/ratx- «вытягивать», *rcx-/racx- «считать», *rc₁x-/rec₁x- «стирать», *rtw- «покрывать», *rč- «слушаться». Позиция перед переднеязычными является позицией перехода $s > r$ и наращение r в исторических картвельских языках³³. В этой позиции в общекартвельском материале мы почти не находим переднеязычных сибилантных спирантов, а где они есть, происходит переход в сонорные фонемы в исторических картвельских языках. Поэтому думаем, что большая часть форм с начальным /r/ сложилась в поздний общекартвельский период или позднее общекартвельского периода в отдельных языках.

Итак, наше исследование можно подытожить следующим образом: наиболее общая закономерность, определяющая структуру корня как в общекартвельском, так и в общеиндоевропейском, выводима из сонорной теории построения слога. Она регулирует распределение как смычных, так и сонорных фонем; как в гетерогенных, так и в гомогенных структурах. В корнях, составленных из гетерогенных смычных, в результате взаимодействия нескольких универсальных закономерностей: а) тенденции к большей сонорности ауслата, б) тенденции к контрастным соединениям звуков в морфеме и в) общей функциональной иерархии смычных фонем, которая также соотносима с акустическими свойствами, определяющими громкость и различимость (resp. сонорность) отдельных звуков³⁴, складывается правило «равновесия начального и конечного смычного по степени сонорности», действующее как в общекартвельском, так и в общеиндоевропейском³⁵.

³³ Интересно, что в ряде глагольных форм В. Топуриа выделяет начальный /r/ из основы именно в этих позициях: *a-r-cxwens* «стыдит» (на основе сравнения с *cxwir-i* «нос»), *h-r-cam-s* «верует» (на основе сравнения с *cam-eb-a* «свидетельствовать»), *r-cqaw-s* «поливает» (на основе сравнения с *cgali* «вода»). См.: В. Т. Топуриа, Из словообразования картвельских языков, в кн.: В. Т. Топуриа, Труды, III, Тбилиси, 1979, стр. 79 (на груз. яз.).

Переход $s > r$ перед переднеязычными и аффрикатами в древнегрузинском является исторически засвидетельствованным фактом; ср.: *stwel-i > rtwel-i*, *staw-s > rtaw-s*, *sze > rze*, *sžul-i > ržul-i* и т. д.

³⁴ См. об этом: И. Г. Меликишвили, указ. соч., стр. 103—104.

³⁵ То обстоятельство, что как в индоевропейском, так и в общекартвельском дистанционные и контактные соединения часто строятся одинаково, обусловлено тем, что одни и те же закономерности определяют структуру соединений обоих типов. Так, например, как весь слог, так и слоговой ауслат строятся по принципу увеличения сонорности, признак глотализации имеет тенденцию к диссимилятивному соединению как дистантно, так и контактно... и т. д. Поэтому не обязательно однотипность дистантных и контактных структур объяснять посредством таких динамических преобразований, как выпадение гласных и т. п.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЗОЛотова Г. А.

О «СИНТАКСИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА»

В Институте русского языка АН СССР ведется работа по составлению «Синтаксического словаря русского языка». Настоящая статья информирует читателей об этой работе.

Само сочетание понятий «синтаксис» и «словарь» может восприниматься как непривычное. Но в отечественной лингвистической традиции издавна грамматика и лексика, синтаксис и семантика рассматривались не только в их противопоставленности как разные области языкознания, но и в их глубоком взаимодействии в строе языка. Из этого и исходит авторский коллектив.

З а д а ч а С л о в а р я — научная систематизация минимальных синтаксических элементов русского языка — синтаксем — в их строительных синтаксических потенциях, на функциональной основе¹.

Существующие словари, толковые или специальные практического назначения справочники сочетаемости, в большинстве своем исходят из имплицитного или эксплицитированного понятия глагольного управления (глагольной валентности), строятся по алфавитному лексикографическому принципу (от управляющего слова) и с большей или меньшей полнотой раскрывают возможности того или иного глагола быть распространенным теми или иными предложно-падежными формами имени. Полезность подобных словарей, в которых реализуется лексикографический опыт лингвистики, несомненна, однако в них не получает достаточного отражения собственно синтаксический аспект отношений между сочетающимися элементами, остаются невыявленными синтаксические потенции, которыми располагают эти элементы. Словари, которые строятся не от глагола, а от предлога², ближе к нашему по расположению материала, однако характеризуют предложно-падежные формы имени лишь с точки зрения их семантики, но не синтаксического употребления.

Для многих семантических исследований последнего времени, отечественных и зарубежных, для работ в области так называемой падежной грамматики характерно отсутствие интереса к собственно синтаксическим, конструктивным свойствам и возможностям падежных форм имени. Между тем в силу богатства и разнообразия падежных и предложно-падежных форм при разнородности их функций для русской грамматики синтаксический аспект проблемы приобретает особую актуальность.

Сочетаемость рассматривается в Словаре не как лексическая, а как грамматическая проблема, поэтому ставится задача решать ее не индивидуально для каждого слова, а выявить и обобщить семантико-грамматические закономерности сочетаемости. Пробле-

¹ Функциональность понимается в том смысле, как она разработана в книге: Г. А. Золотова, *Очерк функционального синтаксиса русского языка*, М., 1973.

² См., например: К. Бабов, *Руските предлози*, София, 1968.

ма сочетаемости не сводима к присловному «управлению», в научной классификации должны быть представлены все синтаксические функции синтаксических форм основных семантико-грамматических категорий слов, то есть их реальная конструктивная роль в словосочетании и предложении.

За единицу описания принимается синтаксическая форма слова, или синтаксема. Синтаксемой называем минимальную, далее не делимую семантико-синтаксическую единицу русского языка, выступающую одновременно как посетитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений, характеризующую, следовательно, определенным набором синтаксических функций³.

Синтаксема выделяется на основе комплекса признаков. Дифференцирующими признаками синтаксемы являются 1) ее морфологический облик (для имени — падеж вместе с предлогом), 2) категориально-семантическое значение и 3) набор синтаксических функций.

Ввиду того, что характер синтаксических связей в большой степени детерминирован характером внеязыковых связей между явлениями, понятие синтаксемы необходимо включает категориально-семантический признак: принадлежность слова к семантико-грамматическим подклассам предметности/отвлеченности, личности/неличности, действия/недействия, состояния, качества, количества и т. п.; при этом объем семантической категории и уровень семантической абстракции для разных типов синтаксем различны. Так, например, позиция объектной синтаксемы при переходном глаголе открыта для разных семантических категорий имен: предметных, личных, отвлеченных, выбор регулируется смыслом (*люблю лес, лесника, математику, капусту; рублю лес, капусту*, но не *математику* и т. п.); но синтаксема со значением адресата организуется именами лиц (одушевленных предметов): *письмо сестре, рассказываю сестре, бригаде* (как совокупности лиц), но не *капусте*, не *математике*. Примеры типа *говорю лесу, морю, шкафу* интерпретируются как категориально-семантическая транспозиция, создающая эффект окказиональности или метафоричности.

Степень смысловой и конструктивной самостоятельности у разных типов синтаксем различна, но взаимно пропорциональна: синтаксем с более самостоятельным значением располагают большими конструктивными потенциями, синтаксем с менее самостоятельным значением ограничены в конструктивных возможностях.

Так, например, локативные синтаксем обладают самостоятельным номинативным значением, дающим им возможность функционировать а) как заголовком, своеобразное номинативное предложение, и вне предложения или словосочетания («В лесу» — название стихотворений В. Брюсова, Б. Пастернака), б) как распространитель другого слова, образующий словосочетание или аналог словосочетания («Жил в лесу, как во сне» (А. Блок,

³ Термин «синтаксема» принимается взамен прежнего «синтаксическая форма слова», не удовлетворяющего своей громоздкостью и неоднозначностью слова «форма». Термин встречается в работах советских японистов (А. А. Пашковский, И. В. Головин, И. Ф. Вардуль) для обозначения первичной синтаксической единицы японского языка, не совпадающей по своей природе с первичными единицами русского синтаксиса; в работе англичанов (А. М. Мухин и его ученики) синтаксемой называется единица обобщенного смыслового значения, независимо от ее формы (ср. «семантема» у В. В. Богданова и др.). Термин «синтаксема» использовался в работах болгарских русистов. Немаловажное преимущество термина «синтаксема» — в его системном характере (ср. «эмический» ряд структурных единиц разных уровней языка: «фонема», «морфема», «граммема» и др.), хотя вопрос о степени абстракции от конкретного материала, по-видимому, должен решаться по-разному для разных уровней.

Сольвейг); «Родился зайчик *в лесу* и всего боялся...» (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Сказка про храброго зайца); в) как не зависимый от другого слова компонент предложения, в составе предикативного минимума или в качестве его распространителя. [«Не *в лесу* мы, довольно аукать» (А. Ахматова)]; «*В лесу* не молкнет птичий гам» (Ф. И. Тютчев, Весенняя гроза).

В противоположность локативным синтаксемам синтаксема объектные реализуют свое значение только в условиях глагольного словосочетания (либо девербиально-именного) и вне связи со своим глаголом (либо девербативом) синтаксически не функционируют, поскольку само понятие объекта действия возникает лишь при приложении действия к предмету,— ср.: «Ветер по морю гуляет и *кораблик* подгоняет» (А. Пушкин, Сказка о царе Салтане).

Исходя из понимания синтаксической функции как отношения синтаксической единицы к коммуникативной единице, считаем релевантным для характеристики синтаксической единицы разграничение и противопоставление трех основных возможностей: I — самостоятельное употребление единицы; II — употребление единицы в качестве компонента предложения; III — присловное употребление единицы, в качестве компонента словосочетания (или аналога словосочетания).

Сумма возможностей составляет основание для функциональной типологии синтаксем: 1) синтаксема, располагающие конструктивными возможностями выступать в функциях I, II, III, отнесены к типу *с в о б о д н ы х*; 2) синтаксема, выступающие в функциях II и III, отнесены к типу *о б у с л о в л е н н ы х*; 3) синтаксема, способные выступать лишь в функции III, отнесены к *с в я з а н н ы м*.

Единая типология синтаксических функций создает, таким образом, необходимый уровень грамматического обобщения в словарной систематизации синтаксем и определяет, вместе с тем, структуру словарной статьи, в которой общее понятие функции детализируется более конкретным понятием *п о з и ц и и*. В функции II различаются: а) позиция предиктируемого компонента предложения; б) позиция предиктирующего компонента предложения; в) позиция распространителя предложения (ситуанта). В функции III различаются: а) приглагольная позиция, б) применная позиция, в) приаждективная и приадевербиальная позиции.

Термины «функция» и «позиция», следовательно, обозначают понятия более общей и более конкретной ступени абстракции: тот или иной тип функции как потенцию каждая синтаксема реализует в определенной синтаксической позиции, в той или иной модели предложения или словосочетания. Разграничение и синтезирование в понятии синтаксема *ф у н к ц и й*, *п о з и ц и й* и *с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и х з н а ч е н и й* преследует цель преодолеть смешение смыслового и позиционного критериев в традиционном учении о членах предложения и в вопросе о детерминантах в Гр. 70.

Три типа основных синтаксических функций дополняются функцией IV, к которой отнесено употребление синтаксем с двойной функциональной нагрузкой в полипредикативных и других осложненных предложениях (например, форма винительного падежа в предложении «Я пригласил своего *спутника* выпить стакан чая» (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) одновременно выполняет роль объекта действия, названного личным глаголом, и потенциального субъекта действия, названного инфинитивом, что усложняет ее синтаксический статус по сравнению с функциями II и III). Рубрика функции IV условно объединяет пока весьма разнообразные способы полипредикативизации простого предложения, которые по ходу работы будут, по-видимому, дифференцироваться.

Функции и позиции каждой синтаксемы абстрагируются от множества наблюдаемых употреблений конкретных словоформ тех или иных категориально-семантических подклассов в русской и советской художественной литературе, в научных, газетно-публицистических текстах, в записях устно-разговорной речи (в пределах литературной нормы) и — соответственно — иллюстрируются в словарных статьях примерами из материалов картотеки Словаря. Очевидно, что термин «синтаксема» употребляется и применительно к типу, и применительно к манифестирующей его конкретной словоформе. По мере надобности те или иные синтаксемы снабжаются стилистическими пометами.

Общая композиция словаря представляется следующей:

1. Теоретическое введение: изложение основ сочетаемости синтаксем русского языка, понятий синтаксемы, синтаксической функции, позиции, типов связи слов в словосочетании и предложении, типологии синтаксических функций и др.

II. Словарная часть:

1) Именные синтаксемы (падежные и предложно-падежные формы). Статьи — в порядке падежей:

падежная форма а) без предлога,

падежная форма б) с предлогами, в алфавитном порядке.

В каждой статье — описание функций по типам, с показателями семантико-грамматической категории имен, образующих данную синтаксему (предметные, личные, одушевленные, отвлеченные, отглагольные, отадъективные и т. д.), с иллюстративным материалом.

2) Глагольные синтаксемы (с соответствующими индексами, указывающими на сочетаемость с именными).

3) Адъективные синтаксемы.

Назначение Словаря может быть оценено и с теоретической, и с учебно-практической точек зрения.

Теоретически Словарь представляет интерес и в описательном, таксономическом смысле как впервые предпринимающаяся попытка дать список синтаксем русского языка и полное обследование их сочетаемости. Задача эта формулировалась многими учеными. Акад. В. В. Виноградов писал: «Изучение функций форм слов и законов их употребления, установление правил их использования как для образования словосочетаний, так и в структуре разных типов предложения — очень важный и еще недостаточно исследованный круг вопросов русского синтаксиса»⁴. Словарь покажет и компоненты, из которых строятся все синтаксические конструкции русского языка, и все модели предложений и словосочетаний, из компонентов построенные. Поскольку компоненты рассматриваются в единстве их формы и значения, Словарь представляет перечень единиц — носителей элементарных смыслов, из которых путем «сложения смыслов» (Л. В. Щерба) выражаются новые смыслы, т. е. будет получена в словарных параметрах картина структурно-семантических типов простого предложения, в сущности всего синтаксического механизма, их организующего.

⁴ «Грамматика русского языка», II, 1, М., 1954, стр. 34. См. также: «Язык состоит из формальных элементов, соединяемых в переменные комбинации в соответствии с определенными принципами структуры... Язык всегда содержит лишь небольшое число основных элементов, но эти элементы, сами по себе немногочисленные, могут вступать в большое число комбинаций. Самые элементы обнаруживаются нами именно через эти комбинации» (Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 23); «...Для полноты описания языка... необходимо регистрировать все типы форм, которые могут использоваться в процессе коммуникации» (В. Н. Ярцева, Типология языков и проблема универсалий, ВЯ, 1976, 2, стр. 8).

Материал Словаря позволяет внести ясность в целый ряд нерешенных вопросов, связанных, во-первых, с проблемами семантико-грамматической структуры предложения, предикативного минимума предложения, «детерминантов», во-вторых, с проблемами синтаксических связей (понятия управления, примыкания, валентности, факультативности-обязательности связи, активности-пассивности синтаксического потенциала слова, релятивности-абсолютности значения слова), в-третьих, — с проблемами синтаксической синонимии, омонимии и полисемии.

Практическое назначение Словаря — быть нормативным семантико-грамматическим справочником для широкого читателя-филолога и нефилолога, а также источником обработанного материала для дальнейших исследований специалистов. Новым для учебно-педагогического использования, особенно для нерусских обучающихся, будет то, что функциональная классификация падежных и предложно-падежных форм имени, синтаксическое поведение которых не всегда, вопреки привычному взгляду, определяется глаголом, значительно облегчает синтаксическую характеристику глагола и других определяемых членов словосочетаний, позволит не описывать их в пословном порядке. Система помет при глаголах, указывающая на дифференциальные признаки, предопределяющие их сочетаемость, позволит намного сократить область так называемого глагольного управления, подлежащего запоминанию в процессе изучения языка. Словарь будет служить пособием и в рецептивной, опознавательной работе над языком, и в активном построении конструкций.

Поскольку ни совпадение лексем в одной словоформе, ни совпадение предложно-падежного оформления не являются достаточными признаками одной синтаксемы, процесс идентификации синтаксем предполагает следующие этапы.

1) Фиксируя (предложно-) падежную форму имени, определяем семантику словоформы как элемента смысла синтаксической конструкции в ряду подобных. Например, из сочетания *писать письмо отцу* (рассказывать сказку детям, показывать диалогитивы студентам, вернуть мясорубку соседке и т. п.) извлекаем формы имени в винительном со значением объекта действия и в дательном со значением адресата.

2) Выявляем, что дательный адресата располагает синтаксическими потенциями свободной формы:

Функция I. Употребляется в независимой позиции для адресации письма, документа, предмета передачи, для посвящения: «Тебе — но голос музы темной коснется ль уха твоего» (А. Пушкин, Посвящение к «Полтаве»), ср. заглавия стихотворений Пушкина «Чаадаеву», «Генералу Пушкину», «Прелестнице», «Домовому», «Гречанке» и др.).

Функция II. Употребляется в качестве предиктирующего компонента в моделях со значением адресации, назначения предмета: *Награда — победителю; Книги — целителям; Письмо — отцу.*

Функция III. Употребляется в качестве присловного распространителя при глаголах и именах соответствующей семантики (обращенного, направленного действия или предмета как результата такого действия): *Послал отцу письмо. Письмо отцу вернулось обратно.*

Винительный объекта, не располагая возможностью употребляться в функции I и II, употребляется только в функции III лишь при переходном глаголе, соответственно его синтаксическим функциям входя в предложение.

3) Те же слова, представляющие в данном случае категорию лица или, шире, одушевленного предмета, в том же дательном падеже могут употребляться с иной семантикой, например, в предложениях *Отцу нездоровится (Подруге весело; Старiku одиноко; Детям не спится; Студен-*

там не работается) дательный имеет значение (1) субъекта состояния; в предложениях *Отцу шестьдесят лет (Подруге за тридцать; Сыну год; Детям по 5—6 лет)* дательный имеет значение (2) субъекта-носителя признака (возрастного); в словосочетаниях *верить отцу, завидовать соседям* дательный выступает (3) с объектным значением. Существенно то, что ни одно из этих значений (1), (2), (3) не представляет форму дательного в независимой позиции, они возникают только в условиях определенных синтаксических конструкций: (1) и (2) в моделях предложений определенного состава и типового значения, что соответствует синтаксической функции II; (3) в моделях словосочетаний при определенных глаголах, что соответствует синтаксической функции III.

Из этого делаем вывод, что словоформы (1) и (2) представляют синтаксемы обусловленного типа, а словоформа (3) синтаксему связанного типа.

Таким образом, в пределах одной морфологической формы, в данном случае дательного беспредложного, обнаруживается ряд синтаксем, которые даже при наличии лексико-семантических совпадений различаются синтаксическими условиями употребления и семантико-синтаксическим значением, реализуемым (для синтаксем свободного функционального типа) или возникающим (для синтаксем обусловленного и связанного типов) в этих синтаксических условиях. При этом синтаксемы, находящиеся под одним (предложно-) падежным заголовком, проявляют разной степени близость и разного характера отношения между собой, для квалификации которых привлекаются лексикологические термины: омонимия, омоформия, полисемия. Синтаксемы, объединяемые общей (предложно-) падежной формой и лексическим тождеством, но различающиеся синтаксическими функциями, рассматриваются как омонимические.

Синтаксемы, объединенные общей (предложно-) падежной формой, но образуемые разными категориально-семантическими разрядами слов, рассматриваются как о м о ф о р м ы. Так, например, имена со значением предметно-пространственным в форме творительного падежа (*лесом, полем, тропинкой, морем, деревней...*) дадут свободную синтаксему пути движения; имена со значением отрезка времени — свободную темпоральную синтаксему (*утром, вечером, зимой; вечерами, месяцами, часами...*); имена со значением личным — обусловленную субъектную синтаксему (*договор подписывается министрами, вопрос решается специалистами; подписание договора министрами, решение вопроса специалистами...*); имена со значением конкретно-предметным — свободную синтаксему орудийную (*молотком, палкой, камнем, бревном...*) и т. д. Категориально-семантические противопоставления могут быть сняты лишь в более широком лексическом кругу имен, выступающих как связанная объектная синтаксема в приглагольной позиции (*горжусь, люблюсь лесом, утром, министром, молотком* и т. д.).

Как явления полисемии и могут рассматриваться случаи, когда синтаксемы совпадают в морфологических, категориально-семантических и функционально-семантических признаках, но тем не менее в пределах одного функционального типа образуют разновидности модели благодаря категориально-семантическим (и морфологическим) различиям в способах выражения второго, предикативно сопрягаемого компонента модели. Ср., например, разновидности модели с общим посессивным значением, в которых первый компонент, предципируемый, обозначает субъекта-посессора, а второй, предципирующий, имеет значение либо объекта владения (*У него овчарка*), либо состояния (*У него ревматизм*), либо характеристики субъекта (*У него заслуги*).

Как полисемичные могут рассматриваться и разновидности одной синтаксемы, совпадающие во всех признаках, но образуемые разными кате-

горизонтальными подклассами (ср., например, разновидности свободной локативной синтаксемы, образуемой именами предметно-пространственного значения: *жил у моря, у границы* и именами личными: *жил у пограничников, у сына...*).

Очевидно, что степени близости и расхождения между синтаксемами (и даже внутри одной синтаксемы) в пределах одной словарной статьи, организуемой под заглавием (предложно-) падежной формы, достаточно разнообразны, и сложное соотношение всех признаков, создающих понятие синтаксемы, должно определять композицию каждой словарной статьи.

Предполагается также отразить в Словаре явления синонимии и антонимии между синтаксемами.

Наблюдаемое, таким образом, в рамках одной (предложно-) падежной формы разнообразие значений и семантико-синтаксических условий их реализации подготавливает теоретические следствия, связанные с противопоставлением и взаимодействием лексики и грамматики, синтаксиса и морфологии, а также обращенные в область так называемой падежной грамматики или проблемы падежных значений. Уже данный этап работы показывает, что неправомерно говорить ни о едином падежном значении, ни о многозначности падежа применительно к категории имени существительного вообще. Разными падежными значениями располагают разные подклассы и разряды имен существительных, флексия творительного падежа *-ом (-ой)*, например, не сигнализирует значений ни объекта, ни субъекта, ни предиката, ни времени, ни орудия, ни пути движения: только определенные семантико-грамматические группы существительных предназначены выражать то или иное из этого ряда значений. Значения исходной точки движения, источника, материала, причины, приписываемые обычно форме «из + род. пад.», принадлежат также не морфологической форме слова и не вообще существительному в этой форме, а определенным категориям имени: причины — лексически ограниченной группе отвлеченных имен (*из любви, из ревности, из зависти, из вежливости...*), материала — группе вещественных имен (*из дерева, из глины, из серебра, из фарфора...*), исходной точки движения — главным образом именам предметно-пространственной семантики (*из города, из школы, из дома, из ящика...*) и т. д.

Еще на IV Московском съезде славистов, а еще ранее — в трудах Ф. де Соссюра, Ш. Балли — отмечалось, что проблема классификации падежей, количества падежей упирается в принципиальный вопрос о понятии тождества лингвистического факта. Функциональная дифференциация (предложно-) падежных форм имени свидетельствует о том, что лингвистический факт на уровне морфологии и на уровне синтаксиса не тождественны: понятия морфологической формы слова и синтаксической формы слова, или синтаксемы, формируются различным комплексом признаков.

Чтобы показать различия в лексикографическом и семантико-синтаксическом представлении предложно-падежной формы имени, сопоставим словоформу «в + вин. пад.» как синтаксическую единицу и как объект лексикографического описания, например, в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка».

1) В отличие от детализированного толкования в семнадцатитомном Словаре лексических значений, возникающих в сочетаниях предлога *в* с разными группами слов и отдельными словами в винительном падеже, — за основное синтаксическое свободное значение синтаксемы «в + вин. пад.» принимается обобщенное значение **о р и е н т и р а**, или **н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я** (директив).

2) Понятие синтаксической функции не позволяет объединять в одном пункте словоформы, различающиеся синтаксическим употреблением. Например, в пункте I 3 семнадцатитомного Словаря значение «вид деятельности или состояния, в который приходит, вступает кто, что» иллюстрируется сочетаниями с глаголами движения: *погружаться в работу, в занятия; приводить в движение; приходит в ужас, падать в обморок, бросать в жар, в холод*. С точки зрения функционально-синтаксической прежде всего отметим соотносительность соответствующих форм винительного падежа с формами предложного падежа, последние по отношению к формам винительного падежа рассматриваются как исходные, первичные [ср. (*быть*) *в движении, в ужасе, в обмороке, в жару*], поскольку они способны предикативно выражать состояние субъекта без глагола, приведенные же сочетания с глаголами служат для обозначения одного из фазисных этапов названного состояния, поэтому названные глаголы должны квалифицироваться не как глаголы движения, а как фазисные, вспомогательные глаголы, которые придают отвлеченным именам действия и состояния начальное значение. Далее обозначения действий и состояний дифференцируются по их разным отношениям к субъекту и объекту:

сочетания *погружаться в работу, в занятия* обозначают начальный этап действия субъекта, выражаемого личным именем в именительном падеже: *Он погружается в работу* ≈ *Он начинает работать*;

сочетание *приводить в движение* означает каузацию неким лицом или предметом начала движения другого предмета (объекта каузации и одновременно субъекта движения): *Механик приводит в движение машину или Мотор приводит в движение машину* ≈ *Машина начинает двигаться*;

сочетания *приходить в ужас, падать в обморок* означают фазисную реализацию состояния субъекта, выражаемого личным именем в именительном падеже: *Она приходит в ужас, упала в обморок*;

сочетания *бросать в жар, в холод* означают фазисную реализацию состояния субъекта, но выражаемого именем не в именительном, а в винительном падеже, с соответствующими различиями в спрягаемой форме глагола, ср.: *Она пришла в ужас, упала в обморок — Ее бросило в жар, в холод*.

С синтаксической точки зрения дифференцируются также словоформы, объединенные в пункте II 4 семнадцатитомного Словаря не вполне ясным значением «считать что во что, вменять что во что, быть кому во что и т. п.»: *Ему в диковинку, станешь в тягость себе, употреблять во зло; обнищать в конец; денег — в обрез*. Здесь должны быть разграничены словоформы приглагольной функции *употреблять во зло, обнищать в конец* (разные и семантически) и словоформы предикатной функции *в диковинку, в тягость, в обрез*, в свою очередь реализующиеся в разных синтаксических моделях.

3) Внимание к категориально-семантическому значению и грамматической форме слова в винительном падеже побуждает к некоторой перегруппировке материала между пунктами I 1 и I 2 в семнадцатитомном Словаре: сочетание *записан в полк* уходит из ряда *выдвигать в председатели, попал в кучера* и др. под. и соединяется с сочетаниями *поступлю в гимназию, определил в правление*. Кроме того, приведенные ряды синтаксически дифференцируются и по признаку «действие (предикативное состояние) субъекта» — «каузированное действием другого субъекта предикативное состояние объекта — субъекта»:

поступил в гимназию — определил (кого) в гимназию;
попал в швейцары — произвел (кого) в швейцары.

4) Семантико-синтаксический анализ позволяет увидеть в пунктах II 2 «единица измерения чего-либо» и II 3 «признак предмета» один и

тот же компонент со значением количественно измеряемого признака, то в атрибутивной, то в предикативной позиции, то в сопровождении параметрического компонента, то без него: *дом (высотой) в два этажа, груз (весом) в тонну, туча в полнеба* и т. п.

Указанные и некоторые другие критерии демонстрируют различия в лексикографическом и синтаксическом подходе к описанию (предложно-)падежной формы. Вместе с тем есть основания надеяться, что данные синтаксического анализа словоформ могут быть использованы и в лексикографической практике.

Приведем образцы двух словарных статей, за недостатком места — без иллюстративного материала, только со схематичными примерами. Способ организации материала — по функциональным типам синтаксиса (А, Б, В), внутри них — по основным синтаксическим функциям:

I — независимое от синтаксического окружения употребление (самостоятельное высказывание, заголовок);

II — употребление в роли компонента предложения;

III — употребление в роли компонента словосочетания (присловного распространителя).

К + Дат.

А. Свободные синтаксемы.

1) Директив (коррел.: дир. к + дат. к *дому* → лок. у + род. у *дома* → дир. от + род. от *дома*).

I. Конкретные существительные (направление и предел движения) — *К звездам. К реке*. Отвлеченные существительные (направление и цель движения) — *К победе*.

II. б) Предикат: *Эта дорога — к реке*.

III. а) Приглаг. *Дорога ведет к реке*.

б) Приимен. *Путь к дому был недалеким*.

2) Адресат (// синон. дат.)

I. Преимуществ. личные — *К Чаадаеву. К другу. К морю. К гражданам*.

II. б) Предикат: — *Это письмо — к Чаадаеву*.

III. а) В глагольном сочетании *обращаться, адресоваться к кому*.

3) Темпоратив

I. Временной предел, имена с временным значением: *К 1 мая. К осени. К утру*.

II. б) Предикат: *Исполнение — к 1 мая*.

в) Ситуант: *К 1 мая дом был готов*.

III. В аналогах словосочетаний: *Построенный к весне дом всех обрадовал*.

4) Дестинатив (назначение) (// для + род.)

I. *К празднику. К столу горожан. К сведению подписчиков*.

II. б) Предикат: *Эта брошка — к новому платью*.

в) Ситуант: *К приему все готово*.

III. а) Приглаг. (отвлеч. сущ.) *Готовиться к зачету, назначить к выписке, приговорить к штрафу, подписать к печати, представить к награде* (в деловой речи).

б) Приимен. *Вопросы к зачету, списки к награждению, печенье к чаю*.

5) Дополняемое частью целое

I. *К вопросу о надеждах. К итогам совещания*.

II. б) Предикат: *Статья — к вопросу о надеждах*.

III. а) В глагольных словосочетаниях: *прибавить, присоединить, добавить, что к чему*.

Б. Обусловленные

II. б) Предикат трехкомпонентных моделей (лексически ограниченного круга), оценивающий соответствие-несоответствие преддицируемого предмета какой-то норме: *Он здесь не ко двору. Шляпа ей к лицу. Это заявление было не к месту.*

III. в) В аналогах словосочетаний: *Шляпа не подходит к ее лицу. Подобрать шляпу к лицу.*

В. Связанные

III. а) С объектным значением — в глагольных словосочетаниях *относиться к кому (как), расположиться к кому.*

б) С объектным значением — в именных словосочетаниях при лексически ограниченной группе отвлеченных имен чувства-отношения: *любовь, ненависть, нежность, зависть, расположение к кому-чему.*

в) Отвлеченные имена со значением действия, занятия, состояния в сочетаниях с глаголами, отвлеченными именами и прилагательными модального значения: *Стремиться (стремление) к образованию, привыкнуть (привычка) к безделью, способности к музыке, склонный к фантазированию, воля к труду.*

ЗА + Твор.

А. Свободные синтаксемы

1) Л о к а т и в [корелл.: дир. за + вин. за дом; за домом // (синон.) позади + род. позади дома; X (антоним) перед + твор. перед домом].

I. *За городом. За рекой* (конкретно-пространственные имена).

II. а) Преддицируемый: *За рекой красиво. За городом — луга.*

б) Предикат: *Село — за рекой.*

в) Ситуант: *За рекой поют соловьи.*

III. а) В аналогах глаг. словосочет.: *Встретимся за городом.*

б) В аналогах имен. словосочет.: *В селе за рекою потух огонек.*

2) Т е м п о р а т и в

I. Время занятия каким-л. делом (отвлеченные имена либо эллиптически-конкретные): *За работой. За уроками. За книгой.*

II. б) Предикат: *Отец за работой, сын за книгой.*

в) Ситуант: *За обедом обсудили новость.*

III. В аналоге словосочетаний: *Разговор за обедом.*

3) П р и ч и н а — отвлеченные имена лексически ограниченного круга (преимущ. в книжно-деловой речи).

I. *За ненадобностью..., За отсутствием..., За истечением..., За молодостью лет.*

II. в) Ситуант: *За изменением комнаты для приезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле.*

III. В аналогах словосочетаний: *выброшен за ненадобностью, простили за молодостью лет.*

4) П р е д м е т н а я ц е л ь д в и ж е н и я [// по + вин. (избират.)]

I. *За грибами. За ягодами. За водой. За доктором.*

II. б) Предикат при I компоненте со значением движения: *Поход — за грибами. Машина — за доктором.*

III. В аналоге словосочетаний при глаголах и именах со значением движения: *отправились за ягодами, послал за хлебом, поездка за грибами, очередь за билетами.*

5) С о п р о в о ж д а ю щ и й п р и з н а к (в канцелярско-деловой речи)

I. *За подписью министра.*

II. б) Предикат: *Письмо — за подписью министра.*

III. В аналогах именных словосочетаний:

Ответ за подписью директора (// с подписью). Приказ за номером (// под номером).

Б. Обусловленные

II. а) Лицо — носитель признака (преимущ. отрицательного): *За ним грешки. За ним (замечена) склонность похвастаться. За ним (есть) скверная привычка. За тобой долг.*

б) Предикат в экспр. модели, сообщающей об ожидании предмета или действия, при отвлеченном имени I комп.: *Очередь — за тобой. Остановка — за мастером. Задержка за деталями. Дело за малым.*

В. Связанные

III. а) В словосочетаниях с глаголами *наблюдать (// над + твор.), следить за кем* (личн.), *за чем* (конкретн. и отвлечен.), *ухаживать, смотреть за кем*

б) С соотв. именами: *наблюдение, контроль (// над кем-чем), слежка, уход за кем.*

Глагольный раздел словаря также строится на новых, нетрадиционных приемах подачи материала. Роль глагола в предложении обусловлена типом синтаксической формы глагольного слова: различны функции личных, спрягаемых форм, безличной формы, инфинитива, причастной и деепричастной форм.

Роль глагольного слова в предложении определяется также принадлежностью его к функционально-семантическим подклассам вспомогательных (модальных, фазисных и др.) и знаменательных, акциональных и неакциональных, глаголов. От принадлежности глагола к семантическим разрядам внутри этих подклассов зависит возможность его распространения. Само по себе это наблюдение не ново. Менее изученным аспектом проблемы является то, что распространение глагола именными синтаксемами возникает на разных основаниях, обнаруживая при этом различного характера синтаксические связи между глаголами и (предложно-)падежными формами имени. Ни морфолого-семантическая квалификация этих связей с точки зрения учения о словосочетании или управлении, ни количественно-логическая интерпретация их в рамках валентной или предикатно-аргументной концепций не вскрывает этих синтаксических различий, определяющих обязательность и факультативность того или иного распространения, возможность ее и частотность, заданность формы и/или значения распространяющего глагол имени. Дифференциация функциональных типов именных синтаксем показывает, что требованием глагола обусловлены лишь синтаксемы связанного типа, входящие в предложение только при «своем» глаголе, например, *коснуться руки, придерживаться регламента, испугаться собаки, верить учителю, терять время, строить мосты, открыть окно, заведовать канцелярией, разочароваться в друге.*

Большинство сочетаний глаголов с именными формами основано на с и н с е м и ч н о с т и — реализации семантического тяготения, соответствия между компонентами семантической структуры глагола и именной формой⁵. Так, признак направленности действия открывает при глаголе

⁵ Еще В. А. Богородицкий писал: «...употребление глаголов в соединении с тем или другим падежом представляет собою вовсе не управление глагола именем, а лишь сочетание глагола с данной падежной формой, вызванное взаимным соответствием их при выражении данной мысли» (В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, М.— Л., 1935, стр. 222).

факультативную, частотно замещаемую позицию для синтаксем со значением направления (динамический локатив или директив: исходная либо конечная точка движения, путь или преодолеваемое препятствие), например, *ехать из деревни в город лесом, через реку, сквозь заросли; смотреть из окна; писать в Москву, в министерство; говорить в пустоту* и т. д.); признак информативности действия предполагает позицию делибератива, раскрывающую содержание действия, и адресата (*говорить всем правду, сообщить собравшимся решение, о решении, писать министру жалобу, писать о злоупотреблениях, петь ребенку колыбельную* и т. п.). Пространственными синтаксемами (локативами) способно распространяться множество глаголов. Управления между глаголом и локативной синтаксемой нет потому, что предлог и соответствующий падеж нисколько не зависят от глагола, а сами по себе, в единстве с категориальным значением слова, выражают пространственное понятие, при этом выбор предложно-падежной формы локатива либо определяется реализацией (*в доме — на доме — за домом*), либо вообще исключается, закрепленный узусом (есть локативы *в Белоруссии, в Грузии, в Ленинграде*, но не *на Белоруссии, на Грузии, на Ленинграде*; есть *на севере, на Кавказе*, но не *в севере, в Кавказе*).

Важная задача, стоящая перед составителями Словаря — выявить синтаксически релевантный уровень семантической абстракции глагольных значений, который позволит не «спускаться» в лексику и придти к грамматическим обобщениям. Образно говоря, исследователь должен найти в семантической структуре глагола ту струну, ту ноту, на которую откликается смысловым созвучием нужный тип синтаксем. Те или иные аккорды, комплексы сем в глаголе, определяют и набор синсемичных именных синтаксем и служат различителями в случаях омонимии и полисемии.

Так, сема социативности, интерсубъектности действия, предполагающая позицию совместного субъекта в форме «с + тв. пад.», объединяет глаголы различной семантики. Значение речевого, информативного действия открывает позицию делибератива при глаголах *разговаривать, спорить, полемизировать, договариваться* (с кем — о чем, по поводу чего, на тему...), модально-волеитативная сема в последнем делает возможным сочетание его с инфинитивом (*договорились встретиться*); *играть*, в разной степени проявляя потребность в синтаксеме совместного субъекта, реализует сему содержания в делиберативных синтаксемах (*играть вальс, играть роль Гамлета, играть в хоккей, в дочки-матери*), сему конкретного действия — в инструментальных (*играть цепочкой, играть на скрипке, играть с кубиками*).

Глагол *напомянуть* в значении речевого действия предполагает соответственно синтаксемы адресата и делибератива (*кому что* или *о ком/о чем*), в значении неакциональном выражает компаративное отношение между двумя предметными синтаксемами в именительном и винительном падеже.

Не укладываются в рамки управления, словосочетания и более сложные структурно-смысловые отношения, реализуемые глаголами каузативного значения. Приемы подачи их в словарях часто служат подтверждением недостаточности указания на падежную форму зависимого слова. Так, помета «кому—чему», при глаголах *помочь, помешать*⁶ может открывать позицию каузируемого субъекта второго действия (одушевленного либо неодушевленного, со значением коллектива). Но за пометой «чему» может стоять и другая синтаксема — второго действия, синонимичная синтаксемам, выраженным инфинитивом или формой *в + предл. пад.*

⁶ См., например, E. D a u m, W. S c h e n k, Die russischen Verben, Leipzig, 1963.

отвлеченного имени (*помешать отцу, бригаде работать, в работе* или *помешать работе*). Не соотносительны формы винительного и родительного при глаголах *пугать* и *пугаться*. Синтаксема родительного при *пугаться* имеет значение каузатора действия и соотносительна с творительным каузатора при *пугать* (ср. *пугать ребенка волком* — *пугаться волка*). Конструкции с каузативными глаголами *беспокоить, тревожить, волновать, возмущать, удивлять* и под. должны быть представлены в различных конфигурациях компонентов (*Больного беспокоят разговорами* — *Разговоры беспокоят больного*), в которых обнаруживается соотносительность разнооформленных каузаторов: тождество лингвистического факта выявляется в синтагматических и парадигматических координатах.

В мотивации синтаксического функционирования глаголов должны быть разграничены лексическое и грамматическое как единичное и типовое (Л. В. Щерба): единичное подается списками, пословно, типовое обобщается и индексируется.

В заключение описанный материал будет сведен в справочные таблицы по всем возможным показателям: по падежам и по предлогам, по значениям, по функциональным типам, по синонимическим и антонимическим отношениям и т. д. с тем, чтобы организовать входы в Словарь по разным параметрам и обеспечить читателю Словаря возможность легко ориентироваться в нем.

Таковы в общих чертах исходные позиции авторского коллектива Словаря, которые предстоит развивать и уточнять в ходе работы.

ИЦКОВИЧ В. А.

**СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НОРМА И ТЕНДЕНЦИЯ)**

1. В категории одушевленности—неодушевленности переплетаются и противоборствуют формально-грамматические и семантические критерии. Семантически к одушевленным существительным относятся названия живых существ (кроме растений), а также антропоморфных и зооморфных существ. Все прочие существительные входят в класс неодушевленных¹.

Формально-грамматически одушевленные существительные отличаются от неодушевленных формой винительного падежа: винительный падеж существительных во множественном числе совпадает с родительным. В единственном числе такое совпадение наблюдается только у существительных мужского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа.

Отступление от этого можно отметить в ограниченной группе лексем в конструкциях «глагол + в + существительное в вин. падеже мн. числа», обозначающих обычно переход из одного общественного состояния в другое: *произвести в офицеры, уйти в монахи, пойти в дворники, записаться в добровольцы, выйти в люди, разжаловать в рядовые, выдвинуть в члены комиссии, взять в мужья (в жены), рекомендовать в аспиранты, избрать в академики, принять в пионеры, зачислить в отстающие* и т. д.² (с некоторыми конструкциями такого рода в современном языке конкурируют употребляемые без ограничений конструкции с творительным падежом единственного числа: *записаться добровольцем, выдвинуть членом комиссии, избрать академиком* и др.); см. также устойчивые сочетания с главным словом *играть (игра)*: *играть в солдатики, в казаки-разбойники, в дочки-матери, в кошки-мышки, в куклы, в дураки, в дурачки* (но в ед. числе выступает только форма одушевленного существительного: *играть в дурака, в дурня, в козла*); «*Играют они в солдаты и в арестанты*» (А. П. Чехов, *Остров Сахалин*). Отступления от этого принципа редки, воспринимаются как отклонения от нормы: «*Случалось, баловались игрой в оловянных солдатиков*» («Литературная газета», 26 VII 1978); «*Мальчики играют в солдатиков — пехотинцев и конников*» («Вечерняя Москва», 6 VI 1979).

¹ Историю формирования категории одушевленности см.: Е. М. Ушакова, Развитие категории одушевленности в именах существительных. АКД, М., 1949. Краткий обзор истории изучения описываемой категории см. в работе: И. Еленский, О категории одушевленности в русском языке, «Болгарская русистика», 1977, 6, стр. 41—45.

² Д. Н. Шмелев называет следующие глаголы, при которых существительные выступают в форме винительного падежа, совпадающей с формой именительного: *идти, пойти, записаться, норовить, метить, рваться, наняться, навязываться, попасть, податься, пригласить, произвести, перевести, избрать, выбрать, взять, направить, зодиться* (Д. Н. Шмелев, Современный русский язык. Лексика, М., 1977, стр. 224). Такая конструкция, как пишет Д. Н. Шмелев, «имеет значение присоединения или причисления кого-то к определенной категории лиц, причем главным образом выделенных по положению, должности, профессии, званию, но также и по внутренним и внешним качествам и по отношению к другим лицам» (там же).

Формальный критерий является «наиболее ярким и постоянным признаком категории одушевленности»³, так как деление на «одушевленные» и «неодушевленные» предметы не совпадает с разграничением живой и неживой природы.

Между названными двумя критериями нет взаимно-однозначного соответствия. Существительные, семантически относящиеся к неодушевленным, могут формально-грамматически выступать как одушевленные. Наряду с этим наблюдается и обратное явление: существительные, обладающие семантическими признаками одушевленных, могут изменяться по парадигме неодушевленных. Сквозь это внешне противоречивое переплетение просвечивает, однако, четкая тенденция, установление которой и является задачей статьи.

В сфере описываемой категории выделяются два класса лексем. Один класс объединяет слова, у которых значение одушевленности (неодушевленности) совпадает с формой одушевленности (неодушевленности); колебания, наблюдаемые в этом классе, отражают колебания в отнесении называемого предмета к «одушевленному» или «неодушевленному». Другой класс образуют слова, употребленные метафорически: это существительные одушевленные, используемые для названия «неодушевленных» предметов, и существительные неодушевленные, называющие «одушевленные» предметы. Колебания в этом классе отражают противоречие грамматической формы и контекстного значения существительного.

2. Первый класс слов образуют, как было сказано, существительные одушевленные, употребленные в своем основном, неметафорическом значении. Это названия людей, названия птиц и животных (в том числе сказочных, фантастических), рыб, насекомых, слово *бог*, названия богов (*Зевс, Юпитер, Гера, Юнона, Посейдон, Нептун, Водан, Перун, Аллах, Иегова*; но слово *божество* — неодушевленное), других мифических и сказочных антропоморфных и зооморфных существ (*ангел, архангел, херувим, серафим, бес, черт, дьявол, нечистый, леший, домовой, водяной, упырь, вурдалак, василиск, титан, гигант, монстр, фавн, сатир, кентавр, дракон, сфинкс, джин, ифрит, гном, кобольд* и др.; *русалка, ведьма, кикимора, нимфа, фея, сирена, менада, наяда, дриада, грация, муза, валькирия, гурия* и под.). К одушевленным существительным относят слова *мертвец, покойник, утопленник* (но *труп* — неодушевленное)⁴, местоимения *я, ты; мы, вы, он, кто*; названия карточных и шахматных фигур (*туз, король, ферзь, дама, валет, конь, слон, ладья, пешка*).

3. Колебания в выборе формы одушевленности или неодушевленности в этом классе слов связаны с колебаниями в определении статуса самих объектов, в отнесении называемого существительным предмета к живым или неживым существам.

Это касается, например, слов, называющих консервы из некоторых видов морской рыбы, названий употребляемых в пищу морских моллюсков, ракообразных и под., которые не встречаются в центральной России в живом виде и стали известны сначала как экзотическое блюдо и лишь позднее — как живые существа: *есть, любить устрицы/устрицу, мидии/мидий, креветки/креветок, крабы/крабов* (но ср. обычное *есть раков*, а не **есть раки*, так как они известны в живом виде: *Ребята ловят раков*), *есть трепанги/трепангов, омары/омаров* (в ед. числе *съел трепанга, принесли боль-*

³ В. В. Виноградов. Русский язык, М., 1947, стр. 89.

⁴ «В различии форм *видеть покойника, видеть мертвца, но видеть труп* сказывается, возможно, то обстоятельство, что в первых двух сочетаниях существительные связываются с представлением только о человеке, тогда как под словом *труп* в равной мере может подразумеваться и животное» (Д. Э. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, 4-е изд., М., 1977, стр. 106).

шого омара на блюде — единичный экземпляр выступает как живое существо), *есть кальмары/кальмаров, но есть сардины, шпроты*⁵. Однако если речь идет не об экзотической пище, а о живущих в море существах, то названные слова принимают форму одушевленных существительных (см. замечание о слове *омар*): *ловить крабов, омаров* и т. д.: «Я искал моллюсков-жемчужниц» (А. Якубовский, Купол Галактики); «Занимаемся в основном рыболовством, разводим креветок, сеем рис» («Правда», 13 XII 1977); «Варят кальмары в кипящей воде» («Вечерняя Москва», 13 XII 1977); «Вареный кальмар нарезать соломкой» (там же). В практике наблюдаются отклонения от названного принципа: «Много рыбы и других продуктов моря было выращено в искусственных условиях. 60 процентов из этого количества приходится на сома и форель, а остальное — на семгу, устрицы, раки, моллюски и креветки» («Правда», 26 V 1975); «Дедущка, молодой отец, мальчуган и женщина едят улитки из Бургундии» (А. Ремакль, Летайте «Каравеллой»); ср. «Дама поливает устрицу лимонным соком» («Неделя», 4 IV 1976).

Форма существительного *пиявки* зависит обычно от контекста, в котором оно употреблено: это слово изменяется как существительное одушевленное, когда называет пресноводного кольчатого червя (*ловить пиявок*), и как существительное неодушевленное, если называет существа этого вида, применяемые в медицине для отсасывания крови (*ставить пиявки*). Правда, встречаются отклонения от этого принципа: «Там на специальной фабрике выращивают пиявки в искусственных условиях» («Правда», 17 V 1977); «Перед тем как отправить пиявки в лечебные учреждения, им устраивают строгий медицинский осмотр» (там же); ср. колебания в пределах одного текста: «Нельзя ставить пиявок на лицо» («Терапевтический справочник», т. II) — «При острых инсультах больному предоставляется полный покой. Ставят пиявки или делают кровопускание» (там же); «Эти страны импортируют пиявки» («Знание — сила», 1979, 1) — «Все это повышает спрос на пиявок» (там же).

4. Такими же причинами — неопределенностью статуса называемого объекта в языковом сознании говорящих — объясняются колебания в выборе формы одушевленности или неодушевленности у слов, называющих микроорганизмы. См. в связи с этим следующее высказывание: «С тех пор, с конца прошлого века, и ведется среди ученых спор: вирус — это „что“ или „кто“? Живое это существо или мертвое химическое соединение?»⁶. Слово *вирус* выступает как существительное неодушевленное: «Подвергнуть заключению вирус со столькими положительными свойствами?» (В. Сапарин, Суд над Танталусом); «Помните, как начинали уничтожать все вирусы гриппа» (там же); «Воздействие среды на вирус значительно многообразнее» (Н. И. Войнов, В. З. Солоухин, Вирусы, птицы, люди); «Птицы переносят... различные вирусы» (там же).

Колебания наблюдаются в сложениях, второй частью которых является *-кокк*: «В положительном случае надо дифференцировать стрепто-

⁵ Слово *шпроты* называет, во-первых, род мелкой промысловой рыбы семейства сельдевых, а во-вторых, консервы из этой и другой мелкой колючей рыбы (салаки, кильки и т. д.), выдержанной в растительном масле (см.: «Словарь современного русского литературного языка», 17, М.—Л., 1965, стлб. 1538). Аналогичный процесс происходит в слове *сардины*. Это, во-первых, род мелкой промысловой рыбы семейства сельдевых, а во-вторых, консервы из этой или другой мелкой рыбы (иваси, салаки и др.), проявленной, а затем выдержанной в растительном масле. См.: «Как название „шпроты“, „кильки“, так и название „сардины“ стало обозначением не столько рыбы, сколько рецептуры, способа приготовления» («Книга о вкусной и здоровой пище», М., 1952, стр. 66). См. и название консервов: «Сардины из сельди иваси в масле».

⁶ Н. И. Войнов, В. З. Солоухин, Вирусы, птицы, люди, Минск, 1977, стр. 28.

кокк) («Терапевтический справочник», т. II); «Они *ввели* одной группе этих крыс *стрептококки*» («За рубежом», 1977, 21); «Лекарства... *воздействуют* практически на все известные виды инфекции: *стрептококки, пневмококки...*» («Наука и жизнь», 1976, 3) Ср.: «Опыт... *позволяет считать* золотистого *стафилококка* способным поражать любые органы и ткани человека и животных» («Знание — сила», 1977, 10); «Я даже придумал похожий метод *охоты на стафилококков*» (там же).

Такие же колебания наблюдаются у слова *вибрион*: «Этим, вероятно, и объясняется распространение вибриона Эль-Тор, который *потеснил* классический *вибрион*» («Наука и жизнь», 1971, 2) — «Эта третья разновидность сильно *подавляет* классических *вибрионов*» (там же).

По-видимому, преобладает изменение по типу одушевленных существительных у слова *микроб*: «Наладить промышленное производство эритромицина — препарата, *убивающего микробов*, перед которыми бессилён пенициллин» («Комсомольская правда», 28 XI 1964); «Гарднер... *обнаружил* еще несколько чувствительных к пенициллину *микробов*, среди них *микроба* газовой гангрены» (А. Моруа, Жизнь Александра Флеминга); «Лишь так удается *подавить* болезнетворных *микробов*» («Наука и жизнь», 1976, 3); «Это было время, когда причиной всех болезней *считали микробов*» (Р. Петров, Беседы о новой иммунологии); «Этих *микробов подвергли* действию другого химического мутагена» («Наука и жизнь», 1976, 9). Но см. и иную форму: «Необходимо *уничтожить микробы*» («Смена», 1977, 24). Ср. в одном тексте: «Вещества, губительно *действующие* на других *микробов*» («Наука и жизнь», 1978, 10) — «Механизм действия пенициллина и других антибиотиков на *микробы...*» (там же).

Как форма одушевленности, так и форма неодушевленности наблюдается у слова *бактерия*: «*Нашли* в мумии микроскопическую плесень, *бактерий*» («Смена», 1977, 24); «Потомство *унаследует* не только хромосомы, но и *бактерии*» («Знание — сила», 1978, 8); «Корни бобовых *приманивают* клубеньковые *бактерии*» («Природа», 1978, 3) — «Не все вещества устраивают аэробных *бактерий*» («Знание — сила», 1978, 8); «Возникает вопрос, как *систематизировать бактерий*» («Природа», 1978, 4); «*Бактерий*, пожирающих метан, предложили *применить* против этого опасного газа в угольных шахтах советские специалисты» («Неделя», 31 V 1968). См. также: «*Изучая* свои *бациллы*, я как-то раз особенно внимательно *вчитался* в пастернаковские строчки» («Знание — сила», 1977, 10) ⁷.

Только как неодушевленное выступает слово *микроорганизм* (очевидно, под влиянием слова *организм*): «*Микроорганизмы помещают* в желатинообразную массу, насыщенную полимерами» («Знание — сила», 1977, 7); «Каков же механизм токсического действия *серебра на микроорганизмы?*» («Наука и жизнь», 1976, 8).

Из других лексем, входящих в названную группу, отметим слова *личинка* (обычно одушевленное), *эмбрион* (неодушевленное), *зародыш*: «Самец *охраняет* икру и позднее *личинку*» (И. Акимушкин, Мир животных); «Они *тычутся* в песок, *выбирая* мормыша, *личинку* поделки» (В. Астафьев, Царь-рыба); «Осы *перекусывали* тех *личинку*, которых не могли выдернуть из гнезда» («Наука и жизнь», 1976, 3); «Двадцать три капитана согласились *ловить* для Шмидта *личинку* угрей» (И. Акимушкин, Куда? и как?); «Рабочие-няньки *кормят личинку*» (И. Халифман, Муравьи); «Тритон... во множестве *поедает личинку* комаров» (Э. В. Ивантер, Зем-

⁷ Иногда отмечают, что слова *бактерии, бациллы, микробы, зародыш, личинка, эмбрион* употребляются как неодушевленные в общелитературном языке и как одушевленные — в профессиональной речи и в специальной литературе (см.: Д. Э. Розенталь, указ. соч., стр. 105; Г. И. Розова, Очерки практической грамматики русского языка, М., 1978, стр. 41—42).

новодные и пресмыкающиеся); «При обработке посевов ядами гибнут не пилыльщики, а их паразиты, *истребляющие личинок пилыльщика*» («Наука и жизнь», 1977, 10). Ср. колебания в одном тексте: «*Получить* новорожденных *личинок* в большом количестве — это колоссальный труд» («Наука и жизнь», 1978, 10) — «*Извлекают* из них *личинки*» (там же); «Клетка... постепенно росла, размножалась, следуя механическим процессам развития, *превращалась в эмбрион* робота» (П. Буль, Идеальный робот); «Рептилии откладывают крупные, богатые желтком яйца с... особыми зародышевыми оболочками, *предохраняющими эмбрион* от потери воды» (Э. В. Ивантер, Земноводные и пресмыкающиеся); «Если *зародышей* животных *поместить* в полную темноту...» (И. Акимушкин, Куда? и как?); «*Извлекают зародышей* и пересаживают коровам *меньшей продуктивности*» («Неделя», 4 II 1979). Ср.: «Было около сорока попыток *имплантировать* такие *зародыши*» («Литературная газета», 23 VIII 1978); «*Прооперировать зародыши*» («Знание — сила», 1977, 1).

По типу неодушевленных существительных изменяется слово *глист*: «Белая ниточка *представляет собой глист*» («Терапевтический справочник» т. II); *изгонять глисты, аскариды*.

5. По строгой литературной норме одушевленные существительные среднего рода только во множественном числе могут изменяться по модели одушевленных: *наблюдать животное, убить насекомое — наблюдать животных, убивать насекомых* и т. п. В практике печати наблюдается изменение их по этой модели и в форме единственного числа: «Управляющий Меншикова *приставил* к художнику *подмастерья* Филимона» («Правда», 20 IX 1978); «...плавает или ползает во тьме с единственным стремлением *съесть* какого-нибудь *ракообразного* или *насекомого*» (И. Акимушкин, Мир животных); «И нет другого *животного*, которого бы так подробно *исследовали*» (Р. Мерль, Разумное животное). См. два перевода одного и того же текста, помещенные в одной книге: «Тридцать лет спустя после романа Чапека мне в своей книге не надо было, как ему, *выдумывать* разумное морское *млекопитающее*» (Р. Мерль, Разумное животное) — «...Робер Мерль заявил в том же предисловии: „Работая над книгой тридцать лет спустя после Чапека, я не должен был *выдумывать*, как он, одаренного разумом морского *млекопитающего*...“» [там же («Вместо послесловия»)]. Очевидно, появление таких форм вызвано аналогией с закрепившимся в единственном числе мужского рода совпадением формы винительного падежа с формой родительного или винительного в зависимости от значения одушевленности или неодушевленности. Правда, последний пример не вполне корректен: форма *млекопитающего* может быть результатом воздействия отрицания при глаголе, подчиняющем себе инфинитив *выдумывать*.

6. Иррадирующее воздействие модели одушевленных существительных сказывается в спорадическом изменении по этой модели слов, называющих разного рода группы (объединения) людей: «Мы *нарвались на патрулей*» (С. Л. Ваушасов, На тревожных перекрестках); «Главное, *не напороться на патрулей*, на собак» (А. Згеев, На дальнем бомбардировщике); «Двумя годами позднее в „Турском священнике“ Бальзак *разоблачит тайную власть Конгрегации, сообщества церковников и мирян, созданного, чтобы оказывать давление на властей*» (А. Моруа, Прометей, или Жизнь Бальзака). См. также: «Антропологический анализ может открыть автохтонность, местные корни *народа, которого считают пришлым*» («Наука и жизнь», 1971, 5).

7. Отмечаются колебания в отнесении к одушевленным или неодушевленным существительным слов, употребляемых для названия лиц: «*Определить* главные действующие *лица*» («Неделя», 13 VIII 1978); «Биограф...»

хотел бы *выявить* подлинные действующие лица исторической мелодрамы» (М. Брандыс, Исторические повести.) — «КПЯ... *исключила* из своих рядов антипартийных, раскольнических лиц» («Правда», 12 IX 1971); «Если автор хочет *вести* знаменитые личности, жившие на самом деле...» («Неделя», 23 VII 1978) — «*Изображает* отдельных неустойчивых, колеблющихся и незрелых личностей» («Известия», 27 III, 1968); «Вскоре после замирения начал *различать* в шумном воробьином таборе отдельных „личностей“» («Неделя», 2 III 1975); *изолировать* неустойчивые элементы — «Лица из КПК... *превозносили* этих антипартийных элементов» («Правда», 12 IX 1971); «Чиновники ЮАР *подкупают* племенных вождей и других продажных элементов» («За рубежом», 2 IX 1976); «В ряде стран Запада активизировались неофашистские круги, *вербующие* для осуществления своих целей деклассированных элементов» («Правда», 19 II 1977); «*Увидел* на экране гипертрофированный до предела сказочный персонаж» (В. Немцов, Счастливая звезда); «Таким вот сложным (можно сказать — загадочным) *воспринимал* древний художник этот действительный сложный персонаж церковной литературы» (О. Чайковская, Против неба — на земле); «Он *встретит* здесь знакомые персонажи» («Знание — сила», 1979, 1); «*Решительно потеснил* все остальные персонажи» («Правда», 2 VII 1978); «*Узнаешь* в фигурах и лицах изображенных людей персонажи известных произведений» («Вечерняя Москва», 2 X 1978) — «Я ожидал *увидеть* персонажа с агитплаката „Не проходите мимо“» (И. Зверев В двух километрах от Счастья); «Ле Карре *знает* своих персонажей» («Октябрь», 1977, 2) ⁸.

В эту же группу входят слова *существо, создание, жертва*, служащие для названия как лиц, так и других живых существ: «За несколько минут до смертельного сражения он *поручает* два самых дорогих для него существа заботе короля» (В. Трухановский, Адмирал Нельсон); «Трудно *вообразить* более коварные и скрытные существа» (К. Саймак, Заповедник гоблинов) — «Представьте себе любой замкнутый мир и живущих в нем существ» (И. Росохватский, Гость); «Пришельцы могли ведь и улететь, ...не сочтя людей за разумных существ» (В. Малов, Куклы из космоса); «Жизнь, уничтожаемая там, на бойне, *питала* собой других, более совершенных существ — людей» (Л. Соболев, Зеленый луч); «К этой популярности... *относят* и существ очень высоких» («Литературная газета», 26 VII 1978); «Они *прячут* эти деликатные создания от малейших колебаний атмосферы» (И. Халифман, Муравьи); «Некоторые щуки, окуни, лещи и подлещики... *глотали* краску, *превращаясь* в диковинные создания» (В. Немцов, Счастливая звезда) — «Стерхи — белоснежные журавли. *Этих* больших, но грациозных созданий без преувеличения можно назвать царь-птицами» («Неделя», 4 IX 1977); «Так назывался круг, на котором инквизиторы *истязали* свои жертвы» (Т. Бреза, Валтасаров пир. Лабиринт. Предисл. С. Ларина); «*Жертвы* доставляли в грузовиках, обычно использовавшихся для перевозки мяса в солдатские столовые» («Огонек», 3 IX 1976); «Чейз *показывает*, с какой зверской жестокостью полицейские *истязают* свои жертвы» (Б. Райнов, Черный роман) — «Не следует *содержать* вместе взрослых и молодых животных, а также хищников и их

⁸ А. К. Панфилов выделяет два значения слова *персонаж*: 1) «Продукт творческой деятельности писателя, проявившейся в создании образа человека» (ср. синонимичные ему слова *образ, тип, характер*, изменяющиеся по типу неодушевленных) и 2) «живой человек, с действиями которого мы знакомимся при чтении художественного произведения» (ср. синонимичное ему слово *герой*, изменяющееся по типу одушевленных). Однако далее он отмечает, что наличие этих двух значений почти не влияет на грамматические особенности слова. В единственном числе оно склоняется как существительное неодушевленное, во множественном — как одушевленное (А. К. П а н ф и л о в, Как склоняется слово *персонаж*?, сб. «Вопросы культуры речи», 7, М., 1966, стр. 206—214).

жертв» (Э. В. Ивантер, Земноводные и пресмыкающиеся); «Томас буквально терроризировал своих жертв» («Правда», 31 III 1977); «Хищные репортеры по-прежнему подстерегают жертв» (К. Саймак, Заповедник гоблинов. Предисл. В. Ревича).

Основная тенденция в словах этой группы — употребление формы одушевленного существительного.

8. Нередко по типу неодушевленных существительных изменяется слово *кукла* — по-видимому, в связи с тем, что слово называет неживой предмет: «Председатель правления... вручил им подарок — *куклы* в национальных костюмах» («Огонек», 1967, 2); «Она делала замечательные стилизованные *куклы*» (Н. Павлович, Воспоминания об А. Блоке); «Для меня он прежде всего был и остается отцом, близким, любимым человеком, который чинил мои *куклы*» («Смена», 1977, 9); «Ребята все делают сами. И *куклы*, и декорации» («Вечерняя Москва», 9 VIII 1978); «Собрала разбросанные повсюду *куклы*» (Г. Бендер, Увольнение). По той же причине — как слово, называющее неживой предмет, испытывает колебания и слово *змея*: «Парус.. должен быть изготовлен из тонкой пластмассы, покрытой алюминием, и напоминать гигантский бумажный *змея*» («Знание — сила», 1977, 3); «В деревне раз в год — в первую неделю мая — *запускают* самый большой в мире воздушный *змея*» («Наука и жизнь», 1976, 1); «Он *делает* воздушные *змеи*» («Наука и жизнь», 1978, 7); «Я *делаю* *змея* куполообразным» («Юность», 1978, 9). См. колебания в пределах одного текста: «*Сделать* „взрослый“ воздушный *змея* непросто» («Вокруг света», 1977, 3) — «В деревне Хосюбана... *запускают* *змея* весом почти в тонну» (там же); «В странах Восточной и Юго-Восточной Азии воздушных *змеев* азартно *запускают* люди всех поколений» (там же). Встречается форма одушевленности у слова *призрак*: «Туристы *приняли* его за *призрака*...» («Неделя», 10 VI, 1973); «... Говорят даже, что достаточно *взглянуть* на крылатого „*призрака*“, чтобы тем самым подписать себе смертный приговор» (И. Акимускин, Следы невиданных зверей); «Им *посадить* бы на трактор *призрака*, раз они так уж хотели быть уверенными в ее добродетельности» («Сельская молодежь», 1977, 10); «И комната в бывшем особняке Родионовых, *незвизая* на гнездящихся там *призраков*, очень нас выручила» («Юность», 1966, 8).

9. На фоне сказанного ранее показательно варьирование форм винительного падежа слова *робот* в зависимости от вкладываемого в него — в разных жанрах литературы — различного содержания. Увидевшие свет в пьесе К. Чапека «R.U.R.» роботы внешне ничем не отличаются от людей. Приехавшая на комбинат «Rossum's Universal Robots» мисс Стелла принимает девушку-робота Суллу за человека, а директоров компании — за роботов. Разошедшиеся после пьесы Чапека по страницам фантастических произведений роботы — думающие и говорящие человекоподобные существа — выступают как существительные одушевленные: «*Роботов*... *выпускал* единственный в стране Завод Высшей Кибернетики» (М. Михеев, Станция у Моря дождей); «*Вспомогательная ракета опустила вниз робота*» (Г. Альтов, Богатырская симфония); «Тогда профессор задумал *создать* такого *робота*, который мог бы сам порождать роботов» (П. Буль, Идеальный робот); «Я спросил его, *изготавливают* ли сейчас человекообразных *роботов*» (С. Лем, Возвращение со звезд); «Гнев его, очевидно, *смутил робота*» (П. Вежинов, Синие бабочки); «Он *внимательно разглядывал роботов*» (К. Саймак, Все ловушки Земли); «*Задумали приобрести робота*» (там же); «*Мы конструируем роботов* по своему образу и подобию» (А. Кларк, Свидание с Рамой).

Но слово *робот* перешло из фантастики в технику, став термином — названием автоматического манипулятора с программным управлением.

В этом случае, называя машину, автомат, устройство, слово *робот* выступает, естественно, как существительное неодушевленное: «Австралийские инженеры *создали* для Сиднейской оперы специальный радиоуправляемый *робот*» («Наука и жизнь», 1977, 8); «Одна ирландская фирма *сконструировала* *робот* для подводных работ» («За рубежом», 2 IX 1976); «Фирма... *привезла* сварочный *робот*, в „ладонь“ которого встроен трансформатор» («Неделя», 17 IV 1977); «Он с законной гордостью *продемонстрировал* перед нами *роботы* серии „Пирин“» («Правда», 13 XII 1979); «Они *создают* *робот*, который станет ухаживать за газом» («Вечерняя Москва», 21 III 1978); «Ученые *создали* манипуляционный *робот*» («Вечерняя Москва», 7 I 1978); «„*Обучить*“ *робот* всем необходимым операциям» («Вечерняя Москва», 4 XII 1978); «Аппарат может *озвучивать* промышленные *роботы*» («Правда», 27 II 1979). Разграничение двух значений слова *робот* происходит не так прямолинейно, как может показаться по приведенным примерам. В печати встречаются два вида отклонений от описанного распределения форм.

Во-первых, в фантастике в пределах одного произведения можно иногда обнаружить параллельное употребление формы одушевленного и неодушевленного существительного (или указывающего на него местоимения): «Вы сознательно *замедляете* своих *роботов*» (Р. Шекли, Билет на планету Транай) — «Особое кибернетическое устройство *заставляло* *робота* время от времени шататься как пьяного» (там же) — «Он просто *разбил* недорогой *робот*» (там же). Такого же рода колебания встречаются в пределах одного текста в научно-популярной литературе, с тем существенным отличием, что в фантастике форма неодушевленного выступает на месте одушевленного, а в научно-популярной литературе, где речь идет о промышленных роботах, направление колебаний противоположное — форма одушевленного выступает на месте неодушевленного: «*Роботы, которые мы рассматривали*, и большинство существующих роботов больше похожи на растения, чем на животных» («Знание — сила», 1977, 6) — «*Собрать* такого *робота*» (там же); «Он *соберет* другого *робота*, присоединяя эти детали одну за одной» (там же); «Нам стало очевидно, что надо *делать* свои *роботы* обучаемыми» («Знание — сила», 1977, 12); Не исключено, что земляне высадутся на Марс, *привезя* с собой среди прочих земных устройств шагающие *роботы*» (там же) — «„*Ходящие*“ системы стали надеяться усиками-антеннами, *информирующими* *робота* о приближении к препятствию» (там же); «*Роботы приспособливают* и пытаются приспособливать для загрузки и выгрузки заготовок и изделий, очистки деталей, сварки и окраски» («Наука и жизнь», 1977, 1) — «Стало ясно, что нельзя будет просто *взять* *робота* за его механическую руку» (там же); «*Обучить* таких *роботов* можно по-разному» (там же).

Во-вторых, в научно-популярных и газетно-публицистических жанрах наблюдаются случаи употребления только формы одушевленности, хотя речь идет о промышленном роботе: «Люди *создают* все более и более современных *роботов*»; «Можно *создать* *роботов*, превосходящих человека» («Литературная газета», 24 VIII 1977); «Первая технология способна *сделать* „зрячих“ *роботов* даже более рентабельными» («Знание — сила», 1977, 8); «Эти детали перемещаются на ленточном конвейере мимо сварочных машин, каждая из которых *представляет собой* простого *робота*» («За рубежом», 14 VII 1977).

Во всем собранном материале встретился только один пример употребления формы неодушевленного существительного для слова *робот* «человекоподобное существо»: «Ты *превратился* в проклятый *робот*, слепо вторяющий, как попугай, слова Циммермана и Старра ради адмиральных звезд» («Литературная газета», 11 IV 1973).

10. В описанных ранее случаях рассматривались существительные, употребленные в своем прямом, словарном значении: существительные одушевленные, называющие «одушевленные» предметы (т. е. предметы, названия которых образуют разряд одушевленных существительных), и существительные неодушевленные, называющие «неодушевленные» предметы. В этом случае колебания в выборе формы одушевленности или неодушевленности отражают, как было сказано ранее, колебания в отнесении к тому или иному разряду самих предметов, для называния которых служат эти существительные.

Иная ситуация возникает при метафорическом употреблении существительных. При этом нет сомнений в отнесении, с одной стороны, самого предмета к классу «одушевленных» или «неодушевленных», а с другой стороны, существительного, называющего этот предмет, к классу одушевленных или неодушевленных существительных. Если существительное одушевленное используется для называния «неодушевленного» предмета или существительное неодушевленное — для называния «одушевленного» предмета, грамматическая форма существительного вступает в противоречие с его контекстным значением, а это вызывает необходимость выбора между формой, предписываемой существительным в его словарном значении, и формой, предписываемой одушевленностью или неодушевленностью предмета, метафорически называемого этим существительным, т. е. формой, предписываемой контекстом. Таким образом, как в одном, так и в другом случае выбор формы винительного падежа может определяться как значением существительного, так и значением называемого существительным предмета.

В связи со сказанным рассмотрению подлежат следующие случаи: одушевленное существительное употребляется для называния неживого предмета; неодушевленное существительное употребляется для называния живого предмета. В каждом из этих случаев существительное, вообще говоря, может принимать как форму одушевленности, так и форму неодушевленности.

11. При употреблении для называния неживых предметов существительное одушевленное обычно принимает в винительном падеже форму, омонимичную форме родительного. Эту тенденцию отмечал еще Л. А. Булаховский: «Надо констатировать..., что современный литературный язык решительно склоняется в сторону сохранения за словом с основным значением одушевленности, независимо от его переносного употребления, первоначальных морфологических особенностей»⁹; ср.: «При переносном употреблении категория одушевленности более устойчива в своем грамматическом выражении, чем категория неодушевленности»¹⁰. Таким образом, словарное значение существительного (значение одушевленности) оказывается в данном случае сильнее его контекстного значения. Особенно часто употребление формы одушевленности наблюдается, естественно, у существительных — названий лиц: «Всякая попытка „активного“ спутника догнать или „подождать“ своего „пассивного“ партнера путем изменения скорости приводит к изменению его орбиты» («Наука и жизнь», 1968, 1); «Механических чертежников разработали и изготовили в опытно-конструкторском бюро Управления благоустройства столицы» («Вечерняя Москва», 11 V 1971); «Эфирное телевизионное вещание в скором времени обязательно приобретет „кассетного помощника“» («Неделя», 16 XII 1973); «Два года потребовалось ученым, чтобы из многочисленных претендентов на роль защитника драгоценного камня выбрать одного, самого

⁹ Л. А. Булаховский. Курс русского литературного языка, I, Киев, 1952, стр. 199.

¹⁰ „Грамматика русского языка“, I, М., 1952, стр. 106.

верного» («Знание — сила», 1976, 12); «Старший из членов команды космического корабля „Погремушка“, *идущего курсом на красного гиганта*, известного под именем Бетельгейзе, промолчал» (Н. Нильсен, Продается планета); «*Карлика* [звезду] может *выдать* его параллакс» («Знание — сила», 1977, 2); «То там, то тут *встретишь* среди песков и такыров буровую скважину — не внушительного нефтеразведочного *гиганта*, а скромную самоходную установку» («Знание — сила», 1977, 8); «Такого *великана* [планету] не *открывали*, наверное, добрую сотню лет» (А. Кларк, Свидание с Рамой); «Сын, который теперь в городе, *прислал* ей *электропастуха*» («Литературная газета», 16 II 1977); «Черный как жук, заика Гога, заядлый курильщик, страдавший больше всех от недостатка курева и *собиравший* на улице „*чиновников*“ [т. е. окурки], был доволен больше всех» (Г. Белых, Л. Пантелеев, Республика Шкид); «Венгерская Народная республика внесла официальный документ, *призывающий* государства-участников встречи гарантировать одно из основных гражданских прав — право на труд» («Правда», 24 XII 1977); «*Приплюсuem* ко всему этому... такого *непременного спутника* горения угля, как углекислый газ» («Неделя», 18 XII 1977); Форму одушевленности принимаю в таких случаях не только названия лиц, но и другие существительные со словарным значением одушевленности: «Монтэг обернулся и *увидел* Механического *пса*» (Р. Брэдбери, 451° по Фаренгейту); «Думала, что я *делаю* бумажного *дракона*» (Р. Брэдбери, Человек в воздухе); «Единственная тусклая лампочка под потолком освещала... громаду Зверя. Так они прозвали машину. ...Клейтон *вывез* Зверя. ...Клейтон *повел* Зверя по одному из узких извилистых проходов» (Р. Шекли, Поднимается ветер); «Аппаратура, лишенная внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений *пускала в ход* „*мотылька*“» (С. Лем, Условный рефлекс); «Кто-то *пускал* в адвокатскую кабинку *солнечных зайчиков*» (А. Розен, Прения сторон).

Однако эта старая норма начинает расшатываться, контекстное значение неодушевленности иногда оказывается сильнее словарного значения: «Существуют разные методы, с помощью которых, по мнению ученых, можно *обнаружить предвестники* землетрясений» («Вокруг света», 1977, 6); «Подобные *предвестники* землетрясений можно *использовать* при оперативном прогнозе» («Правда», 20 XI 1970); «Каждая колония *содержит* клетки только одного какого-нибудь вида — либо *предшественники* эритроцитов, либо *предшественники* лейкоцитов, либо *предшественники* тромбоцитов» («Знание — сила», 1977, 12); «Детенышей обезьян *отнимали* от матери и растили в клетке, где они *имели* на выбор *две* искусственные „*мамы*“ — металлическую, которую можно было сосать („*кормящая* мама“), и другую, с мягкой шерстью, но не *кормящую*» (М. И. Яновская, Тайны, догадки, прозрения); «Этот *стальной конь* местные хлебоборбы *получили* с завода еще в 1936 году» («Правда», 10 III 1976); «Итак, *стрелятмены*, давайте *расставим* наши *охотничьи утки*» (К. Блэйр, Страна Пентагон); «В ту же категорию, что грифон и дракон, можно *поместить* другое сказочное геральдическое животное — *единорог*» («Неделя», 1968, 7); «...Днем зашел в антикварный магазин, *купил* *два* *бронзовых сатира*» (Н. Леонов, Ю. Костров, Операция «Викинг»); «Все *грации* и все *нимфы* *распишем*, как они были и раньше» («Правда», 14 I 1977); «Способен ли человек *передвигать* *каменные исполины*?» («Неделя», 16 II 1975); «Должен был *погрузить* *гигантские* *каменные колоссы*» (Э. Церен, Библейские холмы) — «*Распилить* эти *колоссы*» (там же).

В некоторых случаях встречаются колебания в пределах одного текста: «Мы хотим *привести* в порядок *Защитника* [вездеход]» — «Инженер и физик *вышли* *осмотреть* *Защитник*» (С. Лем, Эдем); «Один из образцов на стенде *привлек* наше внимание. Мы *сгрудились* возле него и *рассматри-*

вали этого ярко-синего „красавца“. Отрезок был укреплен в вертикальном положении» — «[Группа инженеров] с удивлением *разглядывает „красавец“ фидер* („Красная звезда“, 2 VIII 1972). В некоторых случаях варьирование форм одушевленности — неодушевленности является средством (и показателем) распада слова на омонимы: «Хочешь — заходи, наблюдай, как *делают...* лакомые „петушки“ на палочках» („Правда“, 5 VIII 1978); «Павел Петрович убавил огня в примусе — „шмеле“ ... Павел Петрович затопил печку, *разжег „шмели“* и стал готовить завтрак» («Аврора», 1978, 1); «В работе жилы канатов нередко скручиваются, образуя так называемые „орлы“» («Правда», 1 VII 1978).

Как неодушевленное изменяется слово *спутник* «небесное тело, движущееся вокруг планеты»: *наблюдать спутник*. Только в специальной литературе можно встретить изменение этого слова по образцу одушевленных: «Гершель *открыл двух* еще более слабых *спутников* Сатурна» (П. И. Попов и др., *Астрономия*); «Планеты (не все) в свою очередь *имеют спутников*» (П. И. Бакулин и др., *Курс общей астрономии*); «Удалось *видеть* второго *спутника* Земли» (Я. И. Перельман, *Занимательная астрономия*).

Имена античных богов, употребленные как названия планет, склонялись как существительные одушевленные. Ф. И. Буслаев приводит как образец «*смотреть* в телескоп *на Юпитера* (т. е. на планету)»¹¹. А. М. Пешковский считал нормой «*смотреть на Марса, на Юпитера*»¹². В современном литературном языке эти слова изменяются как неодушевленные.

В этих случаях выступают омонимы *спутник* «попутчик» (одуш.) и *спутник* «небесное тело» (неодуш.), *Юпитер* «бог древнеримского пантеона» (одуш.) и *Юпитер* «планета» (неодуш.).

12. Еще Ф. И. Буслаев отмечал, что винительный неодушевленных совпадает по форме с родительным, «когда название неодушевленного или отвлеченного предмета оканчивается на суффикс *-тель*, который собственно означает лицо действующее»¹³. То же писал А. А. Шахматов: «Категория одушевленности связывается и с суффиксом *-тель*; это зависит от того, что суффикс этот фактически образует названия действующих лиц муж. рода»¹⁴. В. И. Чернышев отмечал как нормативную форму одушевленности слов *числитель, знаменатель, делитель, множитель*¹⁵. Эти слова только в 30-е гг. нашего века стали изменяться как неодушевленные. Возможно, этому способствовало распространение в современном литературном языке существительных с суффиксом *-тель*, называющих разного рода устройства (*иглодержатель, корчеватель, миноискатель, обогреватель, обтекатель, отражатель, проигрыватель, пускатель, распылитель, смеситель, толкатель* и мн. др.), которые образовали разряд неодушевленных существительных на *-тель*.

Но названия лиц на *-тель* и в своем метафорическом употреблении, в применении к неживым предметам, сохраняют форму одушевленных существительных. Как правило, в форме одушевленного существительного выступает слово *возбудитель* (болезни): «Роберт Кох... *открыл возбудителя* туберкулеза» (В. Петров, *Беседы о новой иммунологии*); «В 1880 году удалось *открыть возбудителя* малярии» (Н. И. Войнов, В. З. Солоухин, *Вирусы, птицы, люди*); «Чтобы этот барьер мог *фиксировать* поступающих

¹¹ Ф. И. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, II, 2-е изд., М., 1863, стр. 187.

¹² А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 5-е изд., М., 1935, стр. 260.

¹³ Ф. И. Б у с л а е в, указ. соч., стр. 188.

¹⁴ А. А. Ш а х м а т о в, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 446.

¹⁵ В. И. Ч е р н ы ш е в, Правильность и чистота русской речи, в кн.: В. И. Ч е р н ы ш е в, Избранные труды, I, 1970, стр. 499.

в организм извне *возбудителей* болезни» («Наука и жизнь», 1977, 11); «Попробуйте *поищите* теперь *возбудителя* возвратного тифа» (В. Сапарин, Суд над Танталусом); «Помните, как начали *уничтожать* все вирусы гриппа, *возбудителей* дизентерии, холеры» (там же). Ср.: «Долго *выращивали* *возбудитель* кори» («Неделя», 23 VII 1978).

Так же изменяются и другие встретившиеся в просмотренном материале слова на -тель: «Не стоит ли *лишить* Знака качества и остальных *представителей* семейства — „Харьков-31“, который ничем не лучше своей сестры, и „Харьков-33“?» («Неделя», 24 IV 1977); «Внешне этого последнего *представителя* „нового поколения“ грузовых автомобилей марки „Мерседес-Бенц“ можно *узнать* по большому воздухозаборнику...» («Неделя», 15 V 1977); «Первым мы *представляем* самого маленького *представителя* семейства ХАДИ — электрокарт, созданный на кафедре электротехники» («Неделя», 4 VIII 1974).

13. Условные наименования судов, автомобилей и т. д., выраженные одушевленными существительными, могут принимать форму неодушевленных существительных: *подписаться на* «Московский комсомолец», *зайти в* «Руслан» [магазин]; «Ловко *подсовывал* покупателю старый „Леопард“ — предшественник новой модели» («Неделя», 3 VII 1977); «Ему удалось *посадить* подбитый „Лавочкин“ на своем аэродроме» (М. Галлай, Первый бой мы выиграли); «Штирнер, смеясь, рассказал, что кто-то *завез на* „Циолковский“ мышей» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Страна багровых туч); «Во дворе они *усаживаются* в старенький автобус фирмы „Фиат“, который в угловом розьске для простоты, что ли, называют „фадеем“ [...] — Поехали, — сказал Жур, *залезая в* *фадей*» (П. Нилин, Испытательный срок). Наряду с этим подобные слова могут изменяться и как существительные одушевленные: «9 тысяч лошадиных сил *знали* „Агуара“ сквозь черноту черноморской ночи...» («Комсомольская правда», 9 VI 1977); «За последние сто лет лишь шестнадцать яхтсменам удалось в одиночку *обойти* „Старого людоеда“» («Вокруг света», 1975, 9); «Мы все стояли на берегу и *смотрели* на удаляющегося „Альбатроса“» (И. Варшавский, В атолле); «*На* „Челюскина“ *двигался* нежданно возникший лед» (Э. Крепкель, Мои позывные — РАЕМ).

14. Случай, обратный рассмотренному, — употребление существительных неодушевленных для называния одушевленных предметов. Здесь сильнее словарного значения существительного оказывается его контекстное значение, на что обратил внимание еще М. В. Ломоносов: «...Ежели имена бездушных вещей приложатся к животным, в винительном кончатся на -а; языка *ведут*, то есть *оговоришка*; *посмотри на* *болвана*, то есть *на глупца*; *нашего мешка обманули*»¹⁶.

Слова, употребляемые как клички животных, изменяются по модели одушевленных: позвал Шарика (собаку); Факел *обогнал* Фонаря (коня); Их [собак] стало — стаи. Из именных помню Лапко, Одноглаза и Шоколада (М. Цветаева, Живое о живом). Так же изменяются неодушевленные, примененные к людям: «Кто из старожилы наших стадионов не *помнит* Василия Трофимова? Знаменитого правого *края* московского „Динамо“» («Комсомольская Правда», 9 I 1973); «Этих будущих *звезд* пока не *открыли* местные тренеры» («Правда», 19 III 1979); «Школа *готовит*, как здесь говорят, „белых *воротничков*“, то есть образованных людей, которые способны работать лишь в административных службах» («Правда», 31 VII 1978); «*Ненавижу* синих *чулков!* Никогда бы не женился на ученой...» (А. П. Чехов, Розовый чулок); «Высокие стеклянные двери бесшумно раз-

¹⁶ М. В. Ломоносов, Российская грамматика, § 187, в кн.: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., 7 — Труды по филологии. 1739—1758 гг., М.—Л., 1952, стр. 187.

двинулись, *пропуская Красного Жезла*» (А. Левин, Желтый дракон Цзяо); «Парень хотел бы *привлечь* к себе на грудь — хотя бы в фотографиях — недостижимых для него *звезд* парижского театрального мира» (С. Цвейг, Вчерашний мир); «Касса, бледная, тощая, *держит* на руках голодного сына своего Маленького *Сбора*, и с мольбой глядит на публику» (А. П. Чехов, Кавардак в Риме); «Сколько было попыток *представить* его — этого типичного беззастенчивого хищника, точного *слепка* породившего его общества *наживы* — за некое исчадие ада» (Е. Б. Черняк, Приговор веков).

Ср. изменение существительного в подобной роли по типу неодушевленного: «Ее самолюбию *льстила* мысль, что именно она *создала этот самородок* [Родиона Антоныча]» (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо); «Я лично ни в какие *самородки* не верю. Ну, был, допустим Шаляпин, допустим, самородок» (А. Розен, Прения сторон).

15. Категория одушевленности/неодушевленности занимает особое место в языке. С одной стороны, она охватывает все существительные, имеющие формы множественного числа, а существительные мужского рода на согласный — и в единственном числе. С другой стороны, эта категория, вне сферы действия которой остаются формы единственного числа существительных женского и среднего рода, не находит поддержки в современном языковом сознании. Как писал В. В. Виноградов, в этой категории «языковая техника, отражая предшествующие стадии мышления, не всегда отвечает требованиям современной научной идеологии»¹⁷.

Категориальное значение одушевленности оказывается сильнее значения неодушевленности как при назывании одушевленными существительными неживых предметов, так и при использовании неодушевленных существительных для называния живых предметов. Этот факт свидетельствует об устойчивости самой категории одушевленности/неодушевленности.

Вместе с тем наблюдаются некоторые, хотя еще частные, в значительной мере периферийные, факты, которые указывают на тенденцию к изменениям, приближающим противопоставление «одушевленность — неодушевленность» к современному языковому сознанию.

Основной массив одушевленных существительных — названия живых существ (кроме растений) или существ, представляемых как живые. Это поддерживает тенденцию к замене немотивированного, с точки зрения современного языка, противопоставления «одушевленность — неодушевленность» противопоставлением «название живого предмета — название неживого предмета». При этом под живым предметом, по-видимому, понимается предмет, способный к самостоятельному передвижению, так что растения, как и в противопоставлении «одушевленность — неодушевленность», относятся к неживым предметам. Названная тенденция проявляется в изменении по образцу неодушевленных существительных слов *кукла*, *змея*, названий планет (*наблюдать Юпитер*), к употреблению формы неодушевленности в тех случаях, когда существительное одушевленное служит для названия неживых предметов, и формы одушевленности в обратном случае — при назывании существительным неодушевленным живых существ. Указанная тенденция приводит в настоящее время к колебаниям, к вариантности флексий, но направление изменений, вытекающее из стремления переосмыслить с точки зрения современного языкового сознания уже немотивированные для нашего времени противопоставления, очевидно и в целом однонаправленно.

¹⁷ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 89.

ДЕРЯГИН В. Я.

ОБ ИСТОРИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ АКТОВЫХ ТЕКСТОВ

Деловая речь, по крайней мере до XVIII в., представляла собой самую массовую и демократическую разновидность засвидетельствованной письменно русской речи. Она отражена в разнообразных, сменяющих друг друга во времени видах и разновидностях письменных документов. Данные из памятников деловой письменности в настоящее время широко привлекаются в исследованиях по исторической лексикологии, фонетике, грамматике, в работах историко-диалектологических. Однако история самой русской деловой речи изучена недостаточно, деловые тексты не были предметом историко-стилистического исследования. А это затрудняет, в свою очередь, построение общей теории образования и развития русского литературного языка.

В современных лингвистических исследованиях уже наметилась тенденция к всестороннему или по крайней мере многоаспектному изучению деловых документов. Это вызвано прежде всего оживлением публикаторской деятельности, возникновением и развитием лингвистического источниковедения, ставящего своей задачей изучение источников с целью классификации их по характеру и степени лингвистической содержательности и информативности¹.

Связана указанная тенденция и с общим для современной филологии вниманием к тексту. В рамках различных филологических дисциплин изучается проблема обусловленности отбора и употребления языковых (или изобразительных, стилистических) средств особенностями строения текста, его содержанием, целевой установкой, историческими условиями его возникновения, личностью автора и т. д.² Таково, например, развитие текстологии — от «вспомогательной» науки, занимавшейся «критикой слов», выработкой «филологических приемов» для установления первоначального текста, — к самостоятельной дисциплине, которая «ставит себе целью изучить историю текста памятника на всех этапах его существования в руках у автора и в руках его переписчиков, редакторов, компиляторов, т. е. на всем протяжении пока только изменялся текст памятников»³.

Принцип анализа языка и стиля произведения «как целостного словесно-художественного единства»⁴ признается основополагающим в стилистике и науке о языке художественной литературы. Касаясь проблем истории литературного языка, А. И. Горшков пишет: «При изучении и употреблении языка... тексты выступают не как „языковой материал“, из которого „выводятся“ языковые единицы, а как самостоятельный объект исследования... На основе типологии текстов могут быть выявлены и

¹ С. И. Котков, О предмете лингвистического источниковедения, в сб.: «Источниковедение и история русского языка», М., 1964.

² См.: «Новое в зарубежной лингвистике», VIII, М., 1978.

³ Д. С. Лихачев, Текстология, М.—Л., 1962, стр. 23.

⁴ В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959, стр. 227.

описаны социально и функционально распределенные разновидности (подсистемы, формы существования, стили) языка»⁵.

В деловой письменности вообще, а во владельческих, договорных, денежных и т. п. документах в особенности, отбор и употребление языковых средств в большой мере зависят от содержания документов. Однако в самом содержании выделяется юридическая сторона — только она находится в строгом соответствии с целевой установкой акта, — и разного рода дополнительные, необязательные сведения.

Так как акты являются юридические документы, во-первых, принимается их юридическая классификация. При этом учитывается, что основная целевая установка документа осознавалась его составителями и чаще всего отражалась в его названии, по крайней мере в сложившихся видах документов. Во-вторых, при членении документа на составные части (для композиционно-стилистического анализа) учитывается в первую очередь юридическая сторона содержания. В соответствии с ней определяются понятия *к л а у з у л ы* (часть документа, содержащая отдельно мыслимое и выраженное в акте правовое действие или отношение) и *ф о р м у л ы* (состав и порядок следования клаузул в документе).

В соответствии с определенностью и четкостью правового содержания отдельной клаузулы наблюдается тенденция выразить его в строго регламентированной языковой форме. Так складываются в деловой речи формулы или наборы формул — в «идеально выраженных» клаузулах. В языковом отношении под *ф о р м у л о й* целесообразно понимать устойчивое словосочетание, фразеологизм или синтаксическую структуру (модель предложения) с более или менее постоянным лексическим составом. В отдельных случаях формула может состоять из нескольких предложений, связанных между собой синтаксически и по смыслу.

Функциональный характер формулы, т. е. использование ее для передачи определенного юридического содержания или типической ситуации, важной для делового сообщения, вместе с относительной устойчивостью (регламентированностью) ее языкового выражения, воспроизводимостью ее в текстах документов, — все это делает формулу самым существенным признаком данной функциональной разновидности языка во все периоды ее существования. Формула — основная единица стилистического анализа делового текста. Применение различных обозначений, особенно в работах по современной деловой речи — штамп, клише, трафарет и т. п., — не меняет дела по существу. Эти поиски термина (как будто не совсем лингвистического) лишь указывают на то обстоятельство, что формула является единицей уровня текста, а не синтаксиса или фразеологии. Вместе с тем, формула, подобно любой языковой единице, вполне может быть определена в терминах, применяемых при анализе других уровней: формула-предложение (причем предложение определенного типа), формула-словосочетание, фразеологизм.

В качестве обязательных элементов формул часто выступают термины и терминологические сочетания, имеющие более или менее определенное юридическое содержание. С развитием права и практики делопроизводства меняются и состав терминологии, и семантика отдельных терминов.

⁵ А. И. Горшков, О предмете истории русского литературного языка, ВЯ, 1978, 6, стр. 6.

⁶ «Акты... — документы, в которых в форме определенных юридических норм зафиксированы экономические или политические сделки, договоры между „частными лицами“; „частным“ (юридически или физически) лицом и государством (или церковью); между церковью и государством; между государствами» (С. М. Каштанов, Очерки русской дипломатии, М., 1970, стр. 9). См. также: «Советская историческая энциклопедия», I, М., 1961.

Для истории русской деловой речи большое значение имеет изучение процессов оформления, распада и выхода из употребления формул, их индивидуальное, а возможно, и территориальное варьирование, распространение формул и терминов в различных видах деловой письменности (для истории русского литературного языка в целом — и за ее пределами).

А. А. Шахматов, предпринимая исследование и издание двинских грамот XV в., счел необходимым особую часть своей работы посвятить «составу издаваемых грамот», обратив внимание на их «юридическую сторону». Особо подробно рассмотрен им состав купчих и духовных, причем разделены эти документы на части именно в соответствии с юридическим содержанием. На необходимость отдельно исследовать «формулярные элементы, стилевые трафареты и другие стилеобразующие средства разных видов актов» справедливо указал С. С. Волков⁷.

В отечественной дипломатике методика анализа актов по клаузулам была подробно разработана А. С. Лаппо-Данилевским и его школой. По мнению В. И. Веретенникова, «практическое расчленение какого-либо данного акта, выделение из его состава отдельных клаузул должно базироваться прежде всего на точном понимании текста акта, на его грамматическом строе». Расчленение акта на клаузулы, основанное «на грамматическом строе текста», приводит историка и юриста к установлению формуляра акта, который «можно определить как порядковый перечень клаузул, входящих в данный акт, с точным обобщенным указанием их содержания». Затем из формуляров отдельных актов выводится «общий, идеальный формуляр акта данного наименования»⁸; конечная цель — историческая или юридическая классификация актов.

Метод членения акта на статьи, сложной статьи еще на предложения и далее — на обороты, элементы и характеристики С. М. Каштанов называет «грамматико-дипломатическим». Однако все указанные им составляющие дипломатической «схемы» не являются единицами лингвистическими, единицами синтаксиса, лексики, так как «деление текста на статьи и ее более мелкие подразделения — результат интерпретации акта, т. е. толкования его буквального смысла, грамматической и дипломатической структуры». При сопоставлении документов и историческом их изучении «грамматико-дипломатический метод» сочетается с «методом юридического членения текста по его содержанию» (последний использован А. А. Зиминим в исследовании жалованных грамот)⁹. Цель дипломатического анализа состоит в том, чтобы «добыть из актовых источников фактическую основу для исторических построений разных планов — подготовить источник к использованию в исторических целях»¹⁰.

Отграничивая понятия и термины лингвистические от понятий и терминов собственно дипломатических, лингвист не может не использовать последних в историко-стилистическом исследовании актовых текстов, как и историк не может обойтись на начальном этапе дипломатического анализа без обращения к языку источника и использования при этом лингвистических понятий и терминов. Но историк, начиная анализ текста с толкования его «смысла» и «грамматической структуры», выводит из этого толкования дипломатическую (логическую по своей природе) схему доку-

⁷ С. С. Волков, Лексика русских челобитных XVII века, [Л.], 1974, стр. 10.

⁸ В. И. Веретенников, К вопросу о методах изучения древнерусских частноправовых актов, «Сборник статей в честь А. С. Лаппо-Данилевского», Пг., 1916, стр. 10—12; см. также: А. С. Лаппо-Данилевский, Очерк русской дипломатии частных актов, Пг., 1920, стр. 135 и сл.

⁹ С. М. Каштанов, указ. соч., стр. 26—46; см. также: А. А. Зимин, Очерки по истории феодального землевладения и хозяйства Московского государства. КД, М., 1947.

¹⁰ С. М. Каштанов, указ. соч., стр. 11.

мента. Лингвист, имеющий дело с тем же текстом, с помощью дипломатической (логической) схемы документа исследует стилистические особенности текста, его синтаксическое строение, семантику фразеологизмов и отдельных слов.

Специалисты по дипломатике, исследующие частнопрововые акты, отмечают постоянное варьирование формуляра и его частей в связи с индивидуальными особенностями отдельных сделок, а также под влиянием исторических и территориальных изменений в самом средневековом русском праве. Часты, например, случаи объединения, иногда довольно причудливого смещения в одном документе формуляров и, соответственно, клаузул, обычно принадлежащих разным видам документов, случаи закладных-купчих, отступных-купчих, данных-купчих и т. п.: «в ряде случаев почти совершенно стирается грань между купчей и данной»¹¹. Варьирование юридического и разнообразие общего содержания документов отражается в их языке. Особенно отчетливо это обнаруживается при историческом рассмотрении текстов. В процессе развития деловой письменности стабилизация формуляра акта ведет обычно к формализации языка соответствующего вида документов; оформление той или иной клаузулы в правовом отношении, как правило, сопровождается кристаллизацией соответствующей языковой формулы или определенного их набора. Контаминация документов, различных по целевым установкам, «свертывание» и объединение клаузул в таких текстах выливается в синтаксическое и лексическое преобразование формул.

На крайнем русском Севере традиция составления документов, оформляющих акт купли — продажи, может быть прослежена на протяжении трех столетий¹². От XV до конца XVII в. произошли значительные изменения в формуляре документа, появились, в частности, новые клаузулы, изменилось содержание некоторых клаузул, представленных и в ранних актах. Не оставался неизменным состав языковых средств, с помощью которого передавалось основное юридическое содержание акта; менялись принципы построения текста.

В целом синтаксический строй купчей XV в., по сравнению с купчими XVI — XVII вв., характеризуется меньшей расчлененностью. Клаузуле в тексте XV в. чаще соответствует одна формула, границы предложения соответствуют и границам клаузулы. Тексты XV в. отличает меньшее разнообразие типов предложений: преобладают двусоставные простые предложения, почти не представлены инфинитивные конструкции (кроме IV клаузулы), в значительной части текстов вообще отсутствуют сложноподчиненные предложения с союзами, редки бессоюзные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными.

В XVI в. происходят основные изменения в юридическом содержании и в формуляре купчей. В это время усложняется синтаксическое строение текста. Синтаксически расчлененные части текста, клаузулы, состоят из

¹¹ Л. В. Черепнин, Русские феодальные архивы XIV—XV веков, ч. 2, М., 1951, стр. 67.

¹² Здесь представлены некоторые результаты анализа текстов купчих местного происхождения по публикациям: А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., СПб., 1903 (далее в тексте — Ш.); М. Сибирцев и А. А. Шахматов, Еще несколько двинских грамот XV в., СПб., 1909 (далее — Ш.); Сборник грамот Коллегии Экономии, I — Пг., 1922, II — Л., 1929 (далее — С — I и С — II) и по рукописным документам из фондов Государственного архива Архангельской области (ГААО).

При цитате из опубликованного документа указаны его номер и дата, при цитате из рукописи — номера фонда, описи, дела и дата.

В качестве отирающей точки анализа принята схема деления купчих на части, предложенная А. А. Шахматовым.

нескольких предложений-формул; расширяются возможности гипотаксиса и паратаксиса, увеличивается число типов предложений, представленных в каждом отдельном тексте; появляются повторы формул в разных клаузулах — дословные и перефразированные. В первой половине XVI в. вновь появляющиеся формулы имеют наибольшее число вариантов на синтаксическом и лексическом уровнях. В это же время происходят основные изменения в составе терминов. К концу XVI в. синтаксическое строение и лексический состав формул в основном стабилизируются; сложился к этому времени и основной их набор, в XVII в. новые формулы почти не появляются.

Тексты купчих последней четверти XVI и первой четверти XVII в. содержат наибольшее число повторов в разных клаузулах документа отдельных терминов, формул — словосочетаний и предложений. Варьирование в основном касается сокращения или контаминации сложившихся формул. В течение XVII в. происходит постепенное сокращение объемов и упрощение текстов, заметна их унификация.

Г клаузула купчей содержит обязательные сведения о покупателе (далее в формулах и при цитировании — Н), продавце (НН), факте заключения сделки и объекте. К числу сведений необязательных относятся: указания на способ приобретения продавцом объекта у прежнего владельца, уточнение объема охватываемого сделкой объекта, сообщение имен совладельцев и некот. др.

Начальная (диспозитивная) формула могла заключать в себе все обязательные сведения клаузулы. В документах XV в. о покупке сообщается от третьего лица: Се купи игуменъ Василей и Родивонъ старечъ и вси церньци никольскийи село на Лукини береги за озеромъ оу Григорь(та) оу Иванова сна дворъ и двориче (Ш.1). В первой половине XVI в. формула изменяется: во-первых, наблюдается переход к изложению от первого лица, во-вторых, глагол *купить* постепенно заменяется глаголом *продать*. С середины XVI в. в формуле применяется глагол *отступиться*. Динамика изменений формулы представлена в таблице:

	XV в.	1501— 1525	1526— 1550	1551— 1575	1576— 1600	1601— 1625	1626— 1650	1651— 1675	1676— 1700
Се купи Н у НН-а...*	83	4	1	—	—	—	—	—	—
Се продаша НН [землю] Н-у...	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Се яз Н купил есмь у НН-а...*	—	2	18	—	—	—	—	—	—
Се яз НН продал есмь Н-у...*	1**	1	17	24	94	70	36	11	2
Се яз НН отступилс я есмь Н-у...*	—	—	1	4	3	2	1	—	—
Се яз НН продал есмь и отступилс я Н-у...*	—	—	—	1	5	17	13	9	3
Общее количество документов	85	7	37	30***	102	90***	50	20	5

* Прямое дополнение (название объекта) чаще занимает место после косвенного: только в 9 купчих XV в. общее краткое название (село, участок земли) следует непосредственно за подлежащим, а косвенное стоит после него. В текстах XVI—XVII вв. порядок следования косвенного дополнения подчиняется общей тенденции к расчленению сообщения: имя покупателя сообщаетс я часто в отдельном предложении.

** Единственный документ XV в., писанный по новой форме, датирован: С — I. 42, 1498—99.

*** Есть рукописи с дефектным началом.

Изменения в начальной формуле следует рассматривать вместе с другими новшествами, входившими в практику оформления акта купли — продажи, влиявшими на общие принципы построения текста. «В XVI в., — писал А. А. Зимин, — купчие обычно составлялись от имени продавца, а не покупателя (как было в XIV—XV вв.), тем самым их юридическая сила увеличивалась»¹³. Между тем, двинские купчие XV в. составлялись не от имени покупателя, а от третьего лица. На это особо обратил внимание А. А. Шахматов, указавший все случаи употребления в текстах форм первого лица: «Только в №№ 46 и 92 во второй части этих купчих речь ведется от первого лица: а даль есми, а даль еми и ниже даль есми и еще ниже: а то купья моа чиста; в № 62: а даль азъ. Кроме того в № 22 читаем от имени покупщика: а ѿ торговли докладываль есмь Гаврила дыака очица (т. е. родственника продавца) и велѣд ми купити; но ниже речь опять в 3-м лице: и даль игумень василей... В № 57 также в середине купчей: а купилъ а вилизъ собѣ і своимъ дѣтамъ. В № 97 в середине купчей читаем „тестъ нашъ“»¹⁴. Колебания в употреблении форм третьего и первого лица наблюдаются и в других документах XV в. Например, в закладных: Се заложу НН Н-у... полсела... и старую грамоту той земли НН выдалъ (Ш.15); Се заложу НН... сѣло зѣмли... Н-у, но далее — вziali есма ... а заложили есма на .е. год... а заложили есма и с купною грамотою... (Ш.98); Се а НН... вziali есма собѣ у П-а... а в тѣхъ кунахъ заложили есма ... (Ш. 99); Се тазъ НН... занял есмь у Н-а... а в томъ есма емѣ заложили, но далее — а не поставит кѣнъ на срокъ... (СШ. 135, 1497; то же: СШ. 134). «Раздельные» (Ш. 69 и 113) писаны от третьего лица, «деловые» (СШ. 132 и 133) — от первого лица.

В. В. Виноградов отмечал, что «формы так называемого 3-го лица глагола существенно отличаются от форм 1-го и 2-го лица»; в «функциональном обособлении формы 3-го лица сказываются своеобразия ее исторической судьбы и происхождения»¹⁵. Следует учитывать, что в начальной формуле купчих XV в. использована устаревшая к этому времени форма третьего лица ед. числа аориста, утратившего категорию числа¹⁶; эти омертвевшие формы выдвинуты в начало предложений во всех формулах (*Се купи... а да... а купи вдернь...*). Все это способствует объективизации изложения, в чем состоит основная стилистическая характеристика текстов ранних двинских купчих.

На рубеже XV—XVI вв. произошла не «перемена лиц», от имени которых составлялась купчая, с этого времени началось активное участие контрагентов в самом процессе составления документов. Усиление личностного момента отразилось на всем составе языковых средств и характере их употребления. Особенно показательны в этом отношении документы переходного периода.

Из 25 купчих первой половины XVI в., имеющих в начальной формуле глагол *купить* (в формах 3-го или 1-го лица), 8 документов содержат и формулу с глаголом *продать* (обязательно в 1-м лице). В них по существу две первых клаузулы: одна писана от имени покупателя, другая — от имени продавца. Например: Се тазъ Н купил есми у НН-а полпожни... и тазъ НН свою половинѣ Н-у продал; в этом документе II клаузула писана от имени продавца: а взал есми НН на той полѣпожни у Н-а...; III и IV клаузулы — от третьего лица: а кѣпи Н ту полпожни себе и своимъ детямъ безъ выкѣпа а в оцѣщени и в отвѣде той полѣпожни Н [и его] детямъ НН; но далее, в конце документа, перед конечным протоколом, опять от имени продав-

¹³ «Памятники русского права», IV, М., 1956, стр. 82.

¹⁴ А. А. Шахматов, указ. соч., ч. I, стр. 21 (примеч.).

¹⁵ В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 453, 455; 474.

¹⁶ А. А. Шахматов, указ. соч., ч. I, стр. 118, 133.

ца: а продал есми НН тѣ полпожни и с притеребы и со всеми ѿгоды (С — I.56, 1524); Се кѹпи Н ѿ НН-а полпожни...; но здесь же — и из НН свою полови́ну продал тое пожни Н-у; далее все изложение от третьего лица (С—I.82, 1538); за краткой начальной формулой — Се из Н купил есми себѣ и своимъ дѣтемъ ѿ НН-а в двѣхъ дреняхъ шестью долю что НН купил ѿ ННН-а— следует более подробная часть с перечнем угодий, построек, рядом формул-словосочетаний: и аз НН своеи кѹпли продал полови́ну Н-у... [ГААО, 57—2, I.56 (6), 1544].

Таким образом, в купчих этого периода происходит внутреннее «раздвоение» документа: текст, писанный сначала от имени покупателя, затем кратко или полностью повторяется от имени продавца. Причем повторяются порой не только I, но и II клаузулы: Се из Н... кѹпили есма ѿ НН-а... полови́ну вотчины его владена... а дали есма из Н... на том... а из НН продал полови́ну своего владѣнья... да денги взял есми вси (С — I.84, 1539; см. там же 121, 1544 и 123, 1549). Внутреннее раздвоение документа было своеобразным следствием и отражением возникшей в начале XVI в. практики составления двух документов, фиксирующих одну и ту же сделку,— купчей и отводной.

На начальную формулу купчей повлияла начальная формула отступной (посильной), особого документа, появившегося в XVI в. на Севере¹⁷. Самая ранняя из этих купчих имеет формулу: Се яз НН... отступилися есми из доброи воли...; но заканчивается клаузула словами: продал есми Н-у — при этом вся клаузула составляет единое синтаксическое целое (ГААО, 1408—1.1 А, 1533—34). В последней четверти XVI и в XVII в. формула *Се яз НН продал есми и отступился (отступился есми и продал)*, часто с оборотом *из доброй воли (из доброй воли добровольно)*, становится обычной начальной формулой купчих.

Можно полагать, что усилением личностного момента, активизацией роли контрагентов в процессе составления документа объясняются, по крайней мере первоначально, повторы основного сказуемого клаузулы. Для XV в. можно указать всего лишь один случай повтора сказуемого *купил* в пределах I клаузулы — в связи с раздельным упоминанием о продавцах: Се купил Н ѿ Панькратов сна да и ѿ его братене купил... Участокъ води (Ш.92). Примечательно, что именно в этом документе А. А. Шахматов отметил формы первого лица, и здесь же наблюдаем повтор основного сказуемого II клаузулы: а даль еми на томъ... да и пополка даль есми.

Даже весьма обширные перечни угодий, построек и других частей отчуждаемого объекта, перечни различных объектов в купчих XV в. выражены синтаксически рядом однородных прямых дополнений без союзов или с союзами *да, и, да и, а*, например: Се купи Н оу НН-а землю на горѣ въ верхнемъ полѣ середнаѣ полоса оу воротъ на Круглицы четвѣрть в ощемъ поли подлѣ оулицю полоса на Юрмолѣ высокаѣ веретѣ над озеромъ перед овиномъ доскуть промежу Онисимовою землею и Филиповою на Плоскомъ доскуть промежу Фроловою землею и Филиповою а пожна и веретѣика орамат промежу Селькиною землею и Филиповою а за глубокимъ врагомъ доскуть земли на .Д. пузы промежу Онисимовою землею и Филиповою (Ш. 3).

В документах XVI в. обычными становятся повторы сказуемых *купил есми, продал есми*. Начальная формула расчленяется синтаксически, увеличивается число самостоятельных предложений — двусоставных, определенно-личных, неполных. Часто предложения небольшие, сказуемое в них бывает вынесено в конец. Все это придает изложению более пове-

¹⁷ См.: «Памятники русского права», IV, стр. 85.

ствовательный характер, иногда оно приобретает интонацию устного высказывания: Се из Н купил есми 8 НН-а в Повракулт Никитворовской деревни четверть... да четверть двора и дворища орамых земель и пожен и притереповъ и рыбных ловиц полѣших лесов и всѣх угодеи... да купил из же Н 8 того ж 8 НН-а в Повракулт Гризновъской деревни четверть... и менные земли в той деревни четверть и въ дворѣ и въ дворищи и орамых земель и пожен и притеребов... и против Повракульской кѣрьи серед Солмбалѣ рекѣ островов орамые земли и притеребы и с присадам и в том островки кѣпил есми четверть НН-ова владѣнья половину кѣпил есми тое деревни олексеѣвской... а ѿ 8сть Юроса пожна в верхней конец до Черной кѣрьи и из кѣпил в той пожни половиноу... да кѣпил из же Н 8 того ж 8 НН-а что НН кѣпил 8... и из Н кѣпил в НН-овѣ кѣпли НН-овѣ половиноу... половиноу... да кѣпил из же Н 8 НН-а мѣной земли половиноу... и из НН продал есми того своего владѣнья половиноу... а кѣпил есми тѣ земли з дворы и з дворищами... кѣпил есми всего НН-ова владѣна половиноу в Повракулт и на Кундараидѣ (С—I. 74, 1535). Такое расчленение заключенного в клаузуле сообщения становится обязательным не только для обширных, но и для кратких текстов, и этот принцип изложения сохраняется до конца XVII в.

На протяжении XV в. в пределах I клаузулы складывается формула описания границ земельных владений (межевая формула).

В небольшой части двинских купчих XV в. нет указаний на границы земельного участка. В некоторых документах, по-видимому, наиболее ранних, границы описаны подробно, однако особая формула при этом не применяется. Так, в текстах, отнесенных А. А. Шахматовым к концу XIV — началу XV в.: Се купи... поль полча высокого з березы на камень да до ручея... наволокъ ѿ ручея на иву с ьви на беръзовой пень по болоту да на врагъ по врагу къзеру (Ш.27); Се купи... наволокъ землю и воду... и всакии оугоды ѿ Тоинокурьи и до Кудмы (Ш.105).

К переходным случаям можно отнести некоторые описания меж, выделенные в самостоятельное неполное предложение, например: Се купи... полоску земли на носу промежу землями Щербаковою і Онисимовою ѿ стѣнного огорода до Мундорови земли межа (Ш.21).

В окончательно сложившемся виде межевая формула — неполное предложение с устойчивым порядком слов, — кроме слова *межа*, обязательно содержит косвенное дополнение — название объекта: а межа тое земли с верхнего конца до Назарови земли с нижнего конца до Ерѣмѣеви земли межа (Ш.18); а межа той земли по Семенову межу а з другую сторону по Сменову же межу (Ш.35); а межа тѣм селамъ от Двинки Заостровчи да через веретею да посереди лывы да через поланку да на ручей Бывалцевъ да в Лѣшину курью впрямъ (Ш.56, то же еще в 17 купчих XV в.). Варианты формулы: полполца орамой земли а межа с Лукерьи землю Петрови жони и с Фатѣвою землю и пакутином землю и з другомъ мѣстѣ полполца орамици а в межахъ с Григоровою землю и с Лукерьиною землю (Ш.19). Особый вариант — ссылка на старые межи: Се купи... на Самари поле... а межи по стариемъ мѣжамъ Антипинское поле и с притьрьбьмъ а межи по старимъ межамъ (Ш.95).

В документах XVI—XVII вв. межевая формула обязательно выделена в самостоятельное предложение или представляет собой цепочку предложений. При этом от XV к концу XVII в. она развивается в направлении к все большей и большей унификации. Ее вариант, наиболее употребительный в XV в., — а межа той земли... — позволял использовать самые разнообразные обстоятельственные предложные конструкции (от... до, по с дат. и с вин. пад., в, к, на, через, с и др.). Вариант а в межахъ та земля с..., распространившийся в XVI и абсолютно преобладаю-

щий в XVII в., в этом отношении более стандартен: а в межах тот лоскът земли з Гавриловым двором Плешкова посторон и по концѹ а по дрѹгомѹ концѹ с Кириловыми детми в межах ѿ Юрмолских ворот а по дрѹ[гу]ю сторону по старой межи (С—I.65, 1529); а в межах то поле с Ондрѣмъ Губинымъ да с Сивкомъ, а з другую с нижню сто[ро]ну с Кузьмою Дмитриевымъ (С—I.395, 1604). Стандартный вариант оказался наиболее подходящим для городских документов — купчих на дворы и лавки в Холмогорах, Архангельске и других городских поселениях. Круг лексикки, используемый в межевой формуле этих купчих, чрезвычайно ограничен, ср.: а в межах та лавка з Заворохою с Мартемияновымъ, а з другую сторону переулочъ (С—I.287, 1585)¹⁸.

В пределах I клаузулы можно указать также ряд формул — словосочетаний и придаточных предложений (в основном определительных). Например, с XV в. активно употребляются формулы с термином *без вывета* (позднее — *без вывода*), формула *и со всеми угоды* (в городских купчих — *и со всеми хоромы*). Большая часть формул — придаточных предложений складывается в XVI в., при этом особая роль в изменении текста купчей принадлежит формулам, содержащим ссылки на предшествующие сделки и соответствующие документы. В купчих XV в. таких ссылок почти нет, а к середине XVI в. уже сложились стандартные формулы — придаточное определительное с союзом *что*, относящееся обычно к дополнению, названию объекта, или к предложным сочетаниям с опорным словом — названием акта (*купля*) или документа (*купчая, дельная* и т. п.): Се из Пимин Степанов снъ Патѹтин Истома кѹпил есми... з Терентея з Иванова сна Левкова в двѹх дръвах шестѹю долю что Терентей Иванов снъ кѹпил з Климентея з Зеновева сна з Глазанова [ГААО, 57—2,1.51(6), 1544]; Се из... старец Симаи продал есми вдовѣ Аниси... избу... и з дворщем... что мнѣ заложил тое избу и дворще Ждан Филимонов снъ Первог кузнеца¹⁹ (1599); ...продали есми... статки ѿца своег по старой купчей... и по закладной что наш ѿц Мартемий купил у Федора Семенова сна Кологривова [ГААО, 57—2,1.60(1), 1605]. В текстах купчих XVII в. все большее место отводится ссылкам на предшествующие сделки и описаниям старых документов. Часто сокращается описание продаваемого объекта, подробные перечни земельных угодий, построек и т. п. заменяются перечнями документов. К этому следует добавить, что с середины XVI в. в состав купчих входит особая клаузула (VII), содержащая указание на местонахождение документов после совершения сделки. Ср. в последней из цитированных купчих (1605): да и старые мы купчие закладную что Стеван Иванов снъ заимовал у Григоря Кологривова а заложил пожно цщенину владене деда своег якова Клементьева да ѿца своег Ивана да купчую что купил Григорей Иванов снъ Кологривов у Юри Михаилова сна Попова заломаева трет пожин на Кудмѣ реки в Орлих ѿдали игумену Сергию и з братею а прежнюю старую купчую что ѿц наш Мартемий купил пожин на Кудме реки в Гришневь слободы у Федора Семенова сна Кологривова взяли из Григорей [и др.] взяли собѣ для иных земных покупок и понадобитца та купчая игумену Сергию и братии и та нам купчая класти безденежно и безубыточно. Составляющие эту клаузулу формулы повторяются в десятках купчих XVII в.

II клаузула купчей содержит сообщение об оплате покупки. В XV в. применяется стандартная формула — сложносочиненное предложение,

¹⁸ См. в девяти купчих на одно домовладение в Холмогорах: В. Я. Д е р я г и н, Лексико-семантический анализ группы деловых текстов, в кн.: «Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания», М., 1974, стр. 206 и сл.

¹⁹ Там же, стр. 212.

состоящее из двусоставного (или неполного, с пропуском подлежащего) и неполного (с пропуском обоих главных членов) предложений: и дали на всемъ на томъ сели Н... НН-у пать сороковъ бѣлки а попонка корову (Ш.1); а да на той пожни е сьроковъ бѣл безъ и. бѣл а кура попольнка (Ш.36). В XV в. упоминание *пополонка* осознавалось обязательной частью купчих. На это обратил внимание А. А. Шахматов, указавший, что из 10 документов, не содержащих такого упоминания, пять «объединяются именем покупателя» (58—62), два — поздние копии (66, 71).

В течение XVI в. состав языковых средств в этой части купчих меняется существенным образом. Переход к изложению от первого лица здесь происходит быстрее, чем в I клаузуле; по-видимому, стремление писцов следовать традиции, старым образцам, отчетливее проявилось в зачине документа, в начальной формуле, ср.: Се купи Н у НН-а... треть деревни, но — а дал есма им на той земли... (ГААО, 57—2,1.4, 1519). Объем клаузулы часто расширяется за счет повторения перечня угодий, а также за счет формул, уже употребленных или обычно употребляемых в I клаузуле: а даль есми НН-у на той земли в Пехъверете и на кѣтѣ и с лѣсом и сь закраинами и со всѣми угодьи што в томъ кѣтѣ потанеть к томуу кѣтоу по межим што в сеи кѣпчей писано даль есми рубль денегъ московской да пать алтын да двѣ денги... а пополонка даль есми на той земли и на оугодьях тое же земли пѣзь ржи гостинь (С—1.53, 1523). Обычно для этого времени неоднократное повторение основного сказуемого клаузулы *дал*, затем *взял (есми)*.

Термин *пополонка* активно употребляется только до середины XVI в.: в первой четверти века он употреблен в 5 купчих (из 7), во второй — в 27 (из 37), в третьей — в 3 (из 30), в четвертой — в 1 (из 102). Последний случай: А взялъ есмя я НН у Н-а на томъ своемъ на всѣмъ владеньи, что в сеи купчей писано, на всѣмъ есмя взялъ казенныхъ монастырскихъ денегъ восемь рублевъ денегъ московскимъ числомъ, все вручь без останка и с пополонкомъ (С — 1.400, 1606). Здесь упоминание о *пополонке* уже просто традиционно. Варианты термина — *дополонок* и *подеренок*: а дополонка взял есми десѣт пузов ржи (С — 1.58, 1526); в одном и том же документе, сначала от имени покупателя, затем от имени продавца: а пополонка два пѣзы жита... да два пѣза жита подѣренка (С — 1.84, 1539).

Комментируя текст купчей XV в., А. А. Зимин и А. Г. Поляков определяют значение термина следующим образом: «А дал есмь на тех землях пятнадцать рублев да попольнка корову. Попольнка — дополнение. Упоминание о попольнке показывает, что при совершении акта купли — продажи сохраняли свою силу архаические пережитки того времени, когда вместо купли — продажи существовал лишь акт мены. Добавляемая к покупной сумме в качестве «попольнка» корова и является данью архаическим пережиткам»²⁰. Ср. также: «Попольнокъ... — придача, дополнение при покупке, при совершении купчей»²¹. Однако применение слова *подеренок* в качестве замены слова *пополонка* может служить свидетельством тому, что последний, по крайней мере в XVI в., обозначалась часть платы, необходимая для полноты суммы; ср.: значение слова *дернь* «полная, безусловная собственность»; *грамота дерная, купчая дерная*²².

Примечательно, что среди формул, вошедших в употребление в середине XVI в., находим в составе II клаузулы формулы с наречием *сполна*. Первоначально в одном и том же тексте: а пополонка взял есми Ѵ нѣх пѣт

²⁰ «Памятники русского права», III, М., 1955, стр. 64.

²¹ И. И. Резневский, Материалы для Словаря древнерусского языка, II., СПб., 1895, стлб. 1202.

²² «Словарь русского языка XI—XVII вв.», 4, М., 1977, стр. 230.

пѣзов ржи а те есми денги взал из НН все сполна у Н-а и с пополонком (С — I.133, 1550—51) — следует учитывать, что тавтологические повторы были в целом свойственны стилю купчих этого периода. Ср.: А взяль есми язъ НН у Н-а тѣхъ на обейхъ польцехъ полтретья рубли денегъ московскимъ числомъ, всѣ денги сполна (С — I.148, 1556). Другие формулы — словосочетания и самостоятельные предложения, вошедшие в употребление в течение XVI в. и постепенно заменявшие упоминание о *полонке*: А взяли есмя у нихъ на той вотчине шестьдесятъ рублевъ денегъ московскихъ все вручь сполна (С — I.218, 1577); а всал есми аз НН у Н-а на томъ своемъ полудворе шестьдесятъ алтынъ все вруч напередъ безъ останка (ГААО, 191—3.8, 1577); А взяль есми у Н-а на техъ пожняхъ пять рублевъ и шестнатцать алтынъ две денги, а денги взяль всѣ вручь безъ останка (С — I.365, 1598).

Термин *вручь* становится обязательным вскоре после своего появления в купчих середины XVI в. Наиболее точное определение его: «Вручь, нар. Стар. С получением денег в руки; за наличные деньги»²³. Ср. противопоставление *вручь* — *достальные (остальные) денги*, в данном случае, идущие на выкуп закладной: а цены есми из продавецъ НН на той своей продаж... и на згодяхъ него старосты ъ Н-а... взяла троѣцкихъ казенныхъ дватца... одинъ рубль денегъ московскимъ числомъ ходячихъ а вручь из продавецъ НН ъ него старосты [Н-а] денегъ взяла семнатцать рублевъ ъ сего купчие а достальными моими денгами четырьмя рублями ему старосте выкупитъ къ печищу сеной покосъ закладная тое Ермолинскою деревни в Троецкомъ острову что закладная ъ Стеана Петрова моихъ НН-ыхъ саимовъ в четырехъ рублехъ что ему Стеану заложена пожня в Соеронихе нижняя веревка да в другомъ мѣсте поженка в Нюмскомъ и та закладная выкупитъ емѣ старосте мимо меня продавца тѣми остальными моими денгами [ГААО, 1408—1.114(1), 1670].

Термин *цена* постоянно употребляется в основной формуле II клаузулы в купчих XVII в. Однако типичная для XVII в. форма словосочетания *а цены взял есми...* сложилась не сразу. Первые случаи применения термина в клаузуле не связаны непосредственно с основной формулой: А цѣна тому двору и дворищемъ и с пожнею четыренацать рублевъ. И язъ у старцевъ взяль себе на посиле пять рублевъ денегъ, а десяти рублевъ отступился есми Спасу и чудотворцу Дмитрею за вкладъ, чтобъ пожаловали, за тотъ вкладъ меня постригли (С—I.209, 1576 — пример купчей-вкладной); А взяли шесть алтынъ и две денги; да что три гряды вновь припахали к тому двору, а цена имъ гривна. И сверхъ того во всемъ половина в дворе, и в черне и в беле. А взяли есми на томъ полудворе цетьре рубли (С—I.257, 1582). Позднее термин входит в формулу: А цены есми язъ НН взяль на той продаже цетьдесять рублевъ... (С—I.370, 1599). В документе с повтором II клаузулы: А цены есми язъ НН у Н-а взяль на тое своей половине деревеньки девятнатцать рублевъ денегъ в московское число, всѣ вручь безъ останка. А язъ Н тое половину деревеньки у НН-а купилъ себе и своимъ детямъ и цену далъ, денги все вручь безъ останка (С—I.429, 1612).

Приведенных здесь примеров должно быть достаточно для того, чтобы поколебать довольно распространенное среди историков русского языка представление о неизменности формы традиционных актовых текстов, о «шаблонности» языка актов. Шаблоны здесь имеются — это формулы и термины деловой речи, приемы введения их в текст и сочетания, — но устойчивость этих шаблонов относительна в каждый данный момент развития деловой речи, а со временем актовые тексты претерпевают значительные изменения.

²³ «Словарь церковнославянского и русского языка», I, СПб., 1847, стр. 173.

АРБАТСКИЙ Д. П.

О ЛЕКСИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Выявление специфики лексического значения, способов языкового выражения семантической информации — основная проблема изучения деепричастий и деепричастных образований. От того или иного решения этой проблемы непосредственно зависит оценка познавательной роли деепричастий и их места в лексико-грамматической системе языка.

В отличие от других частей речи деепричастия обладают двойкой синтагматической связью и объединяют в себе весьма различные аспекты значения. С одной стороны, они подобно наречиям присоединяются к глаголам и обозначают разного рода обстоятельство, с другой — как и глаголы сохраняют связь с подлежащим (действующим лицом) и обозначают действия, движения, состояния. В исследованиях эти аспекты — обстоятельность и процессуальность — рассматриваются часто как различные значения. При характеристике деепричастия как лексико-грамматической группы слов фиксируется обычно лишь глагольное значение — дополнительное второстепенное действие¹. При анализе же их синтаксической роли указываются наречные значения — образ действия, условие, время, причина, уступка². Такой анализ неизбежно ведет к отождествлению лексического значения деепричастий со значением глаголов или наречий, к включению их в состав данных категорий. Между тем деепричастия обычно не повторяют значения глаголов или наречий, они выражают особый смысл, особое содержание, обусловленное их двойкой синтагматической связью.

В объективном мире существует промежуточная область между процессуальностью и обстоятельностью. Специфика ее в том, что реальные процессы, действия, состояния являются нередко одновременно причиной, условием, следствием или иным обстоятельством другого события, и наоборот, обстоятельность оказывается по своей природе процессуальной. Эта область процессуальной обстоятельности или обстоятельности процессуальности и является функционально-семантическим полем деепричастий. Ср.: *лягая железом* (образ действия), *подъезжая к вокзалу* (место движения), *стремясь скрыться* (операциональная цель) и др. Близость к значению глагола или наречия не означает тождества. Это особое деепричастное лексическое значение, не передаваемое адекватно ни глаголом, ни наречием, требует более углубленного изучения.

При традиционном анализе лексического значения деепричастий и их грамматических свойств исходят обычно из предположения о том, что степень глагольности (или наречности) у всех деепричастий одинакова. Одни авторы видят в деепричастиях неизменяемую глагольную форму,

¹ «Грамматика русского языка», I, М., 1960, стр. 510; О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 125.

² См.: Л. А. Д е р и б а с, Деепричастные конструкции в роли обстоятельств, «Р. яз. в шк.», 4, 1953; Д. Э. Р о з е н т а л ь, М. А. Т е л е н к о в а, Справочник лингвистических терминов, М., 1972, стр. 81—82.

выступающую в роли второстепенного сказуемого. Их назначение состоит лишь в том, чтобы представить глагольный признак как признак другого глагола³. «Настоящим деепричастием называем только такое деепричастие, — указывает А. А. Шахматов, — которое употребляется в форме второстепенного (или диалектно) также и главного сказуемого»⁴. Те деепричастия или деепричастные обороты, которые приобретают яркие обстоятельственные значения, например, *молча, сидя, стоя, спустя рукава, повеся нос* и под., зачисляются в класс наречия или «наречных образований». Другие авторы полагают, что деепричастия отнюдь не являются глагольными формами⁵, что они в равной мере сочетают в себе глагольное и обстоятельственное значение. А. М. Пешковский утверждал, что деепричастие — это гибридная часть речи, которая в одинаковой мере выражает свойства глагола и наречия⁶. Аналогичной точки зрения придерживался В. В. Виноградов, который практически объединял деепричастия в одну категорию с наречиями⁷. Третьи авторы усматривали в деепричастиях особый тип отглагольного наречия (Ф. И. Буслаев, Д. Н. Кудрявский, В. А. Богородицкий, П. С. Кузнецов и др.)⁸. Эти различные взгляды расцениваются обычно как взаимоисключающие, между тем они лишь дополняют друг друга, ибо каждый из них содержит в себе известную долю истины. Все дело в том, что процессуальная обстоятельность — это весьма широкая категория, которая включает в себя различные степени проявления глагольности и обстоятельности. У одних деепричастий аспект глагольности явно превалирует над адвербиальностью, такие процессуально-обстоятельные деепричастия употребляются обычно в составе деепричастных оборотов, например: «Мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб полотенцем» (М. Горький, *Мать*). У других деепричастий в более или менее равной мере сочетаются элементы глагольности и наречности, ср.: «По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, закинув над головой руки» (М. Шолохов, *Тихий Дон*). Третьи деепричастия, часто одиночные, обозначают признак, в котором обстоятельность превалирует над глагольностью, например: *идти шатаясь, разговаривать сидя, сидеть облокотившись* и др. Все эти типы порождены характером обозначаемых явлений и отражают разновидности единого процессуально-обстоятельного значения, поэтому несмотря на отмеченные различия они составляют единую лексико-семантическую категорию. Искусственное ограничение диапазона обстоятельно-процессуального значения деепричастий отнюдь не способствует раскрытию их места в лексико-семантической системе языка.

Деепричастия, как и другие части речи, могут переходить в иные лексико-грамматические категории, например, в наречия (адвербиализация): *зря, загодя, стремглав* и др., а также в предлоги (прономинализация): *благодаря, спустя, начиная* и др. Однако это бывает лишь при условии полной утраты глагольного значения. Наличие различных степеней процессуальности (или наречности) не нарушает единства деепричастного значения.

³ См.: «Грамматика современного русского литературного языка» (далее — Гр. 70), М., 1970, стр. 421.

⁴ А. А. Шахматов, Из трудов по русскому языку, М., 1952, стр. 85.

⁵ См.: И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 268.

⁶ См.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 128.

⁷ См.: В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 384—392.

⁸ См.: В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, М., 1935, стр. 240; «Современный русский язык. Морфология», М., 1952, стр. 355—358.

Освоение семантического поля процессуальной обстоятельственности совершается лишь на основе достаточно развитых категорий глагола и наречия. Поэтому в славянских, а также в других языках деепричастие как особая лексико-грамматическая категория образуется сравнительно поздно. В русском языке для выражения гибридного обстоятельственно-процессуального значения были использованы краткие формы субъектных («действительных») причастий. Формирование деепричастий шло в направлении усиления синтагматической связи с глаголами и обстоятельственного значения, а с другой стороны — по пути ослабления синтагматической связи с подлежащим и глагольного значения. В конце XVIII — начале XIX в. заметно сокращается сфера употребления деепричастий с ярким глагольным значением, а также деепричастий, относящихся к именному сказуемому. Ср.: «Тут старосту лизнув Лев милостиво в грудь, отправился в дальнейший путь» (И. А. Крылов, Рыбья пляска). Происходит упрощение структуры деепричастных оборотов, освобождение от глагольного управления⁹. Близкие к глаголу деепричастия с предикативно-процессуальным значением на *-вши* типа *он ушедши, он вставши, он вытвши* и под. не получили дальнейшего развития, ибо эта сфера значений оказалась занятой глаголом. Продуктивность же деепричастий с гибридным процессуально-обстоятельственным значением систематически растет. По данным Г. В. Валимовой, у Пушкина на 100 страниц текста встретилось 190 деепричастий, у Тургенева — 260, у Шолохова на 103 страницы — 507¹⁰. Происходит дальнейшее усиление обстоятельственности деепричастий и ослабление их глагольности¹¹. На этой основе получают развитие «независимые» (от подлежащего) деепричастные обороты¹². В настоящее время неперенная зависимость деепричастного оборота от подлежащего едва ли может служить решающим и окончательным критерием нормативности деепричастий¹³. Авторы монографии «Русская разговорная речь» установили, что деепричастия и деепричастные обороты в разговорной речи приобрели яркое обстоятельственное значение и в этом отношении стоят ближе к наречиям, нежели к глаголам, например, *немедля, умеючи, не отрываясь, не сговариваясь, не заходя домой, не сомневаясь ни на минуту, не повернув головы* и др.¹⁴.

В современном русском языке имеется большое количество деепричастий и деепричастных оборотов, которые сохраняют сильную синтагматическую связь с подлежащим и по своему лексическому значению мало чем отличаются от мотивирующих глаголов (область синтаксической деривации), например: «Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери» (М. Горький, Детство), ср.: «Бабушка оттолкнула меня и бросилась к двери. Протянув в потемках руку, я тронул похолодевшими пальцами укрытое одеялом плечо». (В. Карпов, Взять живым), ср.: *Я протянул руку и тронул...* Такие деепричастия являются, видимо, глагольными формами и выполняють стилистические задачи — обеспечивают возможность построения синтаксических синонимических конструкций. Однако подавляющее

⁹ См.: «Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века», М., 1964, стр. 369—376.

¹⁰ См.: Г. В. В а л и м о в а, Нераспространенные и распространенные деепричастные конструкции, «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону пед. и учит. ин-тов]», 3, 1948, стр. 70.

¹¹ См.: Г. В. В а л и м о в а, Особые случаи употребления деепричастий, в кн.: «Русское языковедение», I, Ростов-на-Дону, 1945, стр. 30.

¹² См.: Л. А. Б у л а х о в с к и й, Русский литературный язык первой половины XIX в., М., 1954, стр. 436—437.

¹³ В. А. И ц к о в и ч, Очерки синтаксической нормы, в кн.: «Синтаксис и норма», М., 1974, стр. 79—104.

¹⁴ «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 168—175.

большинство современных деепричастий синтагматически больше тяготеет к глаголу, нежели к подлежащему. Это уже не формы слова, а самостоятельные слова с особым лексическим значением, например: *лежал раскинув ноги* (с раскинутыми ногами), *стоял вздернув голову* (со вздернутой головой), *вздыхал опустив глаза* (с опущенными глазами) и под. В предложении они функционируют скорее в качестве однородных членов к обстоятельству, нежели к сказуемому. «Деепричастие (или деепричастный оборот) может занимать синтаксическую позицию обособленной примыкающей словоформы с обстоятельством-характеризующим значением при глаголе...»¹⁵. «Они вытаскивали больных на матрасах или просто взяв под мышки» (А. Фадеев, Молодая гвардия). «Глядел исподлобья, прищурившись, словно оберегая глаза от невидимых разбушевавшихся стихий» (М. Колесников, Школа министров). Глагольная мотивация в данном случае не столько определяет смысл деепричастия, сколько сама выбирается в соответствии с заданным обстоятельством-операциональным значением. В поэтическом языке В. В. Маяковского индивидуальные деепричастия типа *формясь, прилампадя, вызмеив* и под. являются не столько отглагольными, сколько отыменными. «И планы... встают из дня голубого, железом и камнем формясь» («Хорошо!»).

Это означает, что представление о деепричастиях как исключительно глагольных формах неизбежно ведет к искажению познавательной роли этих слов, к их обеднению. Из области деепричастий необоснованно исключаются целые категории слов типа *стоя* (*рисовать*), *подбоченившись* (*стоять*), *не думая* (*отвечать*), *заикаясь* (*говорить*), *не таясь* (*действовать*) и др. Современная трактовка деепричастий как собственно глагольных форм вынуждает авторов монографии «Русская разговорная речь» вывести за рамки данной категории все деепричастия разговорной речи и зачислить их в разряд «наречий деепричастного типа»¹⁶. Это решение авторы обосновывают ссылкой на глубокое различие между письменной и разговорной речью. Однако такое объяснение представляется неубедительным. Все эти слова сохраняют тесную связь с мотивирующим глаголом, включают в свое содержание элемент процессуальности. Хотя деепричастия устной и письменной речи неодинаковы, с точки зрения лексического значения у них больше сходства, нежели различия. В письменной речи, как мы увидим в дальнейшем, большинство деепричастий также обстоятельство-процессуальные. При этом многие из описанных в упомянутом исследовании деепричастий и деепричастных оборотов (например, *не говоря ни слова, не вдаваясь в подробности, не покладая рук* и др.) являются стилистически нейтральными. Нельзя не отметить в связи с этим, что весьма богатая и разнообразная категория деепричастных слов до сих пор не находит своего отражения в толковых словарях русского языка. Истолкование деепричастий как чисто глагольных слов препятствует их лексикографическому описанию.

Игнорирование обстоятельного компонента в лексическом значении деепричастий приводит к заполнению этого класса искусственными образованиями. Опираясь на чисто формальную схему образования деепричастий, А. А. Зализняк устраняет фактически семантические границы для их образования. Он рекомендует для современного использования такие «неотмеченные» глагольные формы, как *ревев, тянув, хотя (от хотеть), сидев, блюдиш, зния, кажась, ежав, волгнув, перши, кляя, тушевав, требовав, рисовав, терпев, жалев, шив, пив, ливши, видев, умерев, переме-*

¹⁵ Гр. 70, стр. 645.

¹⁶ «Русская разговорная речь», стр. 174.

рев, сосав, писав, славши, лезши, пасши, могши, берегши и мн. др.¹⁷. Аналогичные не всегда оправданные безобстоятельственные формы мы находим и в учебных пособиях по русскому языку. Все это свидетельствует о неправомерности отождествления деепричастного значения с глагольным лексическим значением. Чисто глагольные деепричастные образования — это либо переходная область между глаголом и деепричастием, либо искуственные конструкции типа «*Имея желание знать ваше мнение, прошу...*»¹⁸ вместо *Имею желание знать ваше мнению, прошу...* Собственно деепричастие как лексико-семантическая категория имеет специфическое процессуально-обстоятельное или обстоятельно-процессуальное значение. При этом обстоятельный аспект — это не синтаксическая функция, а необходимый компонент лексического значения деепричастия. Во многих случаях этот аспект значения более характерен для современных деепричастий, чем значения процессуальности. При этом чем сильнее в деепричастиях выражено значение обстоятельности, тем они продуктивнее, и наоборот. Область синтаксической деривации гораздо уже, чем это обычно предполагается¹⁹.

Для раскрытия специфики деепричастного значения необходимо не только выявить полный диапазон варьирования обстоятельности и глагольности в рамках единого значения, но и конкретный характер их семантических признаков. Число глагольный подход к деепричастиям лишает их какого бы то ни было своеобразия. Между тем семантическое поле деепричастий достаточно разнообразно, в современном русском языке сформировался целый ряд семантических типов процессуально-обстоятельного значения. Их изучение дает более конкретное представление о специфике деепричастного значения и познавательной роли этих слов.

Операциональный способ действия. Подобно наречиям деепричастия с этим значением примыкают к глаголам и обозначают способ или образ действия. Однако в отличие от наречий они в той или иной мере сохраняют синтагматическую связь с подлежащим и значение процессуальности. В итоге такие деепричастия или деепричастные обороты приобретают особый комбинированный смысл — обозначают динамический или операциональный образ действия. Они образуются от нерезультативных глаголов с помощью суффикса *-а(я)* или от результативных глаголов посредством *-вши* (*вшись*): *поеживаясь, нахмураясь, ничего не делая, размахивая руками, слушая беседу, маневрируя, прибегая к интригам; обидясь, отворотясь, согнувшись, сжав кулаки* и др. В предложении они выполняют роль предикативного обстоятельства образа действия: «Пригородный поезд приближался, сбавляя ход, скрежеща тормозами» (С. Сартаков, *Философский камень*).

Обстоятельный аспект смысла стирает переходное значение деепричастий, которые в силу этого обозначают специфический динамический образ действия, не требующий уточнения с точки зрения объекта воздействия. Ср. в составе семантических толкований: *притаптывать* — «топча примасть, придавливать», *притаскивать* — «таща доставить куда-либо», *притиснуть* — «тиская придавить, прижимать» и др.

Значение операционального способа действия весьма рельефно выражается одиночными деепричастиями: *читать лежа, отвечать не спеша, стоять подбоченясь, глядеть нахмурившись, работать играючи* и др.

¹⁷ А. А. З а л и з н я к, Грамматический словарь русского языка, М., 1977, стр. 91—134.

¹⁸ Л. Т о л с т о й, Собр. соч. в 20-ти томах, 15, М., 1964, стр. 365.

¹⁹ Е. С. К у б р я к о в а, Части речи в ономастологическом освещении, М., 1978, стр. 73.

Ср. также устойчивые выражения *иначе говоря, между нами говоря, откровенно говоря* и др. Однако сфера применения таких деепричастий имеет семантические ограничения: отсутствие обстоятельственного значения является препятствием к их образованию. В русском языке имеется группа глаголов: *лизать, плескаться, лгать, мочить, печь, сечь, тесать, ткать* и др.²⁰, от которых деепричастия вообще не образуются. Чисто глагольные образования, лишенные обстоятельственного значения, типа *бежа, ждя, ходя, чеша, рвя* и под., представляются рискованными, находящимися на границе нормы.

Значение образа действия в деепричастиях сочетается нередко со значением высокой степени интенсивности проявления признака. Это интенсивно-обстоятельственное значение также отличается от значения наречий степени, поскольку оно одновременно сочетается с операциональным значением. Например, *работать не покладая рук, засучив рукава, не жалея сил; бороться, защищая каждую пядь земли, не щадя своей жизни; двигаться, сметая все на своем пути; тратить, не считая, деньги; сопротивляться, используя все средства* и др. «Гитлеровцы упорно сопротивлялись, цепляясь за каждый маленький пункт» (Д. Д. Лелюшенко, Москва — Сталинград — Берлин — Прага); «Всадник скакал крупной рысью, не щадя коня» (С. Сартаков, Философский камень).

В разговорной речи значение высокой степени обстоятельственной операциональности выражается деепричастными образованиями на *-мя*: *ревмя ревет, стоймя стоит, горьмя горит, кишмя кишит, кричмя кричит* и др.: «С того дня я себя ругая ругаю» (Б. Полевой, Глубокий тыл).

Операционально-локальные деепричастия. Эта весьма продуктивная группа слов обычно не отмечается исследователями, между тем она выражает характерный тип деепричастного значения. Известно, что действие, движение непосредственно связано с местом, пространством, и эта фундаментальная связь находит отражение в деепричастиях (и деепричастных оборотах), которые обозначают место, местоположение через призму движения, перемещения. Само деепричастие на *-а(я)*, иногда на *-в, -вши* в соединении с частицей *-сь*, выражает первичное пространственно-динамическое значение, которое уточняется зависимыми обстоятельственными словами, например, *поднимаясь в гору, подъезжая к аэродрому, пролетая над городом, проходя мимо дома, придерживаясь правой стороны, никуда не сворачивая, не отходя от поезда, подойдя вплотную, вырвавшись из болота, опускаясь на морское дно* и др. В предложении такие локально-операциональные деепричастия выполняют роль предикативного обстоятельства (а не второстепенного сказуемого). «Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции Дно» (М. Шолохов, Тихий Дон); «Не доходя до штабной землянки, я увидел человека, идущего навстречу» (Д. Д. Лелюшенко, Москва — Сталинград — Берлин — Прага). Показательно, что такие деепричастия нередко примыкают не к глаголу, а к обстоятельству места: «Половина моих товарищей полегла на дороге: или летя на фронт, или перебираясь с места на место» (К. Симонов, Разные дни войны).

Деепричастия со значением динамической локальности были достаточно широко распространены еще в середине XIX в. в языке А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена и других писателей, например: *переехав через Иртыш, подъезжая к Болдину, обогнув оконечность мыса* и под. Тем не менее наибольшую продуктивность такие деепричастия получили именно в последние десятилетия. В этом смысле интересны деепричастные конструкции, которые обозначают околоземное пространство через призму космического полета: *пролетая над Африкой, входя в плотные слои атмо-*

²⁰ Гр. 70, стр. 422—423.

сферы и др. «Пролетая над континентами, я впервые подумал и ощутил, что планета наша очень маленькая» (Г. Титов, *Голубая моя планета*). В современном русском языке деепричастия с процессуально-локальным значением получили широкое распространение в разговорной речи: например, *не доходя до чего-нибудь, перейдя улицу, не доезжая до магазина, не переходя площади, проходя мимо будки* и др.: «Это не доезжая до Синтетик. Это на углу, не переходя площади»²¹.

Операционально-локальные деепричастия нередко одновременно выражают значение образа действия, например, *нападать, охватывая поляну; пробираться, ступая между солдатами* и под. «Расположившись прямо на полу, Мешков перематывал портянки» (С. Сартаков, *Философский камень*).

Операционально-временные деепричастия. Действие (операция) неразрывно связано со временем его совершения. Эта существенная связь также фиксируется деепричастиями, которые в данном случае обозначают время через призму процессуальности или глагольности. Здесь имеется в виду не предельно обобщенное грамматическое, а более конкретное лексическое время, связанное с осуществлением какого-либо события. Операционально-временные деепричастия с суффиксом *-а(я)* обозначают обычно время какого-либо события, одновременное с временем поясняемого глагола. Обычно такие деепричастия поясняются существительными с временным значением, например: *заканчивая смену, завершая годовую программу, продолжая работу, начиная с первых дней, не переставая ни на минуту, не теряя ни секунды* и др. Ср. также устойчивые выражения: *не переводя дыхания, глядя на ночь* и др. В предложении такие деепричастные обороты выполняют обычно роль полупредикативного обстоятельства времени. «Провожая космонавта, Шолохов снова обнял его как сына» (Г. Серебряков, *В гостях у писателя*); «Не дожидаясь прибытия дежурной команды, он разбил окно и проник в дом» («Комсомольская правда», 8 III 1977). Операционально-временной деепричастный оборот в предложении нередко относится не только к сказуемому-глаголу, но и к обстоятельству времени: «Два дня, не затахая ни на минуту, длились страшные бои» (В. Песков, *Война и люди*).

Результативные деепричастия с суффиксами *-в, -ви, -вшись* обозначают обычно операциональное время, предшествующее тому или иному событию. Например, *отвоевавшись, отбомбившись, позавтракав* (ср.: *после завтрака*), *поужинав, прочитав газету* (ср.: *после прочтения газеты*), *закончив работу* (ср.: *после окончания работы*), *проработав десять лет, вступив во второй квартал* и др. «Выдержав короткую паузу, он заговорил снова» (М. Шолохов, *Судьба человека*); «Едва родившись, это прогрессивное государство стало объектом иностранной интервенции» («Правда», 7 VI 1976).

Временное значение деепричастия могло сочетаться с пространственным, сохраняя при этом значение глагольности, например, в составе «независимого» деепричастного оборота: «В аллее и уже подъезжая к отелю, у нее начались вырваться восклицания» (Ф. Достоевский, *Идиот*).

Процессуально-условные деепричастия. Один из реальных процессов является нередко условием для осуществления другого явления, события. Это сочетание двух различных признаков отражается в лексическом значении деепричастия и деепричастных оборотов. Подобно наречиям такие деепричастия обозначают условие, однако они одновременно сохраняют и глагольное процессуальное значение. Процессуально-условные деепричастия образуются с помощью суффиксов *-а(я), -учи, -в, -ши, -вшись, -шись*: *исходя из обстановки, действуя в условиях подполья, используя захваченную*

²¹ Примеры взяты из кн.: «Русская разговорная речь», стр. 171.

власть, отказывая себе в самом необходимом, будучи министром; запершись, открывшись, проснувшись, уснув, зная, сознавая, признавая, убедившись в своей беспомощности и др. В предложении они выполняют роль полупредикативных обстоятельств условия. «Будучи раз покорена, природа не может оставаться без человеческого воздействия» (П. А. Павленко, Счастье).

В. Г. Белинский в свое время усматривал в возможности или невозможности образования тех или иных деепричастий прихоть языка: «Нет ответа на вопрос, почему можно сказать *говоря речь, делая вид*, а неловко сказать *вия шнурок, тняя веревку, пия воду*»²². Между тем здесь проявляется общая закономерность. Чисто операциональное значение достаточно эффективно выражается глагольными формами, здесь нет потребности в образовании дополнительных конструкций. Деепричастия же образуются для выражения обстоятельственно-процессуальных и, в частности, условно-процессуальных значений. Именно у этих последних обнаруживается тенденция к предельной обособленности от подлежащего, например: *принимая решение, я прошу вас помнить; учитывая скользкий лед, результаты могли быть лучше*. «Этот визит, учитывая нынешнюю международную обстановку, приобретает важное значение» («Правда», 25 I 1965)²³.

Предикативная группа с поясняемым глаголом часто обозначает следствие того условия, которое выражается деепричастным оборотом. В таких предложениях обобщаются регулярные процессуально-условно-следственные отношения, например: «*Никогда не берись за последующее, не усвоив предыдущего*»; «*Не зная броду, не суйся в воду*» (посл.); «*Изучая дедов, узнаем внуков, т. е. изучая предков, узнаем самого себя*» (В. О. Ключевский, Афоризмы и мысли об истории). Заметим, что условно-процессуальное значение может сочетаться с временным значением. «*Романишин вспомнил немца, которого пленил, будучи в боевом охранении*» (В. Карпов, Взять живым).

Разновидностью процессуально-условных деепричастий являются уступительные деепричастия. Они также выражают условно-процессуальное значение, но лишь такое, которое не ведет к обычным последствиям, не оказывает ожидаемого воздействия, например: *любя развлечения, он упорно заставлял себя заниматься; имея все необходимое, он вечно был недоволен; не располагая необходимыми средствами, он все же вступил в борьбу* и др. «*Став мастером своего дела, Карцев не считает зазорным учиться у других*» («Правда», 23 V 1977).

Процессуальная причина и следствие. Деепричастия с этим значением выражают не только дополнительное второстепенное действие, но и указывают на такой процесс, действие, которое является одновременно причиной или следствием, или называют причину, следствие, которые одновременно являются действием, операций.

Для выражения процессуальной причины используются результативные деепричастия с суффиксами *-в, -вши(сь)*, они обозначают события, явления, предшествующие упоминаемым предикативной группой, например: *потерпев поражение, устав от пререканий, узнав, увидев что-либо, обезумев от ошеломляющего удара, потеряв много техники, боясь сказать не попад, соблазнившись погодой, почувствовав себя ненужным, считая разговор оконченным* и др. В предложениях с такими деепричастиями мы встречаемся с полупредикативным обстоятельством причины, а не со сказуемым: «*Почуввав серого так близко забияку, псы залились в хлевах и рвутся в драку*» (И. А. Крылов, Волк на псарне); «*Разведчики, узнав об уходе Казакова, опечалились*» (В. Карпов, Взять живым).

²² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., VI, СПб., 1903, стр. 214.

²³ В. А. Ицкович, указ. соч., стр. 81.

Деепричастные обороты с операционально-причинным значением получили значительное распространение еще в начале XIX в. Однако они, как показывает иллюстративный материал, одновременно имели условно-процессуальное значение: «„Но рассудителен ли ты, *Всегда преследуя ревниво Мои любимые мечты?*» (Борат., Дельвигу)»²⁴ Дальнейшее их развитие шло по линии дифференциации значений. Такие диффузные условно-причинно-операциональные деепричастия сохраняются и в современном русском языке, где составляя отчетливую категорию.

Операционально-следственное значение выражается обычно также результативными деепричастиями с суффиксами *-в(ви)*. «Деепричастия в этом случае обозначают следствие, сопутствующее основному действию, выражают результат, осуществление которого обусловлено совершением основного действия»²⁵. Например, *ядро пролетело, не сделав вреда, умер, оставив дочь-сироту, закрыл своим телом амбразуру, обеспечив подразделению продвижение вперед, зажег свечу, осветив свое лицо* и др. Операционально-следственные деепричастия обозначают, как видно из примеров, действие, следующее за действием, указанным предикативной группой. Их синтаксическая роль — это не предикат, а полупредикативное обстоятельство. «У нее провалилась крыша, придавив потолок подземелья» (В. Короленко, В дурном обществе); «Назвала его по отчеству, тем самым оказав ему особое внимание» (А. Первенцев, Секретный фронт).

Операциональная цель действия. Деепричастия с этим значением одновременно указывают нередко и на операциональную причину, условие. Например, «Петр шел осторожно, не желая показаться брату пьяным» (М. Горький, Дело Артамоновых); «Исходя из необходимости стремительных действий, военный совет армии планировал быстрый вход в прорыв» (Д. Д. Лелюшенко, Москва — Сталинград — Берлин — Прага). Значение цели в подобных примерах сводится к значению причины или условий, поэтому среди исследователей сложилось мнение, что деепричастия как таковые вообще не могут иметь значения цели²⁶. Однако операционально-целевое значение все более обособляется от других значений, нуждается в специальном изучении. Деепричастия с таким значением образуются чаще всего от глаголов стремления и желания с помощью суффикса *-а(я)*: *стремясь, надеясь, желая, предполагая, рассчитывая, норовя, преследуя* (какую-либо цель), *защищая, имея в виду, успокаивая* и др. Такие деепричастные обороты обозначают будущее время или время, одновременное со временем предикативной группы. Их синтаксическая роль — полупредикативные обстоятельства цели: «Она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына» (Л. Толстой, Анна Каренина); «Стремясь увековечить раскол страны, сеульские власти носятся с планами создания „двух Китая“» («Правда», 27 V 1978).

Краткий обзор семантических разновидностей деепричастий показывает, что обстоятельственная процессуальность — специфическая семантическая категория, существенно отличающаяся от значения других частей речи. Она отражает итоги познания новых сторон действительности, и для ее раскрытия необходимо выявить не столько сходство лексического значения деепричастий с лексическим значением наречий и глаголов, сколько их различие. Основу данной семантической категории образуют не дифференциальные, а конструктивные семантические признаки, которые отражают качественное своеобразие обстоятельственной процессуальности.

²⁴ Пример взят из монографии «Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века», М., 1964, стр. 380.

²⁵ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 391.

²⁶ См.: В. С. Белова, Выражение обстоятельственного значения цели в деепричастных оборотах, «Р. яз. в шк.», 1958, 2.

На протяжении XIX—XX вв. идет процесс все более четкого и однозначного выражения деепричастных семантических признаков и освобождение от многофункциональных, диффузных деепричастных оборотов.

Синтаксическая роль деепричастий несомненно обусловлена их синтагматической связью и характером лексического значения, поэтому она неодинакова. Те деепричастия, которые сохраняют сильную связь с подлежащим (действующим лицом) и выражают преимущественно глагольное значение, выполняют в предложении роль второстепенного сказуемого: «Бросив папироску в металлическую эмалированную урну, он решительно шагнул к двери» (П. Проскурин, Горькие травы).

Однако попытка А. А. Шахматова и других авторов ограничить синтаксическую роль деепричастий второстепенным сказуемым отражает ретроспективный взгляд на эту категорию. Подавляющее большинство современных деепричастий и деепричастных оборотов больше связано с глаголом и выполняет роль предикативного или полупредикативного обстоятельства²⁷. Ср. у Пушкина: «Лишь лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке» («Евгений Онегин»).

Отождествление лексического значения деепричастия с лексическим значением глагола неизбежно приводит к тому, что грамматические категории глагола — время, залог, вид — приписываются деепричастиям и даже рассматриваются подчас как факторы, определяющие его лексическое значение. Между тем в связи с ослаблением глагольного и усилением обстоятельственного значения деепричастие постепенно утратило и грамматические свойства глагола. Грамматические категории глагола сохранились в деепричастиях лишь в той мере, в какой это необходимо для выражения обстоятельно-процессуального значения. Возьмем, к примеру, грамматическое значение времени. Деепричастия вовсе утратили абсолютное глагольное время и сохранили лишь относительное время, которое непосредственно зависит от их лексического значения. Для выражения операционального способа действия и места используются деепричастные обороты и деепричастия, которые выражают время, синхронное с временем предикативной группы. Деепричастия же с причинным значением выражают предшествующее время, а деепричастия со значением следствия указывают на последующее, будущее время. Временной аспект является в этих случаях характеристикой лексического значения деепричастий. С другой стороны, многие деепричастные обороты вообще утратили какую-либо связь с грамматическим временем. Рассмотрим весьма продуктивные ныне деепричастные обороты в качестве названий газетных и журнальных статей: *Читая газету; Листая учебники; Изучая птичьи трассы; Сверяя опыт с жизнью; Наступая на беду; Приближая столетия; Обгоняя время; Следуя примеру; Выполняя личные планы; Возвращаясь к напечатанному; Принимая решение; Готовясь к съезду* и др. Эти весьма содержательные обороты относятся фактически к любому времени — настоящему, прошедшему и будущему, т. е. имеют вневременное значение. Ни о каком глагольном времени здесь не может быть речи.

Сопутствующие обстоятельственной процессуальности значения завершенности, результативности и незавершенности, нерезультативности, переходности, непереходности в значительной мере также стерты, кроме того, они выражают обычно особенности лексического, а не грамматического значения. Ср. следующие парные образования: *волнуя и волнуясь, бегая и прибежав, желая и пожелав* и др. Суффиксы *-а(я), -учи-(ючи), -в, -вши(ши), -вшишь* фиксируют в той или иной мере отмеченные признаки.

²⁷ См.: В. И. Ф у р а ш о в, Проблема второстепенных членов предложения и синтагматическая парадигматика, ВЯ, 1974, 3.

Однако основное назначение этих аффиксов — обобщение операционально-обстоятельственного значения, по своей природе они являются прежде всего словообразовательными, а не словоизменительными.

Таким образом, деепричастие не может быть определено как именно непредикативное образование, обозначающее второстепенное добавочное действие (А. Н. Гвоздев, О. С. Ахманова и др.). Как было показано, лексическое значение деепричастий отнюдь не исчерпывается указанием на действие или движение, к тому же эти слова в предложении могут выполнять роль обстоятельственного предиката. Не соответствует реальным фактам и определение деепричастий как неизменяемых глагольных форм, совмещающих в себе свойства глагола и наречия (Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова, К. В. Горшкова и др.). Реальное лексическое значение этих слов выходит за рамки лексического значения глаголов и наречий. Кроме того, деепричастия имеют грамматические свойства, которые не тождественны грамматическим особенностям указанных слов. Деепричастия — это неизменяемые слова с операционально-обстоятельственным значением, которые выполняют в предложении роль полупредикативного или предикативного обстоятельства. Поэтому представляется наиболее перспективным то направление в изучении этой категории слов, которое исходит из признания деепричастия самостоятельной лексико-грамматической категорией (Н. Н. Дурново, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, И. И. Мещанинов и др.). Специфика деепричастного лексического значения как необходимого элемента семантической системы русского языка должна найти свое отражение в лексикографической практике²⁸. Речь здесь идет прежде всего о тех деепричастиях, которые приобрели в современном русском языке яркое процессуально-обстоятельственное значение.

²⁸ См. об этом: Н. М. М е д е л е ц, Структурно-грамматические характеристики в словосвязном слове сближенного типа, сб. «Современная русская лексикография», Л., 1975, стр. 62.

КАЛИЕВ Г. К.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОВОРОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ КАЗАХСКИХ ГОВОРОВ)

Изучение народных говоров казахского языка в рамках определенных лингвогеографических районов по существу началось с 50-х годов XX в. Отдельные высказывания о характере говоров казахского языка мы находим у русских тюркологов второй половины XIX в. Н. И. Ильминского, П. М. Мелиоранского, В. В. Катаринского, Н. Ф. Катанова, Х. Фаизханова, М. А. Терентьева, которые в своих трудах не только впервые обратили внимание на существование диалектных различий в казахском языке, но связывали их с определенными регионами Казахстана. Так, Н. И. Ильминский причастную форму прошедшего времени на *-улы/-улі*¹, П. М. Мелиоранский формы *кележақ* вм. лит. *келеді* «придет», *келешек* «будущее», *бережақ* вм. лит. *береді* «даст», *берешек* «должник»² считали характерными для языка жителей западных областей Казахстана. Н. Ф. Катанов считает употребление в первом слоге *ä* вм. *e* (*жәрдä* «в земле»), *ä* после *й*, *ö* вм. *ö* (*күндä* «в солнце») характерным для жителей пограничных районов на востоке Казахстана³. Известный татарский ученый Х. Фаизханов, изучавший в 60-х годах XIX в. казахский язык, отмечал наличие диалектных отличий в казахском языке в различных областях его распространения, в частности, отатаренный характер языка жителей Внутренней Орды⁴ и т. д. Следует отметить, что в тот период еще не сформировался казахский литературный язык, с которым можно было бы сравнивать диалектные особенности, как это практиковалось в период интенсивного изучения говоров в советское время. Русские тюркологи в то время исходили из норм общенародного казахского языка, который, как известно, начал образовываться с XV—XVI вв. и впоследствии лег в основу казахского литературного языка.

В изучении казахских говоров большую роль сыграли исследования казахских диалектологов С. А. Аманжолова, Н. Т. Сауранбаева, Ж. Д. Доскараева. Именно в их трудах встречаются конкретные материалы по изучению казахских говоров. Так, первые сведения о промежуточном характере аральского говора, территория которого «является границей между югом и западом», где «южный элемент несколько преобладает над западным», а также о предполагаемых говорах в Урдинском районе Уральской области, в Тургайском районе Ку танайской области, в Кегенском и

¹ Н. И. Ильминский, Материалы к изучению киргизского наречия, Казань, 1861, стр. 12.

² П. М. Мелиоранский, [рец. на кн.:] В. В. Катаринский, Грамматика киргизского языка, ЗВО РАО, XI, 1897—1898, стр. 363—364.

³ Н. Ф. Катанов, Письма из Сибири и Восточного Туркестана, СПб., 1893, стр. 63.

⁴ Э. Х. Марғұлан, Шоқанның жаңадан ашылған досы Хусаин Фаизханов және оның Петербурдан жазған хаттары. «Изв. АН КазССР. Серия общественных наук», 3, 1965, стр. 21; см. также: М. Усманов, Г. Галимова, Хусаин Фаизханов как тюрколог (к столетиюдесятилетию со дня рождения), «Советская тюркология», 1979, 3, стр. 45.

Нарынкольском районах Алма-Атинской области и др. приводятся в трудах С. А. Аманжолова⁵. Н. Т. Сауранбаев дает довольно подробную характеристику основных черт четырех говоров (чуйского, жетысуйского, чимкентского, сырдарьинского), которые, по его мнению, составляют южный диалект казахского языка⁶. Ж. Д. Доскараев, классифицируя казахские говоры, делит их на две большие группы: юго-восточную и северо-западную. По его мнению, имеется еще восточная группа говоров, которая больше приближается к юго-восточной группе, т. е. ей присущ переходный характер⁷. Особенно много внимания Ж. Д. Доскараев уделяет изучению южных говоров в сравнительно-историческом плане. Г. Г. Мусабаев считает, что в казахском языке имеются мелкие говоры, и делит их на переходные и местные. Переходные, по его мнению, образовались в тех районах, где «географическое положение казахского народа способствовало проникновению иноязычных слов», а местные (имеются в виду говоры внутри языка) — «могут базироваться на остатках племенного диалекта»⁸.

Таким образом, несмотря на некоторые разногласия по поводу классификации и происхождения диалектов, их отношения к родоплеменным диалектам, к основе казахского литературного языка, диалектологи старшего поколения в целом были единодушны в вопросе о наличии в казахском языке говоров, а также переходных говоров, причем образование последних предполагалось не только в смежных с соседними языками районах, но и внутри языка между крупными группировками говоров.

В начале 50-х годов в казахской диалектологии начинается новый этап изучения говоров путем монографического описания. Такое изучение имело ряд преимуществ. Действительно, без предварительно определенных в историко-этническом, лингвогеографическом отношениях регионов было бы практически невозможным за короткий срок изучение языка местных жителей на такой огромной территории, как Казахстан, и в районах других республик, где говорят на казахском языке. Ныне в истории казахского языка впервые монографически описаны говоры местных жителей более десяти лингвогеографических районов. Эта работа продолжается и поныне.

Результаты исследований последних лет дают возможность сделать некоторые выводы о характере и отношении говоров друг к другу. Во-первых, пополнились фонды диалектных материалов, в том числе профессиональной лексики, что дало реальную возможность приступить к составлению диалектологического словаря (более полный словарь, чем предыдущие, выпущен в 1969 г.), диалектологического атласа казахского языка и сделать конкретные научно-практические выводы по проблемам диалектной лексикографии⁹. Во-вторых, изучение системы говоров отчетливо показало наличие близкородственных групп говоров в казахском языке, возникших на основе общности культурно-хозяйственного уклада, исторической связи жителей, поддерживаемой поколениями в течение веков, географической близости и, наконец, близости родо-племенного состава, который, на наш взгляд, играет не последнюю роль, поскольку сохранился еще в памяти народа. Например, нельзя ставить в один ряд чуйский и жетысуйский говоры на юге Казахстана с ординским говором на западе.

⁵ С. Аманжолов, Вопросы диалектологии и истории казахского языка, Алма-Ата, 1959, стр. 156—166.

⁶ Н. Т. Сауранбаев, Диалекты в современном казахском языке, ВЯ, 1955, 5, стр. 50.

⁷ Ж. Д. Доскараев, Некоторые вопросы диалектологии и истории казахского языка, ВЯ, 1954, 2, стр. 87.

⁸ Г. Г. Мусабаев, Современный казахский язык, I, Лексика, Алма-Ата, 1959, стр. 73.

⁹ Ш. Ш. Сарыбаев, Казахская региональная лексикография, Алма-Ата, 1976.

В свою очередь ординский говор сближается с некоторыми западными говорами казахского языка. О родственных говорах в казахском языке впервые говорил Н. Т. Сауранбаев, исходя из анализа конкретных примеров. В дальнейшем мысль о близкородственных говорах развивалась и нашла свое подтверждение в исследованиях последних лет. Так, был определен состав восточной группы говоров, состоящей из бай-ульгийского, кош-агачского, усть-каменогорского и аягузского говоров; состав западной группы говоров, состоящей из центрального, мангышлакского, арало-сырдарьинского, казахских говоров на территории Каракалпакии и Туркменистана¹⁰. Каждому из этих говоров свойственны и общие черты, характеризующие всю группу, и отличительные черты, присущие только данному говору.

Таким образом, изучение близкородственных говоров свидетельствует в пользу теории о наличии диалектов в казахском языке, тем самым проливая свет на один из спорных вопросов в казахском языкознании. В данное время основные фонетические, лексические, грамматические особенности диалектов казахского языка определены и получили описательную характеристику в отдельных монографиях по диалектологии. Однако в казахском языкознании нет работы обобщающего характера, показывающей в сравнительном плане совокупность фонетических, лексических, грамматических особенностей всех казахских говоров. Написание подобной работы позволило бы глубже понять характер диалектной системы казахского языка в целом, решить многие спорные вопросы казахской диалектологии и, безусловно, облегчило бы составление «Диалектологического атласа тюркских языков СССР».

В тюркской диалектологии одной из актуальных проблем остается изучение системы диалектов, говоров тюркских языков. Наряду с определенными успехами в этой области имеются и недостатки, особенно в методике изучения. На региональных совещаниях по тюркской диалектологии и в статьях с критическим обзором литературы не раз указывалось на отсутствие системного описания тюркских диалектов, говоров, «атомарный подход к изучаемым явлениям», который сводился к изучению разобобщенных и разрозненных «диалектных особенностей», вырванных из общей системы данного объекта¹¹. Был сделан справедливый упрек в адрес диалектологов: «Пора понять, что если 10—15 лет назад изучение фонетических, грамматических и лексических особенностей старописьменных памятников и тюркских диалектов еще могло квалифицироваться как „важнейшая задача“, то состояние современного языкознания требует системного изучения как памятников древне- и старотюркской письменности, так и диалектов»¹².

Только в последнее время, как указывалось в материалах Всесоюзной тюркологической конференции (1976 г.), «прежний принцип описания диалекта на основе его отличий от литературного языка все более вытесняется методикой, признающей диалект цельной языковой системой»¹³. Однако следует сказать, что в самом понятии системы диалектов еще много неясного. Отсутствие четких методических установок затрудняет изучение системы диалектов. Не каждый диалектолог ясно представляет себе, что понимается под системой диалектов или говоров — отличие от системы языка

¹⁰ Ж. Б о л а т о в, Восточная группа говоров казахского языка и ее отношение к литературному языку. АДД, Алма-Ата, 1970; Ө. Н ұ р м а г а м б е т о в, Қазақ тілі говорларының батыс тобы, Алматы, 1978.

¹¹ Г. Ф. Б л а г о в а, Развитие сравнительно-исторического изучения тюркских языков и уровень кандидатских диссертаций, «Советская тюркология», 1973, 6, стр. 103.

¹² Там же, стр. 105.

¹³ А. Н. К о н о н о в, С. К. К е н е с б а е в, Г. Ф. Б л а г о в а, Всесоюзная тюркологическая конференция, «Советская тюркология», 1976, 3, стр. 6.

в целом, какими особенностями характеризуется система диалектов и каков характер взаимоотношения системы диалектов с системой языка, куда они входят как части целого, и т. д. Вопрос осложняется еще и тем, что развитие диалектов в каждом языке имеет свою специфику. Все это требует дальнейшей разработки проблемы о системе диалектов.

Известно, что система как совокупность взаимосвязанных, взаимопроникающих элементов языка свойственна как языку в целом, так и его диалектам, говорам. О характере системы говоров А. Мейе писал: «Само собой разумеется, что всякий говор имеет свою собственную систему, и поэтому следует всегда представлять себе место каждого конкретного языкового факта в этой системе. Исключительное внимание к отдельным словам и формам, зарегистрированным путем анкетных наблюдений и нанесенным на карты, может привести к тому, что все исследование сведется к изолированному изучению отдельного слова или маленькой группы слов, отдельной формы или маленькой группы форм. Такое крохоборство погубило бы историческое языкознание»¹⁴. Р. И. Аванесов подчеркивает, что «...диалектные различия по отношению к строю языка представляют не только различия в отдельных единичных фактах, но также и различия в некоторых цельных звеньях языковой системы, выступающих на фоне общности ее в остальных звеньях»¹⁵.

Однако дело не в том, что язык и его диалекты представляют собой системное явление, а в том, что характер системы языка и диалектов нельзя считать одинаковым. Это видно из такого простого факта, что основные черты системы языка свойственны его диалектам и говорам (без этого они не принадлежали бы данному языку). В то же время особенности, характерные черты системы диалекта, говора не свойственны языку в целом, а также другим диалектам, говорам (без этого они не выделялись бы как диалекты или говоры данного языка). Например, деепричастная форма *-ғалы* (с вариантами *-ғелі, -қалы, -келі*) в казахском языке является общенациональной, литературной, она свойственна и диалектам, говорам. Другая разновидность этой формы *-ғайы* (с вариантами *-гейі, -қайы, -кейі*) встречается только в восточных говорах казахского языка, не свойственна общенациональному языку. Таких примеров немало.

В современной диалектологической науке определен ряд специфических особенностей, характеризующих системы диалектов, которые в той или иной мере присущи диалектам, говорам многих языков: общие и частные элементы, различительные черты, которые, в свою очередь, делятся на несоотносительные, т. е. непротивопоставленные, и соотносительные, т. е. противопоставленные, диалектные различия. Причем каждая из этих черт как в синхронном, так и в диахронном аспектах может относиться к любому уровню структуры диалектной системы языка¹⁶. Изучение системы говоров казахского языка показывает, что материальная общность, которая выражается в основном в общности слова (корневой морфемы, словообразовательной морфемы, некоторых синтаксических конструкций, семантической общности)¹⁷, играет большую роль в выявлении противопоставленных различительных черт. Безусловно, сказанным не исчерпываются специфические особенности диалектной системы. Имеется еще ряд факторов, которые должны учитываться при изучении системы современных говоров. Ниже мы остановимся на некоторых из них на материале казахских говоров.

¹⁴ А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, стр. 63.

¹⁵ Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, I, М., 1949, стр. 3.

¹⁶ «Вопросы теории лингвистической географии», М., 1962, стр. 13.

¹⁷ Там же, стр. 14—15.

Естественно, в современном состоянии развития говоров, диалектов тюркских языков многие их элементы (не только специфические черты) не встречаются ни в общенародных, ни в литературных формах тюркских языков. Однако, как показывают многочисленные факты самих говоров, диалектов, а также наблюдения тюркологов, эти диалектные явления не выходят за рамки внутренних групп тюркских языков или общетюркских соответствий. Е. И. Убрятова пишет: «...все общетюркские изменения звуков в якутском языке не выходят из рамок общеизвестных фонетических соответствий, определенных общетюркской фонетической системой. Разграничить общетюркские внутриязыковые чередования и общетюркские же межязыковые соответствия невозможно. Так, например, соответствие *б — м* или *и — э*, о которых уже шла речь, можно наблюдать и как соответствие между разными тюркскими языками, и как соответствие, наблюдаемое в одном языке, но в разных его диалектах, и наконец, как соответствие внутри говора»¹⁸. Это сказано в отношении якутского языка, образование которого связано «с особыми условиями» иноязычной среды¹⁹. Что касается языков, которые исторически образовались из близкородственных племенных языков, то такое явление в них проявляется еще более ярко²⁰. Аналогичных примеров немало и в грамматическом строе тюркских языков. По данным азербайджанских диалектологов, в азербайджанских диалектах и говорах имеются личные аффиксы категории принадлежности и сказуемости, которые встречаются и в других тюркских языках²¹. Отмечается также близость и сходство между диалектами и говорами азербайджанского языка и юго-западной группой тюркских языков, с одной стороны, и кыпчакскими языками, с другой, в употреблении аффиксов настоящего времени²².

Н. З. Гаджиева, подчеркивая «отсутствие резких контрастов» в тюркских языках, близость и сходство в современных тюркских языках объясняет тем, что «в них сохраняются основные праязыковые формы, а так называемые инновации подчинены общетюркским тенденциям развития»²³. Например, относительно фонетической структуры она пишет: «Очевидно, в самой фонетической структуре тюркских языков заложены какие-то одинаковые тенденции дальнейшего развития, которые независимо могут осуществляться в изолированных диалектах»²⁴. Факты свидетельствуют о том, что диалектные особенности каждого тюркского языка, находясь в рамках общетюркских тенденций развития, вступали в различные отношения с данными других тюркских языков. Немало фактов, когда одни и те же явления в одних тюркских языках встречаются как диалектные, в других — как литературные. Например, переход *о* в *ұ* в казахском языке является диалектным. Ср.: лит. *сорағы* «несуразный», *домалау* «катиться», *шойнақ* «хромой», *ойран* «разрушение», *сонар* «пороша», *қолдану* «употреблять» с их диалектными вариантами *сұрағы*, *дұмалау*, *шұйнақ*, *ұйран*,

¹⁸ Е. И. Убрятова, Опыт применения русской (и международной) диалектологической терминологии при описании диалектов якутского языка, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков. Материалы второго регионального совещания по диалектологии тюркских языков, состоявшегося 11—15 ноября 1958 года в г. Казани», Казань, 1960, стр. 38.

¹⁹ Там же, стр. 33.

²⁰ Там же.

²¹ М. Ш. Ширалиев, Второе лицо категории принадлежности и сказуемости, «Вопросы диалектологии тюркских языков», IV, Баку, 1966, стр. 47.

²² Р. А. Рустамов, Формы настоящего времени в диалектах и говорах азербайджанского языка, «Вопросы диалектологии тюркских языков», IV, стр. 43.

²³ Н. З. Гаджиева, Проблемы тюркской ареальной лингвистики, Среднеазиатский ареал, М., 1975, стр. 23.

²⁴ Там же.

сұнар, құлдану. Образование последних в западных говорах казахского языка связывается с влиянием соседних татарского и балкирского языков²⁵, для которых данное употребление является характерным. Диалектный аффикс *-сыңыз/-сіңіз*, свойственный юго-западным говорам казахского языка, означающий вежливую форму 2-го лица сказуемости в м. лит. *-сыз/-сіз*, в туркменском языке является литературной формой. Ср.: в казахских говорах *бересіңіз* «дадите», *журесіңіз* «ходите», *көріңсіңіз* «увидели», а в туркменском языке *Сиз язарсыңыз, гелерсиңиз* «Вы пишете, придете» (*Хәзирки заман туркмен дили*, 1960, 383). Диалектные формы *бізің* «наш», *сізің* «ваш», широко распространенные в западных говорах казахского языка, являются основными формами лично-притяжательных местоимений каракалпакского языка²⁶. Форма *-ың* в составе этих слов в туркменском литературном языке является одной из форм род. падежа (*Хәзирки заман туркмен дили*, 1960, 191, 311).

Таких примеров немало и в лексической системе казахских говоров. Диалектные явления в казахском языке, как *орам* «улица», *азбар* «двор; хлев», являются литературными словами в западных и северных кыпчакских языках, а казах. южн. *шақы* [*шақ* от иран. *шоx* «ветка» (хлопка и др.)] — в карлукских языках²⁷. Известно, что арабские и иранские слова в тюркских языках имеют разную степень распространения. Среди них есть такие, которые широко известны в одних тюркских языках, вошли в литературную лексику этих языков, а в других имеют ограниченный характер распространения, в результате чего превратились в диалектизмы. Примерами могут служить слова с префиксами *би-/бей-*, *на-/най-* иранского происхождения. Например, широко распространенные арабские и иранские слова в каракалпакском языке *бийдәрт* «беспечальный», *бийдевет* «несчастный», *бийнамаз* «ненабожный» (Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 199); *намарт* «несмелый; трус» (там же, стр. 209) и др. в казахском языке имеют только местный характер: встречаются в его юго-западных говорах в тех же значениях (*бидерт*, *бидәулет*, *бинамаз*, *намарт*). Следует отметить, что такие арабские и иранские слова в казахском языке, как *найылаж* «безвыходный», *намақұл* «неподходящий; несообразный; неподобающий», *нәдұрыс* «неправильный», *биабырой* «обесчещенный, опозоренный; потерявший авторитет», *бинамыс* «бесчестный, непорядочный; беззастенчивый, нахальный», *биздеп* «невоспитанный», *бейтап* «нездоровый» и др., также имеют локальный характер распространения, в основном в указанных говорах.

Напротив, слова и формы, ставшие в казахском языке литературными, в некоторых тюркских языках встречаются как диалектные. Например, употребление неопределенно-именной формы глагола в местном падеже в современном казахском языке стало литературной нормой, утвердившейся, в основном, через периодическую печать, ее изоглоссы проходят по всему Казахстану. Например: *Совхоз малышлары оныншы бесжылдықтың бірінші жылын жемісті қортындылауға ұмтылуда* «Животноводы совхоза стремятся успешно закончить первый год десятой пятилетки» («Социалистик Казахстан», 14 IV 1976). Эта же форма встречается и в северном диалекте киргизского языка как показатель собственно-настоящего времени: *чоң роль ойноодо* «большую роль играет»²⁸. Если учесть, что основным ре-

²⁵ С. Аманжолов, указ. соч., стр. 307.

²⁶ Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфология, ч. I, М., 1952, стр. 265.

²⁷ К. М. Усаев, Значение диалектной лексики в сравнительной лексикологии тюркских языков, «Советская тюркология», 1973, 6, стр. 48.

²⁸ Н. З. Гаджиева, указ. соч., стр. 91.

гионом распространения показателя настоящего времени *-уда* является Казахстан, то можно предположить, что возникновение его в соседнем северном диалекте киргизского языка, а также в каракалпакском языке связано с влиянием казахского литературного языка.

Обращают на себя внимание и такие факты, когда диалектный характер некоторых форм и слов свойственен не одному языку, а группе языков, по крайней мере трем-четырем. Например, изоглосса вышеупомянутого аффикса *-сыңыз/-сіңіз* характерна не только для юго-западных говоров казахского языка, но и для северо-западного диалекта башкирского языка (*-сығыз/-сегез*), среднего диалекта татарского языка (*-сығыз*), акногайского диалекта ногайского языка (*-сыңыз*)²⁹. Так же обстоит дело с древней формой причастия будущего времени *-ур/-ур* в казахском и каракалпакском языках, которая сохранилась только в отдельных говорах этих языков. Н. А. Баскаков пишет: «В современном языке (каракалпакском. — К. Г.) причастие будущего времени образуется, как правило, посредством вариантов аффикса $\frac{-ар}{-ер}$, *-р*, варианты же с узкими гласными $\frac{-ыр}{-ур}$,

$\frac{-ур}{-юр}$ характерны только для некоторых застывших форм, главным образом для глаголов бытия: *тур-ур, отур-ур, джат-ыр, джюр-юр*, хотя в отдельных случаях они встречаются и в других основах, напр.: *сендей кызылар балагъа ана болур келишек* «девушки подобные тебе, невестушка, бывают уже матерями своих детей»³⁰. Аналогичных примеров, показывающих взаимоотношение казахских говоров с говорами и диалектами соседних тюркских языков, немало. Ряд таких фактов в виде комплексов фонетических и морфологических явлений представлен в упомянутой весьма полезной работе Н. З. Гаджиевой.

Из вышесказанного видно, что, во-первых, история образования и характер диалектных особенностей в современном казахском языке не выявляются в рамках одной кыпчакской группы тюркских языков, куда входит казахский язык. Сохраняя основные черты кыпчакской группы языков, казахские говоры исторически вступали во взаимоотношения со многими тюркскими и нетюркскими языками и диалектами, в результате подверглись их влиянию и сами также оказали влияние на их развитие. Во-вторых, Казахстан занимает огромную территорию, что, в свою очередь, обуславливает большое количество языков, контактирующих с казахским языком, не только среднеазиатских тюркских, но и восточных, северных, северо-западных тюркских языков. В этом особенность казахского в отличие от других среднеазиатских языков. Чтобы всесторонне понять сущность диалектных явлений казахского языка, недостаточно данных только среднеазиатского ареала. Здесь необходимо сравнение с ареалами Восточной Сибири, Северного Кавказа, Поволжья.

Однако сказанное не означает, что все диалектные явления имеют только общетюркский характер, среди них немало и таких, которым свойственен узкий межъязыковой характер, что связано с явлением языковой аттракции в смежных территориях языков соседствующих народов³¹. Например, казахи, проживающие в Туркмении или Каракалпакии, кроме родного, владеют также языками туркмен и каракалпаков. Такие явления встречаются в Узбекистане и Киргизии. В подобных смежных районах чаще всего образуются переходные говоры. Однако нельзя думать, что языковая аттракция может стать единственной причиной образования

²⁹ Там же, стр. 97.

³⁰ Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 425.

³¹ Н. З. Гаджиева, указ. соч., стр. 184—185.

переходных говоров в смежных районах. Она лишь способствует этому, потому что эти районы также входят в определенные диалектные массивы того или иного языка с характерными для них диалектными особенностями, как и другие говоры в смежных внутренних районах. В изучении системы таких переходных говоров имеет особое значение определение в них языковых черт, образовавшихся в результате естественного развития в условиях смежности языков.

Имеется еще одно важное обстоятельство, без учета которого невозможно изучать современное состояние системы говоров. Известно, что диалекты — явление древнее, они возникли раньше, чем литературные языки, поэтому сохранили гораздо больше архаичных форм. Вместе с тем диалект и развивающееся явление. «Современная диалектология оперирует таким понятием, как диалектное развитие. Под ним понимается такое явление языка, которое в отдельных говорах выступает в различных вариантах»³². Это особенно хорошо видно на примерах неологизмов в говорах. Например, в казахском языке после Октябрьской революции появилась масса неологизмов, однако не все они вошли в казахский литературный язык. Речь идет не о тех неологизмах, которые были в употреблении в литературном языке, но уже в начале 30-х годов устарели (слова типа *серіктес* «ТОЗ», *қосшы ұйымы* «союз косшы», *жалком* — *жалшылар комитеті* «батрачком», *болатком* «волостной исполком», *қызыл отау* «красная юрта, где обучали безграмотных») или в силу своего несовершенства заменялись другими словами (например, *кеңес* словом *совет*, *қайырма* — *үтір* «запятая», *жағырапия* — *география*, *шынышдық* — *реализм*, *хатшы* — *секретарь*). Речь идет о таких неологизмах, которые образовались в говорах и не вошли в общенациональный литературный язык, как *жар газеті* в м. лит. *қабырға газеті* «стенная газета», *ұя* в м. *ұйым* «организация», *аяқтай басшылық* в м. *тікелей басшылық* «непосредственное руководство», *барлау* в м. *тексеру* «ревизия», *корсетпе* в м. *нұсқау* «указание», *шақырыспа* в м. *мәжіліс* «заседание, совещание», *жаттыс күн* в м. *демалыс күн* «выходной день», *шара көру* в м. *шара қолдану* «принимать меры», *еңбек күн құю* в м. *еңбек күн есептеу* «заработать трудовни», *жүндіхана* в м. *жүн қабылдайтын орын* «приемный пункт шерсти» и т. д. Следует отметить, что некоторые из них в говорах выступают в различных вариантах: *жар газеті* имеет еще местные варианты *кереге газеті*, *дуал газеті*; *жаттыс күн* — *өттік* (от русск. *отдых*) и т. д.

С помощью производящих основ и словообразующих суффиксов, известных в общенародном языке, в говорах образовались такие производные слова-неологизмы, которые отсутствуют в литературном языке. Например, с помощью суффикса *-шы/-ші*: *кілтші* в м. лит. *қоймашы* «кладовщик», *айырушы* в м. *реттеуші* «сортировщик», *ақаныш* в м. *қызыл балық аулаушы* «ловец красной рыбы», *бұрыш* в м. *бұрғышы* «бурильщик», *оюшы* в м. *кен қазушы* «забойщик». С помощью суффикса *-лық/-лік*: *жұмышылдық* в м. *ұйымшылдық* «организованность», *ұштық* в м. *қалам ұш* «перо», *көжелік* «макаронны, вермишель», *қырсыздық* в м. *қыры*, *ыңғайы болмау* «безделие; безынициативность». *-Шылық/-шілік*: *күндікшілік* в м. *жалданып жұмыс істеу* «поденщина», *малдаршылық* в м. *мал шаруашылығы* «животноводство», *маманышлық* в м. *мамандық* «профессия, специальность», *біршілік* в м. *ұйымшылдық* «организованность», *мұғалімшілік* в м. *мұғалімдік* «учительствование» и т. д.

Многие из приведенных неологизмов в самих говорах имеют переходный характер: свойственны не одному говору, а нескольким или группе говоров. Например, *жар газеті*, *шара көру* характерны для группы западных

³² «Русская диалектология», М., 1972, стр. 6.

говоров; *шақырма ағаш* «километровые столбики» — для кош-агачского и восточного говоров. Характерным является и то, что диалектные неологизмы в говорах употребляются параллельно с их литературными вариантами, сливаясь с местной формой литературного языка. Их можно видеть на страницах местной печати: *Жар газеті мен жауынгерлік листок оқта-текте бір шығады* «Стенная газета и боевой листок выпускаются редко» («Колхоз жолы», газета Казталовского района Уральской области); *Өзі кереге газетінің шығарушысы* «Он сам — выпускающий стенной газеты» («Улгили колхоз», газета Енбекши-Казахского района Алма-Атинской области); *Оны аудандық денсаулық бөлімі ескеріп, тиісті шарасын көргені жөн* «Райздравотделу это надо учесть и принять необходимые меры» («Екпінди балықшы», газета Аральского района Кзыл-Ординской области).

При изучении системы современных говоров должно приниматься во внимание их взаимоотношение с литературным языком и просторечием. Общеизвестными положениями о том, что современный литературный язык обогащается за счет лексики говоров и своим влиянием приводит к постепенному их исчезновению, — не исчерпывается взаимодействие литературного языка и говоров. В современных говорах идет сложный процесс, который проявляется и в заимствованиях из литературного языка не только лексических, но и фонетических и грамматических форм, и в образовании в них самих литературно-диалектных дублетов типа *қой-ешкі — жандық* «мелкий рогатый! скот», *орамал, сүлгі — шашық* «полотенце», *қияр — бәдірең* «огурец», *құдағи — құдағай* «сваха», *атеш — қораз* «петух», *сыбыртқы/сібіртки, сыпырғыш — сіпсе* «веник»; в появлении новых слов и форм (см. выше неологизмы), что приводит к образованию местных разновидностей литературного языка. Известно, что литературный язык повсеместно не используется одинаково: в местных условиях в литературный язык вносятся некоторые изменения, главным образом, локального характера.

Что касается взаимоотношения говоров и просторечия, то об условности их границы Ф. П. Филин пишет: «... граница между областными и разговорно-просторечными словами подвижна, с течением времени изменяется; даже с точки зрения норм современного языка на данном этапе его развития не всегда можно с полной уверенностью определить, является ли слово областным или разговорно-просторечным»³³. Сказанное подтверждается и данными казахского языка. Происхождение многих просторечных форм и слов, встречающихся в современном казахском языке, связано с диалектными особенностями. Например, в просторечии: *жэй* вм. лит. *жай* «так; просто», *шэй — шай* «чай», ср. в чуйском говоре: *жэн* вм. *жан* «душа», *місәлі — мысалы* «например», *ләж* «выход; способ»; в просторечии: *дүз — тұз* «соль», *дiзе — тізе* «колено», *дiзгiн — тізгiн* «повод», ср. в мангышлакском говоре: *дым — тым* «совсем; чересчур», *дермен — тиірмен* «мельница», *дұрбат — тұрпат* «облик; физиономия»; в чуйском говоре: *дерезе — терезе* «окно», *дүзу — тұзу* «прямо», в просторечии: *сүгірет — сурет* «рисунок», *жігірма — жиырма* «двадцать», *кигіз — киіз* «кошма», *құмған — құман* «кувшин», ср. в юго-западных говорах: *егер — ер* «седло», *бігіз — біз* «шило», *еге — ие* «хозяин». Нижеследующие наречные формы типа *кешкісін* вм. лит. *кешкі* «вечером», *ертеңісін — ертең* «утром», *тіптен — тіпті* «даже; вовсе», *тағын — тағы* «еще»; глагольные формы: *тараю* вм. *тарылу* «суживаться», *сақаю — сауығу* «выздороветь», *ұзаю — ұзару* «удлиняться», употребление местного падежа вм. направительного, исходного падежей, исходного вм. инструментального падежа и т. д. могут

³³ Ф. П. Ф и л и н, Об областном словаре русского языка, «Лексикографический сборник», П., М., 1957, стр. 5.

быть и диалектными, и просторечными. Эти просторечные формы в данное время встречаются почти повсеместно в отличие от локализованных диалектных форм, что является результатом развития казахского языка в последующие периоды. По этому поводу Л. И. Баранникова пишет: «... просторечие не обладало и не могло обладать четкой структурной целостностью. Просторечие возникло на базе разных диалектов, имеющих каждый свою систему»³⁴.

Выше затрагивались некоторые вопросы системы говоров казахского языка в синхронном аспекте. Разумеется, сказанным не исчерпываются проблемы изучения сосуществующих частных диалектных систем в составе языка, в котором в наше время происходит сложный процесс взаимодействия литературного языка и диалектов.

³⁴ Л. И. Баранникова, Просторечие как особый социальный компонент языка, сб. «Язык и общество», 3, Саратов, 1974, стр. 12.

ПЕСТОВ В. С.

ОБ ОТРАЖЕНИИ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ГЛАГОЛЕ КЕЧУА

Морфологическая репрезентация в глаголе субъекта и объекта действия и, в более широком смысле, выражение отношений между участниками описываемой ситуации, а также между последними и собственно действием занимает важное место в системе форм кечуанского глагола¹. Совокупность форм, отражающих эти отношения, целесообразно выделить в особый класс среди прочих глагольных категорий кечуа, включив в него, кроме форм, традиционно относимых к залоговым (рефлексив, пассив), такие явления, как версию или субъектно-объектное спряжение.

Рассматриваемый вопрос кечуологами специально не изучался, хотя приводимые ниже факты так или иначе отмечаются в большинстве грамматик кечуа².

Наиболее заметно отношения между субъектом и объектом проявляются в субъектно-объектном спряжении, отражающем, хотя и не полностью, лицо и число как субъекта, так и объекта действия. В общих чертах оно может быть представлено в следующем виде³:

<i>tuna-yki</i>	«я тебя люблю»	<i>tuna-ykiku</i>	«мы тебя любим»
<i>tuna-ykichis</i>	«я вас люблю»	<i>tuna-ykiku</i>	«мы вас любим»
<i>tuna-wanki</i>	«ты меня любишь»	<i>tuna-wankichis</i>	«вы меня любите»
<i>tuna-wankiku</i>	«ты нас (экскл.) любишь»	<i>tuna-wankiku</i>	«вы нас (экскл.) любите»
<i>tuna-wankiku</i>	«ты нас (инкл.) любишь»	<i>tuna-wankichis</i>	«вы нас (инкл.) любите»
<i>tuna-wan</i>	«он меня любит»	<i>tuna-wanku</i>	«они меня любят»
<i>tuna-sunki</i>	«он тебя любит»	<i>tuna-sunkiku</i>	«они тебя любят»
<i>tuna-wanku</i>	«он нас (экскл.) любит»	<i>tuna-wanku</i>	«они нас (экскл.) любят»
<i>tuna-wanchis</i>	«он вас (инкл.) любит»	<i>tuna-wanchis</i>	«они нас (инкл.) любят»
<i>tuna-sunkichis</i>	«он вас любит»	<i>tuna-sunkichis</i>	«они вас любят»

Обращает на себя внимание недостаточность форм (из сорока девяти теоретически возможных сочетаний находят выражение лишь двадцать) и их частичная омонимия. Так, отсутствуют формы для выражения 3-го лица объекта; за рамками субъектно-объектного спряжения оказываются и те случаи, когда лицо субъекта и объекта совпадают. Такие формы обслуживаются показателем рефлексива *-ku*, например: *armakuy*⁴ «купаться» (*armay* «купать»), *watakuy* «привязываться» (*watay* «привязывать»),

¹ Субъектно-объектные отношения представлены и в морфологии кечуанского имени, прежде всего, в виде характерной для номинативных языков оппозиции падежа подлежащего (именительного) и объектных падежей (винительного, дательно-направительного).

² Так, Е. И. Царенко выделяет в глаголе кечуа категории «направленности действия» и «личной направленности действия» [Е. И. Ц а р е н к о, К проблеме слова в агглютинативных языках (на материале языка кечуа). КД, М., 1973, стр. 68—69 и 73—75]. Частичное освещение — с точки зрения континентальной типологии — этот вопрос получил в книге Г. А. Климова «Типология языков активного строя» (М., 1977).

³ Статья написана в основном на материале говора Куско. Примеры даны в практической орфографии, распространенной в Перу (*ch* = *ç*, *ll* = *λ*, *ñ* = *ɲ*, *q* — глухой вулярный взрывной, *h* после согласных означает аспирацию, ' — глоттализацию).

⁴ Форму отглагольного имени на *-y* принято считать словарной.

wesq'akuu «запирать себя» (*wesq'ay* «запирать»). Рефлексивное значение форманта *-ku* обычно отмечается в исследованиях по языку кечуа.

В то же время наличие таких глаголов с этим суффиксом, как *ruwakuu* «делать для себя», *llank'akuu* «работать на себя», *hap'ikuu* «брать себе», *tapikuu* «спрашивать для себя» и др.⁵, свидетельствует, на наш взгляд, о версии этого суффикса (в данном случае речь идет о субъектной версии), сосуществующем с рефлексивным. Поиск показателя объектной версии приводит нас к суффиксу *-pu*, противопоставляемому *-ku*, например, в таких парах глаголов: *akllakuu* «выбирать себе» — *akllapu* «выбирать для кого-то», *takikuu* «петь для себя» — *takipu* «петь для кого-то», *tañakuu* «просить для себя» — *tañapu* «просить для кого-то» и т. д. (при наличии *akllay* «выбирать», *takiu* «петь», *tañay* «просить»). Многочисленность примеров такого рода позволяет предположить существование в языке кечуа версии как регулярной грамматической категории. Несомненная взаимозаключаемость *-ku* и *-pu* представляется также веским доводом в пользу того, что речь идет о двух значениях в рамках одной словоизменительной категории. Опираясь на картвелистическую традицию, мы считаем возможным различать в кечуа: 1) субъектную версию (объект предназначен или принадлежит субъекту), 2) объектную версию (объект предназначен или принадлежит другому объекту, или точнее — объект не предназначен или не принадлежит субъекту или отчуждается от него) и 3) нейтральную версию, не отражающую предназначения или принадлежности объекта субъекту или другому объекту.

К отмеченным выше функциям суффикса *-ku* следует добавить его употребление как показателя имперсоналиса: *nikun* «говорится, говорят» (*niy* «говорить»), *yachakun* «известно» (*yachay* «знать») и т. д. Безличные формы могут приобретать дополнительный оттенок возможности совершения действия: *chayakun* «можно добраться» (*chayay* «достигать, добираться») ⁶. В ряде глаголов субъектно-версионное значение *-ku* заметно стирается: так, *asikuu* «смеяться», *suwakuu* «воровать», *llullakuu* «лгать», по-видимому, вытесняют нейтральные формы (соответственно *asiy*, *suway*, *llullay*).

Среди особенностей суффикса *-pu* отметим, что кроме отчуждаемости объекта от субъекта в широком смысле слова, он передает в глаголах движения и более конкретную идею физического удаления, например, *ripuy* «уходить» (*riy* «идти»). Весьма сходное явление находим в адыгейском языке, где префикс так называемой «объектной» версии *фэ-* «производит также глаголы, выражающие направление действия в сторону кого-либо, чего-либо: *фэ-кIон* „идти в сторону кого-либо, чего-либо“ ⁷.

Идея предназначности для кого-то (и выражающий ее суффикс *-pu*) присутствует и в формирующемся в кечуа глаголе обладания *kariyu*. Сочетание морфемы *ka-* «быть, иметься, существовать» с суффиксом объектной версии закономерно стало означать «иметься для (у) кого-то». Для конкретизации лица обладателя служат показатели субъектно-объектного спряжения: *kariwan* «у меня (это) есть», *kapusunki* «у тебя (это) есть» и т. д. ⁸.

⁵ См. также примеры у Г. А. Климова (указ. соч., стр. 239).

⁶ Ср. аналогичное положение в картвельских (особенно в мегрельском и чанском) языках, где значение потенциалиса в отдельных глаголах связано с префиксом *i-* (он же показатель субъектной версии), исходное значение которого — рефлексив. См.: А. С. Ч и к о б а в а, Грамматический анализ чанского диалекта (с текстами), Тбилиси, 1942, стр. 40 (на груз. яз.).

⁷ М. А. К у м а х о в, Адыгейский язык, в кн.: «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 157.

⁸ Характерно, что индейцы кечуа, недостаточно владеющие испанским языком, употребляют в своей испанской речи выражение *me lo hay* букв. «мне это есть» вместо исп. *tengo* «имею».

Как частный случай манифестации субъектно-объектной связи отметим также категорию взаимности, отражающую отношение взаимодействия между актантами. Реципрокальные формы обслуживаются суффиксом *-naki*: *taqanakiyu* «драться» (*taqay* «бить»), *rimanakiyu* «беседовать» (*rimay* «говорить»).

Особого рассмотрения заслуживает формант *-chi*, широко употребляемый для образования побудительных (каузативных) форм глаголов: *qelqachiy* «заставлять писать» (*qelqay* «писать»), *mikhuchiy* «кормить» (*mikhuy* «есть»), *ruwachiy* «заставлять делать» (*ruway* «делать»), *rimachiy* «заставлять говорить» (*rimay* «говорить») и т. д. В то же время обращают на себя внимание и такие формы с суффиксом *-chi*, которые едва ли могут толковаться как каузативные, например: *t'impuchiy* «кипятить» (*t'impuy* «кипеть»), *huchallichiy* «обвинять» (*huchalliy* «быть виноватым»), *wañuchiy* «убивать» (*wañuy* «умирать»), *thasnuchiy* «гасить» (*thasnuy* «гаснуть»). Подобные формы, как отмечает Г. А. Климов, «обозначают распространение действия за пределы активного актанта» и интерпретируются им как формы транзитива или центробежной версии («кипятить»), противопоставляемые формам нецентробежной версии («кипеть») ⁹. «Соответственно функции признака центробежной версии, — пишет Г. А. Климов, — по-видимому, выполняли аффиксы *-ya* в аймара и *-çi* в кечуа» ¹⁰. Мы разделяем эту точку зрения, тем более, что вышеприведенное определение транзитива, как нам кажется, не исключает появления каузативного значения у транзитивных глаголов. Подчеркнем, однако, что Г. А. Климов (вслед за Л. И. Жирковым) говорит об «остаточном функционировании центробежной и нецентробежной версий в кечуанском глаголе» ¹¹ и что для современного состояния языка а сам смысл рассматривать образование с *-chi* частью как новые лексемы (а сам суффикс *-chi* как словообразовательный) в таких случаях, как *munachiy* «предлагать» (*munay* «хотеть, любить»), *thasnuchiy* «гасить» (*thasnuy* «гаснуть»), частью как каузативные формы, противопоставляемые некаузативным: *qelqachiy* «заставлять писать» (*qelqay* «писать»). О распаде категории центробежности/нецентробежности могут свидетельствовать и регистрируемые, хотя и нерегулярно, такие пары глаголов, как *ch'akichiy* «сушить» — *ch'akikuy* «сохнуть», *allinyachiy* «улучшать» — *allinyakuy* «улучшаться», *qaqayachiy* «укреплять» — *qaqayakuy* «укрепляться», в которых идея интранзитива «подкрепляется» суффиксом *-ku*, очевидно, в рефлексивном значении, т. е. противопоставление транзитива и интранзитива переосмысливается как противопоставление нерелексива и релексива.

Картина грамматического отражения субъектно-объектных отношений в кечуанском глаголе была бы неполной без упоминания о страдательном залоге. Пассивная конструкция в языке кечуа образуется сочетанием пассивного причастия-имени с глаголом бытия *kay*. Имя субъекта действия имеет форму род. падежа: *wasiga wayqeyra hatarichisqan kan* «дом построен моим братом». Генитив актанта обусловлен тем, что кечуанское пассивное причастие объединяет в себе как адъективные, так и субстантивные свойства, т. е. выражение *wayqeyra hatarichisqan* вполне может мыслиться как посессивная конструкция: «строение» (букв. «построенное») брата». Таким образом, пассивная конструкция базируется на наличествующих в кечуа грамматических категориях и ее существование можно считать естественным следствием языковой эволюции. Это не означает, что сама идея и даже форма пассива не могли быть заимствованы из испанского языка ¹². Мы

⁹ Г. А. Климов, указ. соч., стр. 140—141.

¹⁰ Там же, стр. 241.

¹¹ Там же.

¹² В связи с этим можно отметить употребление в пассивной конструкции глагола *kay* в не свойственной для него функции связи. Ср. такие формы именного сказуемого, как *chay wasiga misoqti* «этот дом новый», где связка отсутствует.

лишь хотим сказать, что пассив мог бы развиваться в кечуа и при иных обстоятельствах, т. е. без длительного и тесного контакта с испанским языком¹³. Как бы то ни было, и на морфологическом, и на синтаксическом уровнях пассивная конструкция в кечуа представляется элементом периферийным и, по-видимому, относительно новым. В некоторой степени это объясняется тем, что для актуализации отдельных членов высказывания язык кечуа располагает специальными (и весьма употребительными) аффиксами: *-qa* и *-ri* для темы и *-n* (*-mi*), возможно, *-taq*, для ремы. Нельзя исключить, что нерегулярное оформление прямого дополнения показателем аккузатива *-ta* также может найти объяснение при анализе на уровне актуального членения предложения (ср., например, функции показателя прямого дополнения *-rā* в современном персидском).

Таким образом, в рамках рассматриваемой тематики для современного состояния кечуа можно выделить следующие категории: лицо и число субъекта и объекта, версию (субъектную, объектную, нейтральную), рефлексив, взаимность, каузатив, безличность, залог (активный и пассивный), обслуживаемые показателями субъектно-объектного и субъектного спряжений, а также суффиксами *-ku*, *-pu*, *-naku*, *-chi* и аналитической конструкцией с причастием на *-sqa* для пассива.

Может возникнуть вопрос: нельзя ли объединить значения форм на *-ku* в единой категории среднего залога? Ср. в связи с этим следующее замечание Э. Бенвениста относительно индоевропейского медиа: «Если взять индоевропейские языки в целом, то факты представляются часто настолько разнообразными, что для того, чтобы охватить их все, приходится довольствоваться весьма расплывчатой формулой, которая почти дословно повторяется у всех компаративистов: средний залог, по-видимому, указывает только определенное отношение между действием и субъектом, а именно „заинтересованность“ субъекта в действии. Более точное определение среднего залога, по-видимому, невозможно, ибо пришлось бы перечислять частные употребления, в которых средний залог имеет узкое значение — посессивности, возвратности, взаимности и т. п.»¹⁴. Мы пошли по пути вычленения «узких значений», так как с обособлением субъектно-объектной версии получаемые в остатке частные категории оказываются лишенными единого центра тяжести — понятия «заинтересованности». Дело осложняется сосуществованием в современном кечуа разных типологических пластов, так что, даже признавая медиальный характер некоторых образований на *-ku*, едва ли можно сказать определенно, развилось ли это медиальное значение из субъектно-версионного, или, напротив, это последнее с возникновением оппозиции форм на *-ku* и *-pu* обособилось от первоначального медиа.

С большей определенностью к более старым грамматическим пластам восходят двухличное спряжение и особенно категория центробежности/пецентробежности, которую мы застаем уже в стадии почти полного распада; к новообразованиям относится страдательный залог.

В целом можно констатировать, что кечуанский глагол, ранее фокусирующий в себе отношения между действием и его участниками, перестраивает систему своих форм под воздействием тенденции к рассредоточению грамматических показателей этих отношений и к повышению удельного веса склоняемых форм.

¹³ Так, нельзя отрицать возможность развития пассива из рефлексива на *-ku*. Мы, однако, не располагаем надежными данными на этот счет.

¹⁴ Э. Бенвенист. Общая лингвистика, М., 1974, стр. 186.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

М. А. Жовтобрюх, В. М. Русановский, В. Г. Скляренко.

Исторія української мови. Фонетика. — Київ, «Наукова думка», 1979. 368 стр.

Монография, посвященная исторической фонетике украинского языка, является составной частью большого издания «Исторія української мови», предпринятого Институтом языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. Как известно, в 1978 г. вышел том «Морфология», на очереди — «Синтаксис» и «Лексикология».

Имеются все основания утверждать, что рецензируемая монография свидетельствует о качественно новом этапе развития исторической фонетики украинского языка как науки. Это обусловлено, во-первых, тем, что авторы располагали богатыми новыми материалами, полученными в результате исследования памятников письменности, отражающих различные этапы развития украинского языка (а также и других славянских языков); во-вторых, в последние десятилетия бурное развитие получила также синхроническая и диахроническая диалектология украинского языка, существенно помогающая освещению многих явлений исторической фонетики; в-третьих, значительно обогатилась теоретическая база языкознания.

Пришло время обобщить многие факты, бытующие в нашей науке в разрозненном виде, и осветить их под углом зрения современной теории. Это и сделали с исчерпывающей полнотой, на высоком теоретическом уровне авторы рецензируемой монографии: В. М. Русановский («Введение», стр. 1—62), М. А. Жовтобрюх (раздел «Фонетика», стр. 63—329) и В. Г. Скляренко (подраздел «Праславянские интонации и их отражение в украинском языке», стр. 330—344).

Во «Введении» В. М. Русановский на основе огромной отечественной (и не только отечественной) литературы, пропущенной сквозь призму собственных взглядов, освещает ряд важнейших методологических вопросов, имеющих принципиальное значение для изучения истории украинского языка на всех ее уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексикологическом). Это — общеславянские языковые особен-

ности, язык Киевской Руси как первый литературный язык восточных славян, возникновение трех восточнославянских народностей и их языков, возникновение и развитие староукраинского литературного языка, периодизация украинского литературного языка, украинский язык среди других славянских и ряд других вопросов, не менее важных, непосредственно связанных с указанными. Здесь же дается перечень важнейших памятников письменности украинского языка и трудов по истории украинского языка. Однако рядом с «Курсом украинского литературного языка» под ред. акад. И. К. Белододе необходимо было упомянуть и «Очерки истории украинского литературного языка» П. П. Плюша.

Особенно важным для историка украинского языка является вопрос периодизации собственно украинского языка. В. М. Русановский кладет в основу периодизации признаков его стилистической разветвленности и различает в донациональном украинском литературном языке два периода развития: XVI — первая половина XVII в. и вторая половина XVII—XVIII в. Период XIV—XV вв. — это этап общего украинско-белорусского литературного языка. Новый украинский язык (национальный) представлен тремя периодами: XVIII — первая половина XIX в.; вторая половина XIX — начало XX в.; 20—70-е годы XX в. (советский период). Думается, что такая периодизация, построенная на стилистическом принципе, не только не исключает, а, наоборот, предполагает возможность и необходимость также и других периодизаций, учитывающих, например, структурный принцип, подтверждением чего служит хотя бы периодизация развития фонетических явлений украинского языка, которой придерживается М. А. Жовтобрюх, о чем следовало бы сказать В. М. Русановскому и во «Введении», тем более, что этот раздел структурно относится не только к «Фонетике», а ко всей серии издания «Истории украинского языка».

В основной части книги, «Фонетике»,

освещается история звуковой системы украинского языка с древнейших времен до наших дней.

В основу анализа кладется классификация, базирующаяся на внутренних законах звуковой системы языка. Соответственно в древнерусском языке выделяются два периода. Первый — фонетическая система древнерусского языка конца X — середины XI в., сформировавшаяся в результате падения носовых гласных, развития полногласия, изменения начального *je* → *o*, *kv* → *cv*, *gv* → *zv* и др., и обусловленных этими процессами трансформаций в фонологических отношениях. Все специфически украинские звуковые черты, возникшие еще в древнерусском языке, относятся к периоду после середины XI в. и связаны с дальнейшей фонетической эволюцией. Второй период древнерусского языка начинается падением редуцированных гласных *ъ* и *ь*. Его характеризуют изменение *ѣ* → *i*, слияние гласных *ы* и *i* в одном звуке *и*, депалатализация согласных перед *e*, возникновение долгих *ѣ* и *ѣ* в новом закрытом слоге и ряд других особенностей, ставших позже дифференциальными признаками украинского языка, образование которых можно датировать XIV в.

Кроме «Вводных замечаний», раздел «Фонетика» включает несколько подразделов, в которых кратко рассматриваются звуковой состав праиндоевропейского языка, древнейшие звуковые изменения, происходившие в процессе формирования праславянского языка, звуковые изменения общеславянского периода, фонетическая система восточнославянского языка раннего периода (VI—VII вв.) и подробно звуковые изменения древнерусского языка дописьменного (VII—X вв.) и письменного периодов (XI—XIII вв.), формирование фонетической системы украинского языка, а также поздние фонетические изменения уже на почве украинского языка. Отдельно выделен подраздел «Праславянские интонации и их отражение в украинском языке».

Оценивая в целом положительно раздел «Фонетика», мы все же считаем, что, приступая к диахроническому анализу звуковой системы украинского языка с древнейших времен и до наших дней, автору вначале следовало бы определить основные единицы, подлежащие анализу. Среди них, очевидно, были бы фонема (а не звук), слог и ударение. Наблюдения над ними должны пройти через всю работу, начиная с праиндоевропейского языка, где нужно было бы сказать и о характере слога в ту эпоху, о звуках, выполняющих слогаобразующую функцию, о природе ударения. К сожалению, слог привлекает внимание автора только спорадически, в связи с объяснением причин некоторых фонетических изменений, а ударение — еще меньше. Выделение вопроса об ударении в отдельный, очень краткий под-

раздел «Праславянские интонации и их отражение в украинском языке» не компенсирует отсутствия его анализа в связи с эволюцией фонетической системы в целом.

Необходимо, подчеркнуть, что в рецензируемой книге историческая фонетика украинского языка впервые изучается в неразрывном единстве двух аспектов — фонетического и фонематического. М. А. Жовтобрюх во «Вступительных замечаниях» четко устанавливает взаимосвязь этих аспектов при анализе звуковой системы и звуковых процессов в каждый период развития украинского языка, а затем с должным вниманием относится как к истории фонетических процессов, так и к истории фонематических отношений. Автор вполне справедливо проводит мысль о том, что любые изменения, даже мельчайшие, в конечном счете имеют фонологическое значение, поскольку они изменяют конкретную реализацию тех или иных фонологических единиц. В работе проводится четкое размежевание очевидных звуковых изменений, влияющих на фонемные отношения, и звуковых изменений периферийных, не несущих на данном этапе функциональной нагрузки, но могущих потенциально перейти из фонетических в фонематические.

Автор последовательно различает также изменения состава фонем в морфеме или в слове, с одной стороны, и изменения самого состава фонем в системе, с другой. Такое принципиальное разграничение этих двух типов изменений, особенное внимание ко второму типу ранее не было известно в украинистике. Большое внимание в работе уделено также истории дистрибутивных связей гласных и согласных, а также хронологии звуковых явлений. Важнейшие фонематические изменения в истории украинского языка были, конечно, уже предметом анализа. Автор в полном объеме обобщил все сделанное до него, глубоко и критически проанализировал все известные точки зрения на каждое явление, выразил собственное к ним отношение, выделил дискуссионные вопросы. Вместе с тем книга ни в коем случае не является пересказом известных ранее фактов. Автор использует их как звенья одной цепи больших и малых фонетических процессов в истории украинского языка. Многие параграфы книги одновременно являются изложением итогов самостоятельных научных исследований.

Особенного внимания заслуживают взгляды автора на некоторые фонетические явления, высказанные в литературе им впервые, или же такие, которые до сих пор остаются спорными.

В этом плане интересной представляется аргументация М. А. Жовтобрюха о давности происхождения аффрикаты *dʒ* в украинском и белорусском языках (стр. 88—91). Он отрицает утверждения

некоторых исследователей о том, что она не фиксируется письменными древнерусскими памятниками, а также украинскими и белорусскими до XVII в., на том основании, что в древнерусский период и в первые столетия развития староукраинского литературного языка звук, соответствующий общеславянскому *dj*, передавался при помощи различных букв — ч, чж, дч и др. Это, по мнению автора, как раз и свидетельствует о том, что он звучал отлично от *ž*, для обозначения которого в кириллическом алфавите существовала буква ж. Подтверждают давность аффрикаты *dž* существительные типа *меджа*, *саджа*, *пряджа* на всей территории распространения юго-западной группы украинских диалектов, а в глагольных формах *саджю*, *саджати*, *саджений* аффриката *dž*, часто рядом с *ž*, распространена не только в юго-западных говорах, но и в северных, формы же *саджю*, *хаджю* распространены в говорах нового образования. Новым является объяснение случаев нарушений рефлексации давних *й*, *ѣ* в различных диалектах влиянием аналогии (ср. диалекты. *грошей*, *людей*, *коний* и литерат. *грошей*, *людей*, *коней*).

Результаты ассимиляции в звукосочетаниях «смягченный согласный + *j*» во всем их разнообразии, как они сложились в восточнославянских языках и их диалектах, М. А. Жовтобрюх склонен объяснить неодинаковой степенью палатализации переднеязычных согласных, что подтверждается данными русских, украинских и белорусских говоров: высокая степень палатализации переднеязычных (например, в белорусском языке и большинстве украинских говоров) обязательно вызывает ассимиляцию последующего *j*, и, наоборот, слабая палатализация переднеязычных (например, в большинстве русских говоров) или их твердость (например, губные в украинском языке) не вызывают ассимиляции последующего *j*.

История гласных *i*, *y* прослеживается на огромном диалектном материале с учетом различных артикуляционных особенностей древнерусского *i* на всей восточнославянской языковой территории. Анализируя переход *e* → *o*, автор не без основания утверждает, что процесс лабиализации *e* перед твердым согласным начался сначала после исконно мягких *ž*, *š*, *š* еще в период до депалатализации согласных перед гласными *e*, *i* в южных и юго-западных говорах древнерусского языка, т. е. в конце X — первой половине XI в., а после согласных вторичного смягчения — примерно во второй половине XII — начале XIII в.

Значительный интерес представляют его соображения относительно рефлексации *ѣ* в говорах различных славянских языков, освещения полногласных форм, процесса сближения *o* с *u*, хронологии депалатализации, судьбы мягких шипящих в различных говорах украинско-

го языка в связи с их депалатализацией и многих других вопросов.

Есть в работе, конечно, и дискуссионные утверждения, а также некоторые упущения.

Так, фонологический аспект в некоторых местах все же выдержан недостаточно строго. Это проявляется в том, что в основу анализа кладутся звуки, а не фонемы, и даже классифицируются звуки, хотя на самом деле имеются в виду, как правило, фонемы.

Как известно, причина фонологизации звуков может быть только функциональная. Недочет этого принципиального положения ведет к тому, что возникновение некоторых новых фонем остается без объяснения, как это имеет место на стр. 82, где только констатируется, что в результате изменения *s* → *x* в определенных позициях расширилось функционирование последнего и появилась новая фонема */x/*.

На стр. 135 в § 42 «Фонетическая система восточнославянского языка раннего периода (VI—VII вв.)» дается классификационная таблица гласных, в которой различаются три степени подъема: нижний, средний и верхний. При этом гласные *ѣ*, *ь* и *ѝ* помещаются между гласными верхнего и среднего подъема, а в тексте автор поясняет, что их можно назвать звуками средне-верхнего подъема. Выходит, традиционная схема не отвечает настоящему положению? Сама система гласных требует, чтобы в таблице было четыре подъема: нижний, средний, средне-верхний и верхний. Не случайно автор на стр. 229, характеризуя влияние падения редуцированных на фонологическую систему древнерусского языка, отмечает, что «в составе гласных переднего ряда вместо четырех противопоставлений, свойственных каждой фонеме, осталось лишь три». Чтобы быть последовательными, нужно для таблицы гласных современного украинского языка выделить четыре степени подъема (средне-верхний — для *и*).

Обращает на себя внимание недостаточно четкая классификация согласных по дифференциальным признакам — ДП (стр. 138—139 и др.): по месту образования (лучше — по активному и пассивному речевому органу), по способу образования, по участию голоса и шума. А мягкие и полумягкие просто перечисляются, без учета их противопоставления по ДП твердости — мягкости.

Представляется неправомерным противопоставлять гласные не по ДП, а каждую фонему в отдельности всем остальным (стр. 135, 151). Такое противопоставление ничего не даст для понимания системных отношений.

Нельзя согласиться с тем, что противопоставление согласных в древнерусском языке XI—XIII вв. выступает в книге не бинарным, а многосторонним,

например: *бблъ — пблъ — сблъ — дблъ* и др. (стр. 174).

М. А. Жовтобрюх уделит много внимания вопросу о причинах фонетических изменений. Многие его суждения интересны, но в некоторых случаях вместо первопричины фактически объясняется только механизм изменения. Так, например, говоря об изменениях *ε* и *ο*, он пытается переход их в *ä*, и объяснить физиологическими условиями артикуляции этих гласных. Однако остается все же неясным, почему *ο* (звук среднего подъема) перешел в звук верхнего подъема *u*, а *ε* (тоже звук среднего подъема) — в звук нижнего подъема *ä*.

Неубедительно объясняется изменение *l* — *й* в глаголах прошедшего времени. Почему в существительных типа *орел, стіл, віл* конечный *l* сохраняется по аналогии с формами косвенных падежей (ср.: *орла, стола, вола*), а в глаголах прошедшего времени типа *знав, дав* аналогия не проявилась (ср.: *знала, дали; знали, дали*)?

Праславянские интонации В. Г. Склярченко освещает традиционно, со ссылкой на соответствующие труды по акцентологии. Здесь же рассматриваются и рефлексы некоторых праславянских звуко-сочетаний на восточнославянской почве,

связанные с различными типами древнейших интонаций.

Список использованной литературы содержит около 400 названий, однако излишним было бы его дополнять еще двумя статьями П. Д. Тимошенко: «Взаимосвязи между фонетическими и морфологическими явлениями в украинском языке» (сб. «Питання історичного розвитку української мови», Х, Харьков, 1962) и «Зависимость между фонетическими и лексическими явлениями в украинском языке» (журнал «Українська мова і література в школі», 1965, 9), имеющими непосредственное отношение к материалам монографии.

В заключение нужно сказать, что указанные недостатки никак не влияют на общую высокую оценку книги, которая представляет собой фундаментальное исследование. Она отличается богатством и свежестью привлекаемого материала, стройностью и последовательностью изложения. Читатель найдет в этой книге множество научно, на современном теоретическом уровне освещенных фактов по исторической фонетике украинского языка, каких нет в таком объеме ни в одной другой книге, посвященной этой же теме.

Тоцькая Н. И.

И. А. Сизова. Становление германского глагольного словообразования.

На материале готского языка — М., «Наука», 1978. 295 стр.

Проблема глагольной префиксации в древних германских языках, в частности, в готском, выходит далеко за рамки узкограмматического вопроса. Решение ее имеет кардинальное значение для исследования типологии и структурного своеобразия германских языков как одной из ветвей индоевропейского. В частности, уже давно стоит вопрос о том, можно ли допустить в германских языках, как и в славянских, существование ярко выраженной видовой категории, реализуемой с помощью префиксации, как это впервые было декларировано В. Штрайтбергом. Вот почему наиболее выдающиеся лингвисты прошлого и настоящего снова и снова обращались к этому вопросу, хотя, к сожалению, до сих пор в него не внесено достаточной ясности. Вполне понятно, что исследование семантической и функциональной сторон глагольной префиксации в древних германских языках представляет и огромный самостоятельный интерес, ибо подобный анализ дает возможность понять ее сущность, специфику и особенности эволюции. Именно такие задачи и поставлены в рецензируемой монографии. На материале готского языка детально и всестороннему анализу в книге подвергаются: 1) степень семантико-функционального

обособления превербов от однокоренных самостоятельных единиц (предлогов и наречий) и 2) характер и конкретные формы зависимости между семантико-функциональными особенностями превербов и изменениями в синтаксических свойствах глаголов с этими превербми по сравнению с однокоренными простыми глаголами. Особое внимание уделяется выявлению условий, в которых наблюдаются сходные значения коррелирующих единиц (стр. 8). При этом, как и В. В. Виноградов и Е. С. Кубрякова¹, И. А. Сизова справедливо считает, что полная утрата превербми семантической соотносительности с однокоренными самостоятельными единицами не является обязательным признаком префикса как словообразовательной морфемы. В связи с этим степень семантической и функциональной обособленности преверба от его автономных коррелятов не рассматрива-

¹ В. В. Виноградов, Современный русский язык. Морфология, М., 1952, стр. 209—213; Е. С. Кубрякова, Именное словообразование в древних германских языках, в кн.: «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 126—127.

ется автором как прямой показатель его морфологического статуса (стр. 9—10).

Исследование И. А. Сизовой отличается полнотой проанализированного материала, тщательностью анализа и большой теоретической важностью сделанных выводов. Достоинством книги является то, что рассматриваемый в ней материал подвергается статистической обработке (установление количественного соотношения различных случаев реализации того или иного явления в рамках имеющих текст). Рецензируемая монография состоит из трех глав, заключения и двух приложений. В первой главе (стр. 18—67) превербы рассматриваются как модификаторы глагольной семантики. Говоря о смысловой структуре превербов, автор имеет в виду число передаваемых ими значений, их характер и степень общности. В этой связи автор рассматривает: 1) коррелятивные значения превербов, т. е. значения, сходные или совпадающие со значениями однокоренных предлогов или наречий (они использовались главным образом для ограничения глагольного действия пространственными или временными пределами, а также для указания на совместный характер его выполнения), 2) некоррелятивные значения (значения, в которых находил свое конкретное выражение процесс семантико-функционального обособления превербов от автономных коррелятов), 3) идиоматические значения (семантическое опрощение глаголов с превербами происходило за счет полной утраты их компонентами смысловой связи с однокоренными самостоятельными единицами и в каждом отдельном случае носило, как правило, индивидуальный характер), ср.: *qiman* «приходить» — *usqiman* «убить», *brikan* «ломать» — *ufbrikan* «презирать; отвергать», *sitan* «сидеть» — *andsitan* «бояться».

В результате исследования И. А. Сизова установила, что «общее количество глаголов, в которых преверб имел коррелятивное значение, составляло 29% от 466 рассмотренных глаголов, или 17,5% всех глаголов с превербами. Число глаголов с превербами, отличившимися семантически от тождеством с коррелятами, было незначительным — всего 12, т. е. около 3% подвергнутых анализу образований, или 1,5% всех засвидетельствованных глаголов с превербами. Таким образом, ...совпадение значений превербов и их коррелятов — это частный (и очень редкий) случай семантической соотнесенности данных единиц» (стр. 166). Принимается во внимание не только семантика глаголов, в соединении с которыми преверб реализовывали или иное значение, но и общее количество глаголов, засвидетельствованных с тем или иным превербом в данном его значении. В конце главы автор выделяет пять ком-

бинаций типовых значений превербов в готском языке. Подробное исследование семантики готских превербов дается автором в Приложении I (стр. 171—205).

Нам представляется, что, говоря о значениях превербов, никак нельзя обойти обсуждения вопроса о возможности их грамматических функций, тем более, что в традиционной теории В. Штрайтберга «перфективирующая» функция приписывается не только утратившему всякое вещественное значение префиксу *ga-*, но и всем превербам, независимо от того, утратили ли они свое первоначальное значение или нет. Как показало наше исследование, это утверждение В. Штрайтберга и его последовательей лишено оснований. Ср.: Mt VIII, 22: *iþ jah let þans dauþans flihan seinans dauþans* (греч. θάψαι), no Lk IX, 60: *let þans dauþans usflihan seinans nawins* (греч. θάψαι); Lk XX, 11: *iþ eis bliggwandans jah unswerandans insandidun lausana* (греч. θεραιτες), no Lk XX, 10: *iþ aurtjans usbliggwandans ina insandidun lausana* (θεραιτες); Lk XIV, 18: *land bauhta jah þarf galeiþan jah saihvan þata* (греч. ἡγορασα), no Lk XIV, 19: *juka ahsne usbauhta fimf jah gagg kausjan þans* (греч. ἡγορασα); Lk XVIII, 15: *berun þans du imma barna* (греч. προσεφερον), no Mk X, 13: *þanuh atberun du imma barna* (προσεφερον); J IX, 7: *jah qað þu imma: gagg þwahhan in swumfsl Siloamis* (υψαι), no J IX, 11: *...jah qað mis: gagg afþwahhan in þata swumfsl Siloanis* (υψαι) и др.² В книге И. А. Сизовой, к сожалению, не рассматривается также и предельная в литературной концепция, согласно которой готский префикс *ga-* (др.-англ. *ge-*, др.-в.-нем. *gi-*) якобы имел значение движения и по своей семантике соответствовал различным готским префиксам с вещественным значением движения³. Хотя в рецензируемой книге вопрос о «перфективирующей» функции готских глагольных превербов специально не рассматривается (ср. стр. 13—14), приводимые в книге переводы многочисленных готских бесприставочных и соответствующих приставочных глаголов дают основание полагать, что автор не разделяет традиционной теории В. Штрайтберга (ср. стр. 171—205). Остается, однако, непонятным, почему автор, обнаруживающий прекрасное знание специальной литературы вопроса, никак не отреагировал на глубоко ошибочную, но весьма стойкую концепцию В. Штрайтберга.

² Ср.: М. М. Маковский, О «лексическом» выражении видовой дихотомии в германских языках, ФН, 1967, 3.

³ См.: J. W. R. Lindemann, Old English preverbal *ge-*: its meaning, The University Press of Virginia, 1970. Критику этого мнения см. в моей рецензии: ВЯ, 1972, 1.

Вторая глава (стр. 68—128) посвящена описанию синтагматических связей глаголов с превербами и соответствующих беспредставочных форм (в работе используется неудачный термин «симплекс», не распространенный в русской лингвистической терминологии), что позволило выявить все засвидетельствованные синтаксические окружения рассматриваемых глаголов [в частности, неодинаковые возможности синтаксической сочетаемости, использование различных падежных (предложных или беспредложных) форм при выражении различных синтаксических отношений, например, объектных, влияние семантики префиксального и беспредставочного глаголов на их синтаксическое употребление]. Анализ фактического материала позволил обнаружить большое разнообразие форм, в которых находила выражение важная функциональная особенность превербов — их способность оказывать воздействие на оформление синтаксических связей глаголов. При этом, как показало исследование И. А. Сизовой, отношения между глагольными компонентами и превербами с некоррелятивными и идиоматическими значениями принципиально отличны от тех отношений, которые связывали глаголы с коррелятивными превербами.

Как показано в рецензируемой книге, наиболее древними были превербы, лишённые коррелятов. Затем следуют превербы, утратившие семантические связи с однокоренными коррелятивными предложениями. Основу системы составляли, по мнению автора, единицы с наиболее сложной смысловой структурой, в которую входили значения всех трех типов. «Менее древними были превербы, усложнение смысловой структуры которых шло за счет сдвигов в значении отдельных глагольных комплексов, имевших место на разной хронологической глубине... Наконец, самый поздний слой единиц состоял из превербов, отличавшихся семантическим тождеством с коррелятивами» (стр. 167). Приводя интересный анализ явления тмеси́са в готском языке, автор приходит к правильному и весьма ценному выводу, что «наличие тесных соотносительных связей между коррелирующими единицами отнюдь не является следствием сохранения отношений, существовавших между ними в глубокой древности» (стр. 168). Данные связи могли устлавливаться благодаря поздней-

нему включению определенной части превербов в рассматриваемую систему. К сожалению, говоря о системе превербов, автор никак не разъясняет тех критериев, которые дают возможность постулировать системные образования в плане словообразования, ничего не говорит о том, в чем специфика этих критериев по сравнению с критериями системности в грамматике, фонологии, лексике и семантике. Неясно также, всегда ли системность ограничивается отношениями, соотношениями и связями и (если да), какова комбинаторика этих категорий, необходимая и достаточная для возникновения системы. Правомерно ли использовать термин «система» в значении «инвентарь», как это нередко наблюдается в рецензируемой работе?

Результаты исследования, проведенного в главе II, сведены автором в 20 таблицах (стр. 206—294).

Третья глава рецензируемой книги посвящена соотношению готских глаголов с превербами с префиксальными глаголами греческого оригинала. Автор приходит к выводу, что, за исключением *in-* и *ü-*, готские превербы использовались в качестве средства передачи греческих префиксов в рамках сопоставляемых текстов примерно в 50% случаев их употребления. В остальных случаях значения префиксов выражались другими превербами (покрывающими эти значения частично), наречиями, предложными конструкциями. Это объясняется неповторимым своеобразием рассматриваемых языков в плане их словообразовательных потенций.

Не подлежит сомнению, что работа И. А. Сизовой, будучи глубоким самостоятельным и тщательно выполненным исследованием всего корпуса готских глагольных префиксов и их коррелятов, не только является значительным вкладом в синтаксис и словообразование германских языков, но и открывает широкие возможности для интересных выводов общетеоретического характера: применение семантико-функционального и синтагматического методов анализа позволило автору впервые рассмотреть связи и отношения различных компонентов готского глагольного словообразования во всей их сложности и многообразии.

Маковский М. М.

Т. С. Коготкова. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). Отв. ред. Ф. П. Филин. — М., «Наука», 1979. 336 стр.

Традиционный интерес русских лингвистов к диалектной лексике в последнее время особенно усилился. Он стимулируется интенсивной лексикографической работой, которая ведется во многих академических и вузовских центрах нашей страны. Огромный фактический материал, хранящийся в многочисленных картотеках и издаваемый в массе диалектных словарей, среди которых выделяются такие капитальные тезаурусы русской народной речи, как сводный «Словарь русских народных говоров» и полный «Исковский областной словарь с историческими данными», требует лексикологической интерпретации. Не случайно исследование диалектной лексики сейчас все более теоретизируется, от атомарных очерков-описаний отдельных слов заметен существенный крен в сторону системного, фронтального анализа.

Необходимость в обобщающем труде по русской диалектной лексикологии давно уже ощущалась и лексикологами-теоретиками, и лексикографами-практиками. Первый опыт такого обобщения — учебное пособие О. И. Блиновой — не случайно за короткий период переиздавалось дважды¹.

Монография Т. С. Коготковой — новаторская попытка решить задачу синтеза проблем русской диалектной лексикологии не путем сведения воедино всех возможных аспектов анализа народного слова, но с помощью выделения стержневых, наиболее актуальных вопросов его исследования. Такой подход делает книгу проблемной и целенаправленной: автор концентрирует весь материал вокруг одной, наиболее злободневной в диалектной лексикологии «сюзетной линии» — взаимодействие литературного языка и диалектов в семантическом ракурсе. Эта проблематика особенно важна для понимания разнообразных динамических процессов, проходящих сейчас в русских народных говорах. Концентрация на данной проблеме позволяет Т. С. Коготковой избежать столь часто встречающихся в литературе упрощенных концепций и показать взаимодействия литературного языка и диалектной речи во всей его многогранности и сложности.

Важно, что сосредоточившись на углубленном анализе этого взаимодействия, автор демонстрирует его сложность прежде всего в фокусе семантических изменений, претерпеваемых диалектной лексикой под воздействием различных экстралингвистических и языковых факто-

ров. Это совершенно оправданно уже потому, что семантика наиболее чутко реагирует на все языковые преобразования и потому дает объективную картину изменений, происходящих в диалектной системе вообще. Такое лексикологическое решение дает и широкий выход в практику, ибо в культурно-речевом плане именно семантические аспекты взаимодействия литературного языка и диалектов являются наиболее актуальными.

Избранной проблематике подчинена вся четкая композиция монографии Т. С. Коготковой. В первой главе определяется специфика диалектного слова в связи с устной формой его функционирования, дается объективное обоснование синхронной диалектной лексикологии как самостоятельной дисциплины и делается чрезвычайно подробный и проблемно-полюсемический анализ основных диалектных словарей и картотек в СССР. Во второй главе исследуется экспрессивно-стилистическая лексика диалекта, решаются проблемы стилевой дифференциации диалектной речи и определяется роль влияния экспрессивности на лексическую семантику. В третьей главе особое внимание уделено дублетно-синонимическим отношениям, причем эта проблематика связывается с проблематикой межъязыкового (resp. междиалектного) контактирования. В четвертой главе, которая является стержневой не только по своему объему и богатому материалу (стр. 123—231), но и теоретической насыщенности, решаются вопросы семантической и стилистической адаптации лексики русского языка в современном говоре. Здесь проблематика взаимодействия литературного языка и диалектов освещается наиболее остро, выявляется специфика освоения слов литературного языка при диалектно-литературных контактах в отличие от контактов межъязыковых, демонстрируется прямая зависимость этого процесса от тематической группировки лексики, характеризуются различные семантические явления (например, расщепление слова, метонимия, актуализация значения), показывается взаимосвязь семантических и словообразовательных, морфологических и синтаксических трансформаций, делаются наблюдения стилистического характера. В пятой главе анализируются — в ономаσιологическом ракурсе — лексико-фразеологические новообразования современной диалектной речи. В шестой главе освещается проблематика функционально-семантического распределения местной лексики в разных подсистемах современного русского языка. Речь идет прежде всего о функциональных различиях местных слов в обиходном или

¹ О. И. Блинова, Введение в современную региональную лексикологию, 1-е изд., Томск, 1973; 2-е изд., Томск, 1975.

литературном употреблении и употреблении терминологическом, в связи с чем решаются некоторые дискуссионные вопросы культуры речи.

Решая проблемы взаимодействия литературного языка и диалектной речи в семантическом ключе, Т. С. Коготкова столкнулась с немалым числом объективных трудностей. Одна из них — дифференциальный характер большинства словарных источников и картотек. В связи с этим автору пришлось не только пополнять эти материалы сплошной выборкой из диалектных текстов, собственными записями в экспедициях или наблюдениями за речью своей матери, которые велись в течение 20 лет (стр. 142), но и создавать свою собственную экспериментальную картотеку, которая бы отвечала задачам, поставленным в работе. Картотека, насчитывающая 1395 лексем, позволила автору весьма полно характеризовать литературно-диалектное взаимодействие на лексическом уровне. Эта характеристика зачастую детализирована: в книге немало свежих и законченных очерков об отдельных словах (*баз, атом, район, жалеть* и др.), синонимических группах или тематических комплексах (стр. 119, 153, 284), окказионализмах (стр. 245—247). Для некоторых из них даются и статистические данные (например, для слова *пенсия* — стр. 133, *война, класс и кино* — стр. 165), которые помогают представить себе интенсивность интересующего автора взаимодействия.

Анализ конкретного материала привел Т. С. Коготкову к формулировке ряда общетеоретических выводов, весьма существенных как для диалектной, так и для литературной лексикологии. Современные отношения диалектной и литературной лексики характеризуются тем, что различия между ними стираются, происходит их сближение. Последнее приводит к изменению функций диалекта, превращению его в полудиалект, в котором взаимодействие литературных и диалектных элементов реализуется как языковое контактирование. Спецификой такого взаимодействия, однако, является то, что «при диалектно-литературном контактировании заимствование литературной лексики протекает в условиях неравнозначных языковых систем» (стр. 130). Утверждая, вслед за Л. И. Бараниковой, эту мысль, Т. С. Коготкова подчеркивает, что «освоенным до конца слово литературного языка в говоре будет считаться тогда, когда оно правильно воспроизводится в говоре не только по форме и содержанию, но и сохраняет языковые отношения дающей системы» (стр. 131). Важной особенностью лексико-семантических адаптаций литературных слов является и «их типологическое сходство на разных ареалах, несмотря на многочисленность и несходство диалектных микросистем» (стр. 171).

Выводы подобного рода ведут Т. С. Коготкову к объективной констатации, что процесс превращения диалекта в полудиалект является и будет гораздо более длительным, чем это казалось прежде диалектологам. Важно и то, что он двусторонен, хотя и заметно асимметричен: движение литературного языка (постоянно вбирающего в себя элементы просторечья) к диалектам не столь интенсивно, как диалектов к литературному языку. Отсюда постоянное внимание к просторечью (например, стр. 79, 223—224), характерное для рецензируемой работы.

Семантический аспект рассмотрения литературно-диалектного контактирования, как уже подчеркивалось, превалирует в монографии. Уже потому выводы автора, относящиеся к семантике диалектного слова, представляют особый интерес. К ним относятся, например, характеристика диалектных слов как семантически диффузных по сравнению с литературными (стр. 19—25, 143 и др.), выявление прямой зависимости семантических процессов освоения литературной лексики диалектом от ее тематической стратификации (стр. 204), меткие наблюдения о влиянии экспрессивности на миграцию слов из говора в говор и социологическая трактовка этого явления (стр. 91—93, 113), подчеркивание взаимодействия семантики и синтаксиса (стр. 189—193, 200) и др. Немало новых мыслей высказывает автор монографии и по поводу таких более частных проблем, как семантическое расщепление диалектного слова, отдельных вопросов функционально-стилевой дифференциации и идеографического распределения лексики и под.

Исследование Т. С. Коготковой, направленное на синхронное описание диалектного словарного состава, проводится с учетом как традиционных, так и новейших методов лингвистического анализа. Так, дистрибуционный подход позволяет автору более дифференцированно анализировать диалектные синонимические ряды.

В синхронной диалектной лексикологии еще много проблем, при решении которых исследователи высказывают самые различные мнения. Автор монографии не боится острых углов и смело высказывает свои взгляды по самым дискуссионным вопросам. Так, в работе аргументированно оспаривается правомочность выделения «разговорной лексики» в диалекте (стр. 65); опровергается широко бытующее мнение о завершении процесса обогащения лексики современного русского литературного языка за счет диалектизмов (стр. 124—125); аргументированно отвергается роль формальных трансформаций в семантическом искажении литературных слов, усваиваемых говором (стр. 135 и сл.); объективно отрицается излишне подчеркиваемое некоторыми исследователями различие в освоении ли-

тературной лексики диалектом по сравнению с городским просторечием (стр. 225). При решении спорных вопросов автор стремится учесть максимальное число аргументов «за и против», а главное — стремится избежать односторонней оценки тех или иных взглядов. Диалектически решается в монографии, например, один из самых острых вопросов диалектной лексикографии — какому типу словаря отдать предпочтение, дифференциальному или полному. Этот вопрос, вызывавший и вызывающий ожесточенные споры, Т. С. Коготкова решает способом нейтрализации этой кажущейся оппозиции. Хотя для той исследовательской цели, которую ставит автор, словарь полного типа является более подходящим, исследователь не может не признать разумную необходимость создания дифференциальных словарей, особенно словарей сводного типа, поскольку такая необходимость диктуется чисто практическими моментами. Вслед за Г. Г. Мельниченко автор монографии снимает противоречие между полным и дифференциальным словарем, предлагая широкую терминологическую дихотомию: «недифференциальный словарь»: «дифференциальный словарь» (стр. 34). Такой подход свидетельствует о стремлении к максимальной объективности при решении диалектографических проблем.

Не всегда, естественно, это стремление удается осуществить. Отдельные вопросы, поставленные в монографии, все еще кажутся дискуссионными. К ним прежде всего относится проблема синонимии в диалекте. Ее дискуссионность, как известно, заключается в определении масштаба синонимического ряда. Одни диалектологи признают синонимами лексемы, распространенные на разных ареалах, другие сужают их понимание до границ отдельного говора, поколения или даже идиолекта. Т. С. Коготкова отрицает широкое понимание диалектной синонимии (ср. дискуссию с О. И. Блиновой на стр. 99—100) на том основании, что оно приводит к межъязыковому толкованию последних (русск. *стол* — нем. *der Tisch*). Этот подход, естественно, ведет к необходимости признания гомогенности синонимического ряда. В ареальной проекции автор принимает за единицу такой гомогенности говор одной деревни, а именно — говор д. Деулино. Но в ходе конкретного анализа в разных местах книги (стр. 105, 122, 219, 245 и др.) Т. С. Коготкова как объективный исследователь вынуждена признавать гетерогенность лексем, входящих в синонимическую систему столь узко очерченной ею локальной зоны. Следовательно, синонимия любого говора представляет собой сплав разнородной по составу лексики, более того — запас синонимов может и в пределах говора активно варьироваться в зависимости от индивидуаль-

но-психологических особенностей говорящего.

При решении проблемы диалектной синонимии следует, как кажется, исходить из факта, что любая синонимия — в принципе гетерогенная система. Поэтому можно говорить о синонимии литературного языка, ограниченной нормой, о синонимии художественной речи отдельного писателя, о синонимии говора, о синонимии большего ареального массива (например, севернорусских говоров) или о диалектной синонимии всего русского языка. Всякий раз, естественно, необходима оговорка о масштабах такой синонимии², по сути этого явления от такой оговорки не меняется. Более того, для диалектной семасиологии, например, широкое понимание диалектной синонимии особенно продуктивно, ибо дает возможность исследовать внутренние закономерности лексических подсистем национального языка.

Противоречность трактовки диалектной синонимии, как кажется, в работе Т. С. Коготковой во многом связана со стремлением подчеркнуть строго синхроническую направленность этого исследования. Нельзя, разумеется, не согласиться с методологической оправданностью этого подхода (ср. стр. 52—55). Вместе с тем конкретный анализ, представленный в книге, показывает, что в диалектной лексикологии «чистая» синхрония весьма условна: автору приходится обращаться и к таким важным диахроническим характеристикам слова, как внутренняя мотивировка (стр. 271), предлагать классификации, основанные на диахронических признаках (например, классификация названий животных по мотивировке — стр. 286 и сл.), постоянно обращаться к истории слов (*приписать* и *приписка* — стр. 186 и сл.) или к их этимологическому и историческому анализу (*воспитать* — стр. 140—142; *нетель* — стр. 290—293 и др.). Включение в определение диалектного синонима признака гетерогенности — также нарушение принципа синхронности.

Указывая на элементы диахронического подхода, весьма многочисленные в работе по синхронической лексикологии, нужно подчеркнуть, что это скорее достоинство ее, чем недостаток. Именно исследовательская объективность автора заставила нарушить в практике анализа материала декларируемый теоретически принцип.

Можно обратить внимание и на более частные недочеты этого солидного исследова-

² Кстати, такой подход оправдывает и возможность объединения межъязыковых синонимов, если это оправдано задачами лингвистического описания: Ср.: С. Д. В у с к, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago, 1949.

дования: проблематичность предлагаемых критериев полноты освоения литературной лексики в говоре (стр. 131); характеристику экспрессивных лексем типа *дербмџитъ, изуборбџитъ — перебурбџитъ, лежебџкий* как стилистически нейтральных (стр. 95); трактовку сочетаний с *дџаъ* (стр. 195—196); противоречия тематической классификации лексики (стр. 257—265); этимологическую интерпретацию оборота *строитъ балы* (он возводится к *бал* «увеселительное собрание» — стр. 148). Есть в книге и неточности, и опечатки (укр. *принципы* вм. *принципи* — стр. 30; *мезанизм* вм. *механизм* — стр. 133; *Е. Едличка* вм. *А. Едличка* — стр. 73; чешск. *březi jalovice* вм. *březi jalovice* — стр. 292 и др.). Все это, однако, не релевантно для решения тех актуальных проблем, которые поставлены и глубоко освещены в монографии.

В капитальном исследовании Т. С. Ко-

готковой подвергнуты всестороннему анализу основные динамические процессы современных русских диалектов, стимулируемые и вызываемые к жизни воздействием литературного языка на диалектную речь. Активный характер усвоения литературной лексики, делокализация диалектов, движение последних к литературному языку через просторечие; дифференциация функций диалектной речи и литературного языка, стабилизация лексико-семантической структуры говора, усиление разговорной стихии в литературном языке — вот основные результаты этих процессов. Проблема взаимодействия литературного языка и диалектной речи в советскую эпоху, изучение которой начато трудами А. М. Селищева и Ф. П. Филина, в фундаментальном исследовании Т. С. Коготковой получила диалектическую и целостную разработку.

Мокиенко В. М.

Р. Л. Цаболов. Очерк исторической морфологии курдского языка. — М., «Наука», 1978. 92 стр.

Рецензируемая работа посвящена еще недостаточно исследованной области исторической морфологии курдского языка. На фоне серьезных синхронных грамматических описаний курдского языка (среди их авторов ведущее место занимают советские курдоведы Ч. Х. Бакаев, К. К. Курдоев, И. И. Цукерман, Ю. Ю. Авалиани, К. Р. Эйюби, И. А. Смирнова и др.; а также зарубежные — Д. Н. Маккензи, Дж. Вадрхан, Р. Леско и др.) весьма остро обозначилась потребность в диахроническом его исследовании. Первая попытка заложить основы истории курдского языка была сделана почти сто лет назад Ф. Юсти¹. Но историческое направление в изучении этого языка не получило затем развития, а сам труд Ф. Юсти к настоящему времени в целом устарел. Немногочисленные попытки такого рода отмечаются автором рецензируемой работы в предисловии (стр. 3—5).

В рассматриваемой книге представлены в историческом развитии все части речи современного курдского языка. Тем самым дана развернутая в истории панорама его грамматического строя, прослеженная до древнеиранского состояния. Достоинством работы является и широта привлекаемого современного языкового материала, включающего северные и центральные курдские диалекты, хотя основной упор сделан на северный диалект курманджи.

Существенное место в работе занимает исторический анализ именных категорий, в частности, падежа. К объяснению явления внутренней флексии при образовании в курманджи косвенного падежа имен муж. рода типа *savar* «мука» — *saver* как результата *i*-умлаута гласного основы вследствие падения падежного показателя *-i* автор смог прийти путем сравнения материала многих курдских диалектов. Таким путем им было подтверждено уже существовавшее в иранистике представление о происхождении данного явления². Кроме того, это позволило ему также сделать дополнительный вывод об инновационном характере данного морфологического средства, выработанного диалектом курманджи и еще не известное большинству других курдских диалектов (стр. 6—7).

Интересны наблюдения автора над процессами отражения таких именных категорий, как род, число, определенность — неопределенность посредством морфолого-синтаксического способа выражения атрибутивных связей, который в иранистике носит традиционное название *изафетного*. Суть его состоит в присоединении особого форманта — *изафета*, происходящего из относительно-указательного местоимения, к определяемому и затем к следующему за ним определениям, если их больше одного. Заслуживает высокой оценки тот кропотливый

¹ F. Justi, *Kurdische Grammatik*, SpB., 1880.

² Ср., например, «Опыт историко-типологического исследования иранских языков», II, М., 1975, стр. 166.

анализ, который позволил автору разобратся в конкретных видах изафета в различных курдских диалектах (стр. 8—11). В частности, прослежены различные степени утраты различий по роду и падежу в связи с оформлением изафетной цепи (там же). Однако, для читателя-ираниста ощущается нехватка иллюстративного материала, поскольку, например, само элементарное объяснение механизма изафетной цепи дано примерно на середине всего пассажа, посвященного изафету, тогда как его следовало бы вынести в самое его начало.

Остроумна новая предлагаемая автором этимология формы изафета мн. числа *-ēd* (из соединения показателя множественности *-ēn* < *-ān* и последующего предложного элемента *di* с атрибутивно-партитивным значением, стр. 9). Однако новая этимология кажется не более убедительной, чем прежние объяснения П. Тедеско³, сопоставлявшего этот формант (в его записи *-ēt*) с абстрактным суффиксом *-ift* северо-западного диалекта турфанских текстов.

Справедливо увязывая показателем определенности *-akā* с древнеиранским именным суффиксом **-aka* (где, собственно, *-ak* < **-aka*, а конечное *-ā* неустановленного происхождения), автор далее утверждает, вслед за Д. Н. Маккензи⁴, что этот показатель заимствован в центральные курдские диалекты из соседних диалектов гурани. Невыработанность «ясных форм» категории определенности, как пишет автор, явилась следствием того, что «понятная основа для этого в системе логических отношений, выражением которых является грамматическая структура языка, в курдском отсутствовала» (стр. 11). Но если она отсутствовала, то как могло произойти данное заимствование и почему употребление суффикса определенности *-akā* столь широко развилось в языке? Сравнение с другими современными иранскими языками говорит о том, что категория определенности — неопределенности в курдском языке (в том числе и в его центральных диалектах) выражается не менее (а, может быть, и более) регулярно, чем во многих из них. Наличие суффикса определенности *-akā* в центральных курдских диалектах и в гурани можно считать параллельным развитием, возможно, поддержанным их

соседством, но не обязательно заимствованным.

Отмечая малую дифференцированность имен (главным образом, прилагательных от существительных) в современном курдском языке, автор видит первопричину этого явления в древнеиранских языках, именно в факте общих для древнеиранских имен типов склонения. Однако такое объяснение носит весьма общий характер, будучи приложимо к иранским языкам в целом. Следовательно, требуется выявить специфику именно курдского развития. Через сравнение с другими иранскими языками известно, что недифференцированность имен в курдском языке гораздо меньшая, чем, например, в персидском и ряде других языков.

В конкретном историческом анализе языкового явления в распоряжении исследователя иранских языков имеется условно исходная точка отсчета — обычно язык древних письменных памятников, и конечная — современный язык. В задачу исследователя входит сравнительный анализ явления на обоих главных синхронных срезах, исходном и конечном, позволяющий объяснить конечные результаты развития. В оптимальных случаях удается восстановить с той или иной степенью полноты сам исторический процесс в единстве его семантической и формальной сторон. В данном исследовании автор не стремится анализировать во всех случаях сам исторический процесс становления языковых явлений во всей его сложности, а, напротив, предпочитает выделять лишь отдельные его стороны, как правило, не касаясь вопроса о хронологии и последовательности исторических изменений (см. стр. 86). Разумеется, ученый вправе (более того, обязан) ограничивать задачи своего исследования. Но, ограничивая себя, следует быть тем более точным в расстановке акцентов. В данном случае, объяснение недифференцированности имен в современном курдском языке единством древнеиранских типов склонения существительных и прилагательных представляется несколько расплывчатым, недоговоренным, мысль остается неразвитой, как бы оборванной. Ведь, в частности, степени этой недифференцированности, разные в разных курдских диалектах, связаны со степенью аналитичности их грамматического строя. Некоторые курдские диалекты сохранили в редуцированном виде, а некоторые не сохранили формальные показатели рода, падежа в именах существительных в отличие от прилагательных. Последние частично приобретают их, только вступая в синтаксическую связь с существительным. В анализе именно этих фактов следует искать степень дифференцированности существительных и прилагательных, в целом более высокую, чем, например, во многих юго-западных иранских языках. Предложенная же

³ P. Tedesco, *Dialektologie der westiranischen Turfantexte*, «Le Monde Oriental», 15, 1—3, Uppsala, 1921, стр. 200.

⁴ D. N. MacKenzie, *The origin of Kurdish*, «Transactions of the Philological Society», London, 1961, стр. 81—83, 85; Д. Н. Маккензи, Курманджи, курди и гурани, «Народы Азии и Африки», 1963, 1, стр. 165—166.

автором процедура отделения прилагательных от существительных путем субстантивации собственно прилагательных (в отличие от так называемых склоняемых прилагательных) при помощи относительно-указательного местоимения (ср. прилаг. *tang* «узкий» — сущ. *ye tang*, букв. «который узкий», стр. 15) кажется излишней и искусственной в работе исторического плана. Иное дело возведение суффиксов прилагательных (*-ī*, *-īn*, *-āna* и др.) к древнеиранским прототипам, которое представляет собой хороший образец исторического анализа современных формантов (стр. 16—17). Кстати, само наличие современных суффиксов прилагательных противоречит категорическому выводу автора, что в курдском языке «утрачены даже те немногочисленные формальные критерии выделения прилагательных в отдельную часть речи, которые существовали в древнеиранском» (стр. 15). Как видим, в словообразовании эти критерии сохранились.

Основательно, с прослеживанием общих тенденций и интересными наблюдениями и объяснениями отдельных конкретных фактов анализируется автором курдская местоименная система, в особенности личные местоимения. В научный обиход вводятся новые ценные этимологии ряда своеобразных курдских местоименных форм, ранее не имевших исторического разъяснения (ср. *hān*, *ā* и др., стр. 20—25).

Разрушение в северных диалектах системы местоименных энклитик автор объясняет их втягиванием в систему полных форм личных местоимений (стр. 24). Такое объяснение в целом приемлемо. Но ему отчасти противоречит наличие «нестандартной» формы 2-го лица мн. числа *hān/angō* не только в тех северных диалектах (курманджи и др.), где система местоименных энклитик разрушена, но и в ряде центральных диалектов (мукри и др.), где она сохранена в полном виде. Противоречит в том случае, если правильным является остроумное возведение форм *hān/angō* к вторичной энклитике **-ā* < иран. **yušta-* < и-е. **yu-*. Видимо, сохранение системы местоименных энклитик в одних диалектах и разрушение ее в других вызвано комплексом факторов, которые еще предстоит выявить.

Можно поспорить с автором в отношении принятой им гипотезы Д. Н. Маккензи⁵ о том, что система энклитических местоимений в центральных курдских диалектах является вторичной, развившейся «под влиянием соседних иранских языков, в частности — гурани» (стр. 26.)

⁵ D. N. Mackenzie, указ. соч., стр. 85.

Система энклитик гурани совпадает, как отмечает и сам автор (стр. 26), с персидской. Между тем при сравнении по лицам местоименных энклитик в центральных курдских диалектах устанавливается, что только формы 1 и 2-го лица ед. и мн. числа имеют так сказать общеиранский тип. С некоторыми модификациями они представлены во многих новоиранских языках, включая, кроме персидского и гурани, также таджикский, ягнобский, памирские и многие др. (неизменными согласными элементами их выступают *-m* и *-t*). Однако в самобитной курдской форме 3-го лица, которая является тем самым решающим звеном, система энклитик центральных диалектов демонстрирует свою связь как раз с северными курдскими диалектами, а не с гурани и персидским. Это энклитическое местоимение имеет в центральных диалектах форму *-ī* (во мн. числе *-yān* < *-ī* плюс показатель мн. числа *-ān*). Эта форма сопоставима с энклитическим местоимением *-ē* северных диалектов. О генетическом родстве этих форм в обеих группах курдских диалектов свидетельствует сопоставление их с авестийским местоимением 3-го лица ед. числа *hē*. Таким образом, собственно курдское специфическое звено системы местоименных энклитик сближает обе группы курдских диалектов, центральную, где эта система представлена в полном виде, и северную, где от нее остался лишь один рудимент в виде *ē*. Все это, на наш взгляд, свидетельствует об исконности системы местоименных энклитик в курдских центральных диалектах, а не об их вторичном развитии под влиянием гурани (хотя такое влияние не исключается полностью).

Одна из самых ценных частей рецензируемой книги посвящена курдскому глаголу. И, может быть, наиболее содержательными являются те страницы, где представлен исторический анализ конкретных основ настоящего и прошедшего времени (стр. 36—49, 49—64). В области этимологии курдских глаголов (для значительной их части установленных впервые) сделаны интересные находки. Возражение может вызвать отсутствие единообразного принципа классификации древнеиранских презентных основ, от которых исходит автор, прослеживая их затем в современных курдских глаголах. Первая часть данного списка включает в своей древнеиранской части группы глаголов, разделенные по степени подъема гласного в основе/корне глагола. Вторая же часть списка презентных основ состоит из глаголов, сгруппированных уже не по подъему гласного в корне, а по исходу основы. Видимо, последний принцип как более общий и должен быть принят (поскольку все три степени подъема гласного корня сопутствуют основам с различным исходом; а, главным образом, потому, что

тематизация основ имела существенное значение для дальнейшего развития глагольной флексии, на что автор не обратил специального внимания).

В отличие от презентных основ, основы претерита подразделяются, исходя из современных критериев их образования. И в этом есть свой резон, поскольку первые являются продолжением древнеиранских основ презенса, тогда как вторые сложились в относительно более позднее время.

Подробно разработана в рецензируемой книге система предлогов и послелогов. Значительное их число этимологизировано (многие впервые). Выявлены также типы новообразований и тенденции к новым стойким сочетаниям предлогов и послелогов для передачи уточняемых или усложняемых значений.

К спорным местам, а также некоторым недостаткам книги можно отнести следующее. Упрек, который, вероятно, следует сделать автору в связи с обзором истории вопроса, состоит в том, что им не уделено достаточного внимания упомянутой работе Д. Н. Маккензи. В ней английский исследователь предпринял попытку уточнить классификационные постулаты П. Тедеско для отличия северо-западных иранских языков от юго-западных, собственно, в применении к курдскому языку. Вместе с тем автор рецензируемой работы, на наш взгляд, недостаточно критически воспринял положение английского ученого о сильном влиянии гурани на центральные (и южные) курдские диалекты. Для Д. Н. Маккензи это положение является аксиомой, однако, на наш взгляд, самоочевидностью аксиомы не обладает. Констатация фактов сходства гурани и данных курдских диалектов (как и факты исторических судеб этих народов) дают право на существование рабочей гипотезы о влиянии гурани, но нужны дополнительные аргументы, чтобы она стала по-настоящему работающей. Ведь наличие общих с гурани морфологических черт (отсутствующих в северных диалектах, не контактирующих с гурани) может с равным правом свидетельствовать не о вторичном переносе этих черт из гурани в центральные курдские диалекты, а об их более близком историческом родстве (поскольку исконность этих черт как будто не может быть опровергнута, как и безоговорочно принята). Нужны дальнейшие исторические изыскания.

Следовало бы также автору рецензируемой работы сослаться на те разделы коллективного труда «Опыт историко-типологического исследования иранских языков» (I—II, М., 1975), в которых рассматриваются грамматические категории курдского языка.

Для удобства читателя, неспециалиста в курдоведении, желательно было бы поместить в книгу схему-классификацию курдских диалектов (или сделать отсылку к предыдущей работе автора, где она

приведена)⁶. А то иногда отнесенность некоторых диалектов к определенным диалектным группам как бы теряется из виду. Так, например, из девяти таблиц, демонстрирующих формы и форманты разных диалектов, только в четырех указана принадлежность диалектов к определенной группе. В пяти же таблицах указаны названия отдельных диалектов без их классификационной принадлежности. Читателю в этом последнем случае трудно разобраться в локализации приведенных в таблицах форм; в частности, замыкаются ли они внутри определенных групп или нарушают границы этих групп. В результате страдает ясность преподнесения сравнительного диалектального материала, обнаруживающего порой весьма различные результаты развития исходных древнеиранских форм. Подчеркиваем, что возражение вызывает не качество приводимого материала (оно вне сомнения), а указанное порой недостаточно четкое его распределение.

Вообще при чтении книги иногда возникает впечатление, что тот или иной раздел ее есть продолжение темы, начало которой лежит за пределами книги. Лаконизм — отличное качество научного стиля, но порой автор несколько злоупотребляет им. В результате, как было отмечено выше, некоторые части работы оказываются рассчитанными на узких специалистов, хотя они, несомненно, представляют интерес и для специалистов более широкого профиля.

Настоящим исследованием Р. Л. Цаболова сделан существенный и важный шаг в применении современных достижений сравнительно-исторического иранского языкознания к курдскому языку. Не подлежат сомнению самостоятельность и глубина раскрытия автором важнейших сторон исторических преобразований в морфологии языка, приведших к смене ярко выраженного флективного типа древнеиранского периода к преимущественно аналитическому в современном курдском.

Закljučая свою работу, автор указал как на одну из дальнейших задач исторического курдоведения установление хронологии и последовательности тех изменений, которые произошли в курдском языке на протяжении веков (стр. 86). Добавим, что многочисленность курдских диалектов (а диалекты — это расположение в пространственных координатах языковых изменений, происходивших во времени), трудная для исследования поистине необъятностью материала, позволит в принципе решить и эту задачу, восполнив собой отсутствие письменных памятников прежних эпох развития курдского языка.

Пирейко Л. А.

⁶ См.: Р. Л. Цаболов, Очерк исторической фонетики курдского языка, М., 1976, стр. 4.

В. И. Кодухов. Введение в языкознание. —
 М., «Просвещение», 1979. 352 стр.

Серьезное учебное пособие, синтезирующее основные положения определенной отрасли знаний, — это своеобразный итог развития науки и вместе с тем — поскольку оно ориентировано на подготовку специалистов — работа, в какой-то мере закладывающая фундамент будущего научного прогресса; реже такое пособие поднимается до уровня исследовательской работы самого автора. Эти положения особенно актуальны для учебника по курсу «Введение в языкознание», призванного ознакомить студентов-филологов с проблематикой и терминологией науки о языке, выработать навыки лингвистического наблюдения, подготовить почву для изучения всех языковедческих дисциплин. Трудности создания такой книги усугубляются тем, что в современной лингвистике, как известно, немало направлений и школ, представители которых придерживаются различных, подчас противоречащих друг другу концепций, что многоаспектный характер языкознания дает возможность излагать программный материал на основе собственных воззрений автора¹.

Рецензируемый учебник представляет тем больший интерес, что принадлежит перу автора, выступившего несколько лет назад пособие по общему языкознанию², завершающему лингвистическую подготовку филолога. Естественна в какой-то мере некоторая условность распределения материала между курсами введения и общего языкознания (например, вопросы истории языкознания рассматриваются преимущественно в курсе общего языкознания, а не введения, в котором сохраняется только короткий обзор основных этапов развития науки о языке); можно в целом согласиться и с необходимостью возвратиться в курсе общего языкознания к проблематике, поднятой во введении, т. е. с цикличным, а не линейным характером построения этих взаимосвязанных дисциплин (например, и во введении, и в курсе общего языкознания рассматривается тема «Язык как система» и др.); тем самым курсы отличаются друг от друга не строгой иерархичностью излагаемых в них теорий, а прежде всего самим подходом к материалу, глубиной и всесторонностью его раскрытия.

Учебник «Введение в языкознание» охватывает широкий круг проблем, тем и сведений, изложенных в русле единых научных воззрений, с четких методологических, теоретических позиций, с уче-

том методической целесообразности размещения и описания программного материала (заслуживает поддержки и одобрения практика, согласно которой ученые, участвующие в подготовке учебной программы, становятся впоследствии авторами соответствующих учебников и пособий; кстати, В. И. Кодуховым составлены действующие программы по введению в языкознание и общему языкознанию для педагогических институтов, готовящих студентов-русистов.)

Ведущий принцип изложения материала в учебнике — социолингвистический, позволяющий определить основные функции и категории языка через понимание его социальной природы, общественной сущности и вместе с тем с учетом специфики языка как своеобразной знаковой системы, отличающейся присущей ей внутренней структурой. Рассматривая языкознание среди социальных (гуманитарных) наук, автор указывает, что язык, будучи особым общественным явлением, отличается от других явлений надстроечного и базисного характера (стр. 42); хотелось бы, чтобы этот тезис стал исходным и при рассмотрении связи языкознания с науками о базисе и надстройке.

Сущность важнейшего методологического положения о том, что философской основой советского языкознания является диалектический материализм, марксистско-ленинская философия, раскрывается не только при освещении основных требований диалектической логики к изучению языка, но и в ходе рассмотрения всех разделов курса, и особенно вопросов общественной природы языка и закономерностей его развития, языковой системы, занимающих в книге центральное место.

В книге подчеркивается связь языка с сознанием и мышлением; язык определяется как средство и орудие мышления, материализация человеческого сознания; единицы языка соотносятся с единицами логического мышления, но не тождественны им. Последовательно раскрываются в книге основные положения марксистского учения о происхождении языка, прослеживаются процессы исторического развития языка — от племенного до национального.

Важное место отводится в учебнике вопросам происхождения восточнославянских языков. Опираясь на известные исследования Ф. П. Филина³ и других языковедов, автор пишет об относительном единстве древнерусского языка и существовании в нем диалектных различий;

¹ См., например: Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966; е го же. Основы общего языкознания, М., 1975.

² В. И. Кодухов, Общее языкознание, М., 1974.

³ См.: Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972.

древнейшие общие и диалектные черты, как и особенности, получившие распространение в XIV—XV вв., сохраниены в разной степени в трех восточнославянских языках. В сжатой форме изложены общественно-политические и лингвистические предпосылки образования русского, украинского и белорусского языков.

Большое внимание уделяется в учебнике вопросам языкового строительства при социализме. На конкретных и убедительных примерах автор показывает, как в условиях социалистического общества расширились социальные функции и получили всестороннее развитие внутренние потенции языков народов СССР, как с возникновением новой исторической общности людей — советского народа возросли роль и значение русского языка, добровольно избранного всеми народами нашей страны общим языком межнационального общения. В книге справедливо подчеркивается, что в Советском Союзе нет единого государственного языка; уточнения, однако, требует, на наш взгляд, положение о том, что в каждой республике язык основной национальности является государственным (стр. 80). Не совсем точно проводится также разграничение старо- и младописьменных языков. Автор пишет: «... в Союз Советских Социалистических Республик вошли народы с развитой древней культурой (Армения, Грузия, Узбекистан и некоторые другие), молодые народности Казахстана, Киргизии и Таджикистана и бесписьменные народы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Дагестана» (стр. 79). Во-первых, основное население Армении, Грузии, Узбекистана — народы, обладающие старописьменными языками; отдельные малочисленные народности, входящие в состав населения этих республик, не имели до революции своей письменности (например, курды). Во-вторых, на территории Таджикистана распространен ряд бесписьменных языков [например, памирские языки — шугнанский, рушанский, язгулемский и др. (Горно-Бадахшанская автономная область ТаджССР)], однако язык основной массы населения — таджиков имеет многовековую литературную традицию.

Современное языкознание оценивается в рецензируемой книге как совокупность разных лингвистических школ и направлений, определяемых с учетом методологического и собственно лингвистического подхода к языковым явлениям, причем новым этапом в развитии лингвистики является советское языкознание. Вместе с тем, несмотря на многоаспектный характер языкознания последнего периода, в нем обнаруживаются единые черты, общие тенденции. В качестве основных разделов общего языкознания автор выделяет экстралингвистику (включающую социолингвистику, менталин-

гвистику), интралингвистику (в том числе фонологию, лексикологию, морфологию, синтаксис), компаративистику (сравнительно-историческое языкознание, ареальную лингвистику, типологию). Правда, при раскрытии понятия сравнительное языкознание и автор несколько видоизменяет аспекты изучения, выделяя в его составе сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание, причем возможность сопоставительного исследования связывается только с неродственными языками; думается, однако, что современная славистика, например, в значительной мере базируется на синхронно-сопоставительных изысканиях и отрицать их место в общей проблематике компаративистики было бы нецелесообразно.

В обобщенном виде излагается в книге учение о системе языка, его основных единицах, категориях и ярусах. По предмету изучения отдельных ярусов языка выделяются лингвистические науки — наука о письме, фонетика, грамматика и лексикология. В качестве дисциплин, исследующих единицы, соприкасающиеся с двумя ярусами языка, называются фразеология и дериватология. Такой подход потребовал от автора, в частности, рассмотрения вопросов словообразования дважды: с одной стороны, при изучении основных путей обогащения словарного состава языка, теории номинации в лексикологии, с другой, при изучении морфем, словообразовательных средств, словообразовательных моделей, словообразовательных типов и гнезд в морфологии. За пределы непосредственно морфологии выводится учение о частях речи как учение о лексико-грамматических классах и синтаксических функциях слов. Возможно, подобная классификационная схема разделов языкознания представится недостаточной стройной, не в полной мере оправданной с методической стороны, однако она последовательно проводится автором через всю книгу, в русле традиции изучения этих вопросов в курсе введения в языкознание.

Автор стремится в строгим и непротиворечивым дефинициям, к разграничению близких, но не тождественных языковедческих понятий, выделению составных компонентов описываемых категорий и единиц; результат этой кропотливой работы может быть представлен в виде хотя и не очень обширной по объему, но четко очерченной лингвистической терминосистемы.

Достаточно обратиться для примера к репрезентации понятия лексемы. Автор указывает на интегральные и дифференциальные свойства слова и лексемы; наряду с лексическим словом он выделяет фонетическое слово и морфологическое слово; среди лексем определяет вокабулы и семантемы; к видам лексических значений относит словарное, фразеологическое,

еря и логическое, ономастическое и т. д.; рассматривает лексику как единство значения и звуковой оболочки, как название вещи и обозначение понятия; устанавливает номинативную функцию слова, его языковую обусловленность, языковую мотивированность; разграничивает лексическое значение и значимость лексемы; говорит о семантической структуре слова и ее составляющих — семах и лексико-семантических вариантах и под. Обобщения соотносительных по лексическому значению слов квалифицируются в учебнике как лексико-семантические группы, тематические группы, терминологические группы, синонимические ряды и антонимические пары (можно было бы познакомить студентов и с понятием семантического поля).

Книга современна в лучшем смысле этого слова, она знакомит читателя с теми положениями, которые определились в лингвистической традиции и получили новую, углубленную интерпретацию, в наше время, в категориями, которые выкристаллизовались в современном языкознании и нашли достаточное обоснование, вошли в научный оборот, стали необходимыми в исследовательской и преподавательской деятельности. Например, в пособии довольно подробно излагается теория типовых языковых отношений — парадигматических и синтагматических, ассоциативных и гипонимических; учение о фонеме, ее перцептивной и сигнификативной функциях, интегральных и дифференциальных признаках, инвариантах и вариантах фонемы, системе фонем; учение о грамматических категориях, их парадигмах и типах, соотношении грамматических и понятийных категорий; вводятся понятия коммуникативной и конструктивной сторон предложения, его структурного образца (модели), конструктивной основы и ее распространителей, актуального членения предложения и др.

Можно отметить, однако, отдельные противоречивые или не разъясненные до конца положения и выводы. С одной стороны, например, автор утверждает, что к строевым единицам языка относятся фонемы и морфемы, словоформы и модели словообразования, словоизменения и построения предложений (стр. 36), с другой — причисляет к этим единицам фонемы и морфемы, формы слов и формы словосочетаний (стр. 106); несогласованность в определении функций моделей словосочетания и моделей предложения бросается в глаза.

В учебнике обусловлена возможность различного подхода к систематизации языков, характеризуются ареальная, генеалогическая, типологическая и функциональная классификации. К положи-

тельным сторонам рецензируемой работы можно отнести детальное рассмотрение не только типологической, но и генеалогической классификации языков, дающей, несмотря на известные пробелы и неясности в квалификации отдельных языков и их места в системе языковых семей и групп, важные данные о языковом родстве; детализированная генеалогическая классификация языков выгодно отличает учебник от положительно оцененного в печати пособия Ю. С. Маслова «Введение в языкознание», ограничившегося изложением лингвистической типологии⁴.

Учебник насыщен богатым и разнообразным языковым материалом, причем его дозировка представляется в основном достаточной как по объему иллюстраций, так и по числу разноструктурных языков, из которых они почерпнуты (по нашим наблюдениям, в книге использованы примеры более чем из 60 живых и мертвых языков мира). Опорным материалом пособия, рассчитанного на студентов-русистов, естественно, послужил русский язык; кроме того, привлекаются многочисленные факты как индоевропейских (прежде всего славянских), так и неиндоевропейских языков (преимущественно языков народов СССР — якутского, хантыйского, аварского, марийского, чукотского, чувашского и др.). И все же материалы некоторых языковых семей и отдельных языков, и в частности, монгольских, индейских, языков Африки, Австралии и Океании, представлены в учебнике явно недостаточно, хотя даже поверхностное знакомство с их звуковым строем, структурными особенностями расприло бы лингвистический кругозор будущих филологов.

В целом учебник исключительно насыщен концептуальным содержанием и конкретным языковым материалом; это, кроме всего прочего, прекрасный справочник для начинающего лингвиста. В книге в полной мере проявилась и личность автора — с его научными идеями, большой исследовательской и преподавательской практикой, завидным умением лаконично и четко раскрыть сущность подчас весьма сложных языковых категорий и понятий. Учебник существенно дополняет все имеющиеся в арсенале высшей школы пособия по курсу «Введение в языкознание». Несомненно, его широко будут использовать преподаватели и студенты вузов, с интересом ознакомятся с ним учителя-словесники, широкая лингвистическая общественность.

Русановский В. М., Кононенко В. И.

⁴ См.: Ю. С. Маслов, Введение в языкознание, М., 1975, стр. 190—300.

А. А. Дарбеева. Влияние двуязычия на развитие изолированного диалекта (на материале монгольских языков). — М., «Наука», 1978. 211 стр.

Языковая ситуация и состояние монголоязычных народов, волей истории разбросанных островами по евроазиатскому континенту, разнообразны и представляют интерес с точки зрения социолингвистических проблем, связанных с развитием изолированных языков, форм и условий языковых контактов, двуязычия. Факты языковых контактов некоторых монголоязычных народов с другими народами рассмотрены в работах таких ученых, как Б. Я. Владимирцов, Г. Рамстедт, В. Л. Котвич, Л. Лигети, Г. Д. Санжеев, Д. Клосон и др. Однако в целом характер и типы языковых контактов, двуязычие, распространенное среди многих монгольских народов, характеристика процессов конкретного монголо-инонационального языкового взаимодействия и другие актуальные вопросы не находят еще необходимого отражения ни в зарубежной, ни в советской литературе. Рецензируемая работа А. А. Дарбеевой является первым научным исследованием в области монголо-инонациональных языковых контактов, появившимся за последние 50 лет после выхода работ Б. Я. Владимирцова¹. По содержанию она представляет собой монографическое описание одного из малоизученных бесписьменных монгольских языков — языка нижеундинских бурят, определяемого в книге как нижеундинский диалект бурятского языка (далее НУД). Согласно преданию, предки нижеундинских бурят более трех с половиной веков назад ушли из Монголии и поселились в Нижнеундинском р-не Иркутской обл. Нижеундинские буряты территориально оторваны от основной массы монголоязычного населения и продолжительное время живут в иноязычном окружении, которое составляют в основном русские и, в меньшей степени, тофалары и буряты разных говоров. Этнический состав нижеундинцев не является гомогенным, их исконная генетическая принадлежность полностью не ясна, поэтому получение лингвистических данных представляет определенный интерес и для выяснения этногенеза этих бурят. Оторванность от однородной этнической среды и тесный контакт с другими народами «делают язык нижеундинских бурят типичным для языкового микромира, свойственного островным языкам» (стр. 8).

¹ См.: Б. Я. Владимирцов, О двух смешанных языках Западной Монголии, «Яфетический сборник», II, Пг., 1923; его же, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, Л., 1929.

Первые сведения о нижеундинских бурятах, относящиеся к середине XIX в., содержатся в работе М. Кастрена². Посетивший этих бурят в 1928 г. Г. Д. Санжеев провел сравнительно-исторический анализ фонетических особенностей их языка и сделал предположение об ойратско-монгольском происхождении основной массы предков нижеундинцев³. Фактический материал для рецензируемой работы собирала А. А. Дарбеева в полевых условиях в 1960, 1968, 1970 гг. Таким образом, создавалась возможность не только показать на свежем материале современное состояние нижеундинского феномена, но и отметить динамику исторического развития языка нижеундинских бурят.

В рассматриваемой работе, в ходе описания особенностей одного изолированного монгольского диалекта, развивающегося в условиях интенсивного двуязычия, впервые в монголистике широко и последовательно рассмотрен ряд вопросов, касающихся двуязычия, сосуществования двух языков различного грамматического строя в рамках одного речевого коллектива и распределения социальных функций между ними, определения влияния второго языка на все уровни грамматического строя изолированного языка, выявление тенденций развития островных монгольских языков. Как диалектологическое описание монография А. А. Дарбеевой примыкает и дополняет бурятские диалектологические исследования⁴, проводившиеся в последние десятилетия. По расширению

² M. A. Castren, Versuch einer burjätischen Sprachlehre nebst kurzen Wörterverzeichnis, SPb., 1857.

³ Г. Д. Санжеев, Фонетические особенности говора нижеундинских бурят, «Материалы Комиссии по обследованию Монгольской, Таяну-Гувинской народных республик и Бурят-Монгольской АССР», 8, Л., 1930; его же, Дархатский говор и фольклор, Л., 1931. Как сообщил нам проф. Г. Д. Санжеев, в настоящее время он придерживается точки зрения, что «ойратские черты» когда-то были свойственны всем монгольским языкам и диалектам, но оказались утраченными большинством из них, сохранившись в ойратских, дархатском, нижеундинском и некоторых южномонгольских диалектах. Следовательно, гипотезу об ойратском этногенезе предков нижеундинских бурят он считает несостоятельной.

⁴ См.: И. Д. Бураев, Звуковой состав бурятского языка, Улан-Удэ, 1959; «Исследование бурятских говоров», I, Улан-Удэ, 1965; II, 1968.

круга исследуемых вопросов, стремление перейти от описания частного к обобщающим выводам и, что особенно ценно, последовательное сопоставление на разных языковых уровнях материала НУД с данными литературного бурятского языка (далее ЛБ) и некоторых его диалектов и говоров, а также с данными других изолированных монгольских языков, выгодно отличают данную работу от работ бурятских диалектологов и составляют ее несомненное достоинство.

Исследование НУД ведется в двух основных направлениях. Одно — традиционно диалектологическое описание отличительных особенностей данного диалекта в фонетике, грамматике, лексике. Лингвистическое описание построено, как уже говорилось, на методе сопоставления прежде всего с данными ЛБ по синхронному состоянию. Сопоставление же с материалами М. Кастрена и Г. Д. Санжеева позволило проследить языковые процессы НУД в диахронии. При диалектологическом исследовании для А. А. Дарбеевой особенно важен тот факт, что современные носители НУД двуязычны, поэтому, освещая ту или иную диалектную особенность, автор стремится определить, обусловлена ли она развитием внутренних потенций самого диалекта или иноязычным влиянием. Другое направление — социолингвистическое: характеристика языковой ситуации и развития островного диалекта с ограниченными общественными функциями в условиях двуязычия. Общеэтимологическое понимание природы общественных функций языка и их типов, двуязычия основывается на работах советских ученых. Применение этих положений при исследовании общественных функций бурятского и русского языков у носителей НУД обнаружило ряд свойств общего, а также и частного порядка, которые дополняют характеристику функций языка. Социолингвистический аспект рассмотрения существенно дополняет лингвистический, и вместе они создают цельную характеристику современного состояния НУД. Вместе с тем такой разносторонний подход открывает возможности для более широких выводов о путях развития не только НУД, но и других изолированных монгольских языков.

Работа не разбита на главы, а предстает как единое описание с крупными подзаголовками, отражающими рассматриваемый уровень языка: фонетика, морфология, лексика. Описанию уровней предшествует «Введение» (стр. 5—23), где даны краткие сведения о территориально изолированных монгольских языках, к которым автор относит дунсянский, баоаньский, дагурский, монгорский (на территории Китая), могольский (в Афганистане), калмыцкий в СССР, краткая историческая и демографическая справки о нижнеудинских бурятах.

Здесь же прослежены языковые контакты нижнеудинских бурят с тофаларами и русскими, обусловленные историко-экономическими и социальными факторами, и процесс возникновения и развития двуязычия у носителей НУД. Современный период характеризуется автором как период массового бурятско-русского двуязычия, имеющего две формы: полное двуязычие и неполное двуязычие. Наиболее интересной является та часть «Введения», где автор описывает языковую ситуацию НУД, выявляя распределение социально-общественных функций между родным и русским языками в соответствующих коммуникативных сферах и функциональное сосуществование родного и второго языков в двуязычном коллективе. Эта часть «Введения» дает ценный материал для разработки типологии языковых ситуаций монгольских языков и региональной социолингвистики.

В разделе «Фонетика» (стр. 24—84) подробное освещение получают фонетические реалии, составляющие специфику НУД: отдельные фонемы и такие фонетические явления, как выпадение гласных в разных позициях слова, выпадение согласных и целых слогов, метатеза и др. Вполне уместно показаны здесь и процессы фонетической адаптации русских заимствований, которая имеет свой закономерный характер в соответствии с фонетическими законами бурятского языка.

В области вокализма НУД обращает себя внимание процесс монофтонгизации большинства дифтонгов, развитие которого прослежено А. А. Дарбеевой по материалам М. Кастрена и Г. Д. Санжеева. Например, дифтонг *ai* монофтонгизировался во всех позициях слова в долгий гласный переднего ряда \bar{a} . Словарь Кастрена не зафиксировал, как отмечает автор, ни одного слова с монофтонгом \bar{a} . Материалы Г. Д. Санжеева показывают неполноту, в определенных позициях, монофтонгизацию *ai*. В речи современных нижнеудинских бурят дифтонга *ai* автору обнаружить уже не удалось. Субституция дифтонгов монофтонгами регулярно происходит и в русских заимствованных словах.

В области консонантизма НУД выделяются два феномена. Во-первых, появление палатализованного согласного m' на месте мягкого глухого согласного k' в положении перед *i* в любой позиции слова, например, *miлeц* вм. *kileц* «бархат», *motиц*, вм. *tokeц*, «древесная сера». А. А. Дарбеева считает, что k' перед *i* развился в m' (стр. 49) в результате внутренних законов самого НУД (стр. 188), и относит этот случай к числу известных обобщелингвистических (стр. 77). Однако нам думается, что при выяснении природы этой мены нельзя не принимать

во внимание особенности местных русских говоров, где наблюдается переход *к* в *т* перед *и*, например, *тино* вм. *кино*. Примечательно, что словарь М. Кастрена дает палатальный *к* перед *и* на месте современного *т'*. Можно предположить, что если эта инновация и не обусловлена целиком влиянием русского языка, то такое влияние в условиях быстро развивающегося двуязычия могло оказаться катализатором для внутренне обусловленного процесса. Во-вторых, соответствие НУД мягкого согласного *д'* ЛБ согласным *ж*, *з*, *г*, *ј*. Мягкий согласный *д'* появляется в положении перед *и* большей частью в анлауте, реже — в инлауте и ауслaute и в качестве протетического. Он трактуется в книге как рефлекс четырех указанных звуков ЛБ, восходящих к общемонгольским согласным **ј*, **q*, **y*, и также рассматривается как следствие развития внутренних потенций НУД. На наш взгляд, не все приведенные варианты развития *д'* представляются закономерными и мотивированными, например, протетический *д'* НУД *дip*, старописьм. монг. *ire*, ЛБ *epэ* «приходить», а также *д'*, соотносящийся с *yod* старописьменного монг. языка:

НУД	старописьм. монг.	ЛБ	
<i>д'ike</i>	<i>yeke</i>	<i>ex</i>	«большой»
<i>д'ämar</i>	<i>yambar</i>	<i>ämar</i>	«какой»

Было бы корректнее предположить более сложный, системно-обусловленный характер появления указанных соответствий, причины которого еще следует искать в развитии фонологической системы НУД, но не представлять НУД *д'* как прямой результат развития этих соответствий.

Надо отметить, что в разделе «Фонетика» и в работе в целом имеется много интересных и важных для фонологии бурятского языка наблюдений автора, среди которых, кроме указанных выше, можно назвать звуковые изменения на стыках морфем и на границах сочетающихся слов. Последние под названием «сращений» особенно наглядно показаны на материале глагола. Сокращение форм слов в результате выпадения отдельных звуков и даже слогов приводит в НУД к сочетаниям звуков, не свойственным бурятскому языку как в начале, так и в конце слова, например, НУД *päka* «впустить» вм. ЛБ *оруулаха*, НУД *үкчи* «отдавая» — ЛБ *үгжэ* и др. см. стр. 65—66; может мешать лексико-грамматическую природу слова (так появилось местоимение 3-го лица ед. числа), вносить изменения в грамматические парадигмы (см. стр. 105, 130—132). В связи с этим вопрос о редукции заслуживает самого серьезного внимания. В целом раздел

«Фонетика» написан подробно, по его следовало бы дополнить правилами сочетаемости звуков.

В разделе «Морфология» (стр. 85—132) рассматриваются особенности таких лексико-грамматических классов слов, как существительное, прилагательное, местоимение, наречие, числительное, служебные слова, глагол и некоторые формы причастий и деенричастий. В именном склонении показаны отличия в формах род. и исх. падежей, а именно увеличение числа вариантов форм в НУД, обусловленное особенностями его фонетической системы, и дистрибуция форм этих падежей. В области словообразования существительных и прилагательных имеются различия в наборе словообразовательных формантов. Очень информативна часть раздела о местоимениях. НУД отличается от ЛБ и других монгольских языков тем, что имеет личное местоимение 3-го лица ед. числа *өн* «он; она» (стр. 97), кроме того, НУД активно заимствует разные неличные местоимения из русского языка. А. А. Дарбеева показывает процесс становления местоимения 3-го лица ед. числа *ö* < *öhöү* «сам», который, по ее мнению, стимулирован влиянием русского языка, а также функционально-семантические различия между бурятскими и заимствованными русскими местоимениями одного разряда, которые не дублируют бурятские эквиваленты, а используются в экспрессивных целях. Наблюдения по классу глагола выявляют различия в лексико-семантической структуре собственно бурятских глаголов и глаголов, заимствованных из русского языка, в формах повелительно-желательного наклонения, в отдельных глагольных формах, в употреблении вспомогательных глаголов. Подробному анализу подвергаются отрицательные глагольные частицы в связи с тем, что в НУД активны препозитивные глагольные отрицательные частицы, которые почти утрачены ЛБ и некоторыми другими монгольскими языками. Сохранение этих частиц автор связывает с опосредованным влиянием русского языка, где отрицательная глагольная частица также препозитивна.

«В морфологии, — пишет А. А. Дарбеева, — прямых заимствований грамматических категорий нет, но практически заимствуются слова из всех частей речи русского языка» (стр. 188). В связи с этим особую значимость приобретают приведенные в книге факты конкретной реализации русских заимствований, т. е. инновации, которые являются прямым результатом двуязычия, языковой интерференции на грамматическом уровне. Эти новообразования предстают в виде гибридных форм — сочетаний бурятских и русских элементов. Например, экспрессивно окрашенная форма консессива 3-го

лица: сочетание русской частицы «пускай» с повелительной формой 3-го лица на *-тагāk нүскā гартагāk* «пусть выйдет» (стр. 128); формант *-скүд*, который заменил в НУД монгольский суффикс собирательной множественности в фамилиях, состоит из русского суффикса *-ск* и форманта мн. числа *-үд*, например, *Черепановскүд* «Черепановские, Черепановы» (стр. 180), и др. Подобные явления, которые, по-видимому, рассматриваются автором как достояние языка, а не индивидуальной речи, обогащают не только выразительные потенции НУД, но и его грамматические возможности, и их нельзя не учитывать при характеристике грамматического строя НУД. Раздел «Морфология» в целом богат фактическим материалом и наблюдениями автора над семантикой грамматических форм. Однако при чтении этого раздела остро ощущается отсутствие таблиц, например, парадигм именного склонения, наклонений глагола и причастных и деепричастных форм, таблиц других частей речи. Такие таблицы существенно дополнили бы изложение и наглядно показали бы систему той или иной грамматической категории, тем более, что в книге описываются только отдельные особенности языка. Одновременно таблицы сняли бы терминологическую неупорядоченность, имеющуюся в этом разделе, особенно в отношении глагола.

Исследование лексики проводится по тематическим группам. Автор выявил фонетические, семантические и словарные различия в лексике НУД и внимательно проследил, в каких тематических группах они наблюдаются, а также — что очень интересно — определил степень проницаемости заимствованиями различных тематических групп.

Проанализировав языковые особенности НУД на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях, А. А. Дарбеева определяет признаки, отличающие НУД от ЛБ и других бурятских диалектов, как 1) локальные явления и как 2) реликтовые и субстратные явления, часто соотносимые с данными современного калмыцкого языка, и дает каждому из признаков краткую характеристику. Локальные явления включают как факты самобытного развития НУД, так и результаты влияния двуязычия, прослеживаемые на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях. Новообразования и сохранность архаических черт благодаря изолированному положению, а также общность архаических черт с другими изолированными монгольскими языками в фонетике (например, отсутствие перелома гласного *i*, сохран-

ность древних звуковых форм слов) и морфологии (например, общность некоторых повелительно-желательных форм, наличие препозитивных отрицательных глагольных частиц) свидетельствуют, как полагает автор, об общих тенденциях развития островных монгольских языков. Одновременно, проследив лексико-семантические особенности, материальное сходство архаизмов в фонетике и морфологии НУД и калмыцкого языка, А. А. Дарбеева дополнительно обосновывает выдвигаемую монголоведами (историками и лингвистами) версию об этногенетической связи носителей НУД с ойратами, т. е. о том, что произошла ассимиляция некоторых ойратских родов с бурятскими (стр. 184)⁵.

Как положительный момент рассматриваемой монографии следует отметить публикацию образов разговорной речи двуязычных носителей НУД — мужчин и женщин, в которых хорошо виден живой и сложный процесс языковой интерференции в речи билингов, ее динамика и степень интенсивности. Тексты не только удачно дополняют исследование, но и, как обычно, несут еще большую лингвистическую информацию. Они послужат хорошим источником для дальнейших научных изысканий.

В заключение следует сказать, что монография А. А. Дарбеевой как первый опыт разностороннего исследования изолированного диалекта бурятского языка, развивающегося в условиях двуязычия, можно считать удачным. Убедительно показаны особенности НУД, обусловленные смешанным этногенетическим составом его носителей и контактами с другими народами, и вместе с тем социально-коммуникативный и лингвистический аспекты двуязычия в НУД: сосуществование и взаимодействие родного и русского языков и роль русского языка в обогащении и развитии языка нижеудинских бурят. По материалу, по затронутым проблемам работа представляет интерес не только для монголоведов, но и для лингвистов, занимающихся вопросами социолингвистики, языковых контактов, теоретической филологии.

Шевверина З. В.

⁵ См.: Ц. Б. Цыдендамбаев, Об ойрат-монгольских элементах в этническом составе и языке бурят, «Проблемы алтаистики и монголоведения», 2, Серия лингвистики, М., 1975, стр. 319—326; У. Э. Эрдниев, Калмыки, Элиста, 1970.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Филадельфии (США) на базе Пенсильванского университета с 11 по 14 июля 1979 г. проходила первая Международная конференция по армянскому языкознанию. Конференция была осуществлена совместными усилиями различных организаций: Совета по международным исследованиям и обмену (ИНЕХ), при непосредственном участии ректората Пенсильванского университета (ректор проф. В. Григориан), Кливлендского университета штата Огайо (проф. Дж. Греггин) и при содействии Культурного фонда Алекса Манукяна.

Конференция была весьма представительной. В ее работе приняли участие лингвисты из 12 стран (СССР, США, Франция, Италия, ПНР, ВНР, Голландия, ФРГ, Швейцария, Норвегия, Канада, Англия). Всего на конференции было прочитано 25 докладов, посвященных наиболее актуальным вопросам арменистики, связанным с постановкой общетеоретических проблем на основе данных древнеармянского, среднеармянского, обоих литературных вариантов современного армянского языка, а также и диалектов. СССР представил 4 доклада, США — 11; по два доклада — ФРГ и Голландия. Остальные страны — по одному докладу. Кроме непосредственных докладчиков, в работе конференции принимали участие в качестве слушателей представители из различных научных, общественных и официальных организаций как США, так и других стран.

По своему содержанию доклады группируются вокруг следующих научных направлений: сравнительное и историческое языкознание; системное исследование различных уровней языка; социолингвистический аспект, связанный с проблемой малых этнических групп (по данным армянского языка, функционирующего в различных зарубежных странах); прикладное языкознание (применение ЭВМ в целях улучшения методики преподавания языка в целом и армянского языка за рубежом, в частности); текстологические изыскания; вопросы языковой типологии. Следует отметить,

что широта лингвистических проблем, обсуждаемых на конференции, и разносторонний аспект их решения выходили далеко за пределы собственно армянского языкознания.

Подавляющее большинство докладов (примерно половина) было посвящено проблемам сравнительного языкознания. В центре внимания компаративистов находились вопросы развития фонологической и фонетической системы языка, связанные преимущественно с проблемой армянского копсопанитизма, вопросы относительной хронологии звуковых изменений, вопрос об ареальной характеристике армянского языка и уточнении его места среди других и.-е. языков. Вновь поднимался вопрос о значении данных армянского языка для обоснования и подтверждения ларингальной теории.

С проблемой тесных связей и.-е. языков и степени их родства непосредственно связана проблема ареальной характеристики армянского, которая явилась содержанием двух докладов: Г. Б. Джаукяна (СССР) — «Место армянского языка среди индоевропейских языков» и К. Х. Шмидта (ФРГ) — «Армянский и индоевропейские языки». К решению данного вопроса авторы подходят с различных позиций. Г. Б. Джаукян, разрабатывающий эту проблему на основе применения статистического метода, выделяет наиболее существенные лексические, грамматические и фонетические изоглоссы, объединяющие армянский с и.-е. языками. Анализируя полученные данные, докладчик делает вывод, что из живых и.-е. языков ближе всего к армянскому стоит греческий и дальше всех албанский. Отмечается также, что языки западной группы (германские и итальянские) по своим структурным признакам стоят дальше, а по лексическим — ближе. Среди вымерших и.-е. языков ближе всего к армянскому находятся хеттолувийские и тохарские, но они по своим фонетическим особенностям стоят дальше фракийского и фригийского языков. К. Х. Шмидт в своем докладе опирается на данные относительной хронологии. Он стремится показать тесные связи

армянского с греческим, фригийским и индоиранскими языками. К. Х. Шмидт полагает, что соотвествия между этими языками были гораздо более обширными в доисторические времена и затемнились в итоге последующих инноваций. Для доказательства он анализирует три морфологических феномена: протоармянский медиопассив в системе времен презенса, затем аорист и имперфект, наконец, формы на **-bhi* ед. числа твор. падежа. Оригинальной является идея автора доклада о том, что типы пассивных конструкций, которые существуют в греческом, индоиранских и армянском языках, отражают три различные, хронологические последовательные ступени трансформации и.-е. праформ.

Довольно большое место в докладах занимали вопросы последующего развития и.-е. фонетической системы в армянском языке, относительная хронология процессов звуковых изменений, ларингальная теория и др. Доклад Дж. Грeппина (США) «Происхождение армянского *z*» был посвящен новой интерпретации вопроса об и.-е. арктиках армянской фонемы $|z|$. Предполагалось, что инициальное арм. *z*- восходит к и.-е. **ǵh*. На основе анализа списка слов докладчик показал, что данная фонема может восходить также и к и.-е. **dh*. Проблема относительной хронологии звуковых изменений рассматривалась в докладе Ф. Кортлана (Голландия), где сделана попытка дать хронологическую последовательность магистрального развития протоармянской фонологической системы. Автор выделяет 22 закономерности, отражающие звуковые изменения в порядке последовательности. Доклад Ш. Ламбертери (Франция) «Изменения гуттуральных в армянском» был посвящен чередованию и.-е. гуттуральных. Явление это в языках *satem* основывается на корреляции **k/*k*, **ǵ/*g*, **ǵh/*gh*. Для анализа этого явления в армянском автор приводит такие пары, как *darj/durgn*, *barj/burn*, восходящие к **dherǵh-/*dherǵh-*, **bherǵh-/*bherǵh-* и т. д. В докладе Ф. Линдемана (Норвегия) «Индоевропейский и классический армянский: фонологические заметки» дается новая трактовка фонетически неясной формы мн. числа слова *akanj-k'* «уши». Однако трактовку эту можно признать, если согласиться с гипотезой о наличии в грабре звонких придыхательных взрывных. Вопрос этот широко обсуждался на страницах ВЯ во время дискуссии по армянскому консонантизму в 1959—1962 гг. Особенно последовательно поддерживал ее Г. Фогт. Ф. Линдеман дает схему развития этого армянского слова в виде и.-е. **awsja* > арм. **aganj*, фонетически интерпретируемого как **aghanǵh*. Этимология Линдемана

построена с учетом гипотезы Г. Фогта и др. о наличии звонких взрывных придыхательных в грабре. Поэтому, если указанная гипотеза верна, то Линдеман нашел правильную фонетическую трактовку этого затемненного слова в армянском.

Среди проблем современной компаративистики одно из важных мест занимает ларингальная гипотеза. На конференции снова был поднят этот вопрос, так как факты армянского языка лежат в центре аргументаций сторонников этой теории, особенно представителей американской школы. Э. Поломé (США), осветив современное состояние этого кардинального вопроса компаративистики в докладе «Ларингальная теория и армянский язык», пришел к заключению, что в настоящее время единственным достоверным свидетельством наличия в сохранности рефлексов ларингальных являются армянская протеза и инициальное, превокалическое *h*, которое соответствует хеттскому *h* и во всех остальных и.-е. языках. С проблемой отражения и.-е. чередования гласных в морфологической системе армянского языка был связан доклад Э. Б. Агаяна (СССР) «Склонение имен на *iw/ean* и *un/an* в древнеармянском языке». Анализируя исторический процесс формирования склонения имен с суффиксом *-iw* (род. падеж *-ean*), автор показал, что в парадигме этих имен наблюдается закономерное чередование гласных при помощи ступеней аблаута внутри самого суффикса. Последний восходит к и.-е. **-ven/un/h*. Форма род. падежа *-ean* восходит к слабой ступени чередования, т. е. к **-n* > арм. *-an*. Новый, компактно сформулированный системный подход к описанию надежной парадигматики имен в грабре представлен в докладе Л. Зекияна (Италия) «О системном методе описания склонения классического армянского языка». В предшествующих исследованиях надежная парадигматика освещалась в большинстве случаев (за исключением работ Г. Б. Джаукяна) методом аналитического описания надежных окончаний. Л. Зекиян дает анализ системы падежных форм на основе синтетического принципа, выявляя закономерности, которые управляют всей системой склонения классического армянского языка. Им предложены таблицы, где в обобщенном виде представлены все типы склонений. Экономный принцип описания, предложенный Л. Зекияном, может быть применен и при характеристике других языков. «Эволюция индоевропейского аблатива в армянском языке» — тема доклада Т. Тумаджана (США). Кратко охарактеризовав статус аблатива в родственных и.-е. языках, докладчик на основе применения сравнительного метода показал процесс его последовательного развития от всех

этапах эволюции армянского языка. Доклад И. Вайтенберга (Голландия) «Имена с суффиксом *-st* в армянском» посвящен происхождению суффикса *-st* имен действия в армянском, архетипом которого предполагается и.-е. суффикс **-ti*. Исходной точкой для *-ust* автор считает слова типа *kor-ust* «потеря». Проблемы семантики в типологическом аспекте рассматриваются в докладе Д. Иоба (ФРГ) «Семантические данные в типологии и историческая лингвистика». Исследуя семантические различия лексических единиц армянского языка и соответствующих единиц других языков (родственных и неродственных), автор решает эту проблему в двух аспектах: на основе гипотезы Гумбольдта и Сепира — Урфа о внутренней форме и лингвистической относительности и на основе требований синхронного подхода к семантическим явлениям. Обсуждается вопрос о роли внутренней формы и лингвистической относительности в построении языка-эталоны, который мог бы служить в качестве модели при описании семантических единиц. Для анализа словарные единицы армянского языка сравниваются с их грузинскими, русскими и немецкими эквивалентами. Собственную этимологию слова *leard* «печень» предлагает Й. А р б а й т м а н (США) на основе комбинации некоторых элементов прежних трактовок с новыми данными.

На конференции впервые был поднят вопрос о необходимости изучения армянского языка в зарубежных общинах в социолингвистическом аспекте. В докладе Э. Г. Туманян (СССР) «Армянский язык в зарубежных общинах» он увязывался с проблемой языка малых этнических групп (МЭГ) и решением теоретического вопроса о наличии определенных социальных и культурно-исторических факторов, способствующих консервации языка МЭГ в условиях иноязычного окружения. Ведущими факторами, способствующими сохранению языка и национальных признаков МЭГ, являются, по мнению автора, прежде всего, высокий уровень духовной культуры, интенсивность традиционных связей с исконной родиной, стремление к внутриобщинной консолидации. Значительна при этом роль церкви, школ и периодической печати. В докладе Л. Матоссян (США) «Армянский язык в США» содержались итоги статистических данных, собранных автором на основе специальных вопросников, распространенных среди групп армянского населения в Вашингтоне и Нью-Джерси с целью установления перспектив развития армянского языка в США.

Доклад «Стенфордский проект армянского языка» о применении ЭВМ для обучения иностранному языку в приложении к армянскому представили лин-

гвисты из Стенфордского университета А. Серосян и Л. З. Маркосян (США). Было доложено о разработке Армянского лингвистического проекта, с демонстрацией обучающего языку компьютера, действующего по непосредственной связи Филадельфия — Стенфорд. Обучение с помощью компьютера ранее осуществлялось для испанского, французского, немецкого и итальянского языков. Компьютер для армянского языка — новое начинание. С компьютером студент работает в любой точке, так как он управляется из единого центра. Он может ускорить или замедлить темп обучения по своему усмотрению, а также индивидуализировать его согласно своим способностям. Мы считаем целесообразным перенять этот весьма полезный опыт и подумать о возможности применения подобного компьютера для обучения языкам и, в первую очередь, русскому языку в нашей стране и за рубежом. В докладе Н. Парнасян (СССР) «Синонимия и омонимия в грамматической структуре современного армянского языка» с помощью системного анализа освещаются вопросы синонимии и омонимии современного армянского языка на уровне морфологии. Система грамматических флексий представлена на основе наличия двух типов синонимических отношений — абсолютного и относительного. В области склонения и спряжения преобладает абсолютная синонимия. Выделяется еще и группа омонимических флексий. Автор доклада строго ограничивает омонимию флексий от того типа полисемии, когда флексия, сохраняя место в парадигме, выражает значение нескольких грамматических категорий.

Некоторые доклады носили характер текстологических изысканий. Э. Шютц (ВНР) в докладе «Предварительные данные об армянском словаре XIV века» представил новые данные о фонетических особенностях среднеармянского языка, выявленные в результате исследования многоязычного словаря XIV в. Предназначенный для нужд кушцов и деловых людей, словарь содержал список 700 армянских слов, изучение которых дало ценный материал. В докладах К. Косса (Канада) «Лингвистический анализ армянского перевода Второзакония» и А. Теряна (США) «Синтаксические особенности армянских переводов представителей эллинистической школы» выявлено своеобразие языка древних переводов с греческого на армянский. Так, при сравнении армянской версии Второзакония с греческим оригиналом Кокс обнаружил ряд языковых отличий в армянском тексте, которые в отдельных случаях связаны с восприятием и толкованием переводчиком оригинала. Кокс дает лингвистический анализ этих отклонений. Материалом для текстологического анализа А. Теряна служили синтакси-

ческие особенности переводов трудов древнегреческих философов (Платона, Аристотеля, Филона и др.) на армянский язык в V в. А. Терян обнаружил в переводах неточности, частично искажающие смысл, и объяснил их природу.

Отдельные доклады на конференции были посвящены проблемам синтаксиса. М. М и н а с я н (Швейцария) выступил с докладом «Вопросительные предложения в классическом армянском». Известно, что авторы древних текстов интонационных знаков не ставили, они появились позже. Докладчик показывает признаки, по которым различались вопросительные предложения. Он их делит на внешние (вопросительные слова-частицы, местоимения и др.) и внутренние, под которыми подразумевает логическое восприятие текста. Э. А й г (США) на материале западноармянского литературного языка вскрыла некоторые аспектуальные особенности системы наречных временных предложений. Г. М а р д и р у с с я н (США) рассмотрел синтаксические функции глагольных суффиксов по данным классического армянского языка.

А. П и с о в и ч (ПНР) представил новые данные об одном из вымирающих армянских наречий, обнаруженном им в Польше, которое относится к четвертой, кликийской группе армянских диалектов. Д. Ж. Р а с с е л (Англия) в своем докладе проследил историю проникновения в армянский язык пехлевийского слова *k'ustik*, обозначающего сакральный пояс у представителей зороастризма, и различные варианты использования этого слова.

В заключение следует сказать, что конференция проходила в деловой обстановке, в условиях взаимопонимания и оказалась весьма плодотворной. Она внесла заметный вклад как в собственно армянское, так и в общее и сравнительное языковедение. Конференция помогла установить научные контакты, ознакомиться с проблематикой, над которой работают советские и зарубежные армяноведы, и наметить, хотя бы в общих чертах, некоторые перспективы дальнейшей работы.

Первая Международная конференция по армянскому языковедению свидетельствует также о возросшем за рубежом интересе к армянскому языку. По мнению зарубежных газет, в настоящее время армянский язык изучают в значительно большем количестве стран, чем когда-либо прежде.

Наконец, можно отметить, что работа конференции весьма положительно освещалась на страницах зарубежных периодических изданий (США, Канада, Франция и др.). Было высказано пожелание провести вторую конференцию в нашей стране в г. Ереване.

Туманян Э. Г. (Москва)

4—7 сентября 1979 г. в Варшаве (ПНР) состоялась Международная лингвистическая конференция «Ян Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика», организованная в связи с пятидесятой годовщиной со дня смерти выдающегося польского и русского лингвиста, чл.-корр. Петербургской АН Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. Организаторами конференции были Варшавский университет, Ягеллонский университет в Кракове и Польская Академия наук. В ее работе приняли участие более ста ученых из различных стран четырех континентов.

Открывая конференцию, М. Ш и м ч а к (ПНР) остановился на наиболее существенных сторонах учения Бодуэна де Куртенэ в плане развития мирового языковедения и мировой филологической науки. Сложный научный и жизненный путь ученого получил освещение в докладе С. У р б а н ч и к а (ПНР). Прогрессивные общественно-политические взгляды Бодуэна де Куртенэ нашли отражение в докладе Я. К у л ь ч и ц к о й - С а л о н и (ПНР). Этическому кредо Бодуэна де Куртенэ — ученого посвятила доклад Г. К у р ч е в с к а я (ПНР). Р. Р о т ш т е й н прочел доклад «Человеческая индивидуальность как ведущий мотив деятельности Бодуэна де Куртенэ». Об общественной значимости трудов Бодуэна де Куртенэ шла речь в докладе Д. О л ь м с т е д т а (США). Б. Бялокозвич (ПНР) в докладе «Бодуэн де Куртенэ и русская литература» показал, что в своих научных работах и публицистических статьях ученый часто ссылается на памятники древнерусской письменности, произведений художественной литературы, русский фольклор.

В ряде докладов получили освещение разные периоды жизни и деятельности Бодуэна де Куртенэ. Так, П. З в о л и н с к и й (ПНР) посвятил свой доклад рассмотрению трудов Бодуэна де Куртенэ по языковедению периода его учебы в Варшавском университете. Жизнь и научная деятельность Бодуэна де Куртенэ в 70-е годы XIX в. нашла освещение в докладе А. В. К а у п у ш (СССР) «Бодуэн де Куртенэ в свете переписки, хранящейся в архивах Советского Союза», использовавшей не известные до сих пор материалы, хранящиеся в архивах Советского Союза. В совместном докладе А. Б а р т о ш е в и ч а (ПНР) и Г. А. Н и к о л а е в а (СССР) «Казанский период деятельности Бодуэна де Куртенэ», построенном на малоизвестном материале, извлеченном из протоколов Совета Казанского университета, а также местной казанской прессы конца XIX — нач. XX в., рассматривалась деятельность Бодуэна де Куртенэ как профессора Казанского университета, активного члена Совета, общественного деятеля, педаго-

га. Краковский период жизни и деятельности Бодуэна де Куртене нашел отражение в докладе Е. Русэка (ПНР). О выдающейся роли Бодуэна де Куртене в истории языковедения говорил в своем докладе «Бодуэн де Куртене — зачинатель диахронической лингвистики» Э. Станкевич (США). Взаимоотношения И. А. Бодуэна де Куртене и Н. В. Крушевского и вклад последнего в лингвистическую теорию стали предметом рассуждений К. Кернера (Канада). «Бодуэн де Куртене и психологизм в языковедении» — тема доклада К. Горалек (ЧССР). В докладе Г. Шмидта (ГДР) было выявлено негативное отношение Бодуэна де Куртене к характерному для науки XIX в. пониманию языка как организма. Сравнению концепции аналогии в трудах Бодуэна де Куртене и немецких языковедов середины XIX в. был посвящен доклад И. Кунера (ФРГ). Если явление аналогии рассматривалось младogramматиками в чисто историческом плане, как объяснение исключений, существующих в звуковых законах, то Бодуэну де Куртене аналогия представлялась самостоятельным источником языкового развития. Применяя принцип аналогии для объяснения явлений живой речи, т. е. используя исторические данные, ученый соединил таким образом синхронический и диахронический аспекты изучения языка. К. Гутшмидт (ГДР) в докладе «Бодуэн де Куртене и Гуго Шухардт об ареальной лингвистике» рассматривал вопросы смешения языков, их взаимодействия и географических контактов в лингвистических концепциях Бодуэна де Куртене и Г. Шухардта. Особое внимание он обратил на сходство взглядов обоих выдающихся лингвистов, которое заключается не только в отрицательном отношении к «звуковым законам» и к пониманию языка как организма, но и в признании роли взаимодействия языков как важного фактора их развития. Б. Нильссон (Швеция) в докладе «Бодуэн де Куртене и Адольф Норейн» показал, что становление этих двух ученых-современников происходило под влиянием идей ведущих лингвистов своего времени. О влиянии Бодуэна де Куртене на формирование научных взглядов македонского слависта К. Мисиркова говорил Б. Рысковский (СФРЮ), который использовал, кроме опубликованных, и рукописные материалы, хранящиеся в архивах Советского Союза. К. Мисирков слушал лекции Бодуэна де Куртене в Петербургском университете в начале XX в. Это и сказалось на описании структуры современного македонского литературного языка, сделанном К. Мисирковым, и на его трудах по истории этого языка. На значении трудов Бодуэна де Куртене для словенского языковедения остановился Ф. Якопин (СФРЮ). Бодуэну де Куртене и копенгагенской школе глоссематиков по-

святил доклад К. Хельтберг (Дания). О роли Бодуэна де Куртене как предшественника ученых Пражской школы говорил Я. Дамборский (ЧССР). Г. Брибаум (США) остановился на оценке лингвистических достижений Бодуэна де Куртене современными американскими языковедами — Р. Якобсоном и Э. Станкевичем. О традициях Казанской лингвистической школы и трудах современных казанских языковедов, особенно в работах по истории языка, словообразованию, экспериментальной фонетике и сравнительному изучению балто-славянских языковых отношений, шла речь в докладе Э. Балалыкиной и И. Еселевич (СССР). В докладе «Бодуэн де Куртене в японском языковедении» Е. Чино (Япония) говорил о том, что имя великого лингвиста стало известно в Японии относительно поздно, но с тех пор интерес к его трудам все возрастает. Докладчик отметил также, что основателем японской русистики был ученик Бодуэна де Куртене петербургского периода Садаоши Ясуги. М. ди Сальво (Италия) остановилась на взаимоотношениях Бодуэна де Куртене с итальянскими учеными. Среди итальянских ученых, с которыми был знаком Бодуэн де Куртене, важное место занимает Асколи, лекции которого польский лингвист слушал в Чилене в 1873 г. В дальнейшем их объединяла полемика с младogramматиками.

История языка была представлена докладами Т. Скубальянки (ПНР) «Бодуэн де Куртене как историк языка», Б. Дуная (ПНР) «История польского языка в учении Бодуэна де Куртене», М. Ежовой (ПНР) «Праславянский язык в трудах Бодуэна де Куртене». О трудах Бодуэна де Куртене в области сравнительной грамматики славянских языков говорил Ч. Бартуля (ПНР). Исследования ученого в области ономастики были рассмотрены в докладе Э. Эйхлера (ГДР). О значении его трудов для славянской ономастики говорил К. Рымут (ПНР). С. Вархол (ПНР) в докладе «Теоретико-познавательное значение исследований Бодуэна де Куртене в области антропонимики» сравнил ряд этимологий славянских имен, принадлежащих ученому, с этимологиями его предшественников и последователей. В докладе В. Борыся (ПНР) Бодуэн де Куртене был показан как этимолог. Г. Шустер-Шевц (ГДР) в докладе «Бодуэн де Куртене и этимологические исследования» подчеркнул, что и в данной области наиболее важные заслуги ученого связаны с методологическими и теоретическими принципами.

Общие и частные проблемы славянской диалектологии нашли отражение в следующих докладах: Я. Бжезинский, А. Демартен (ПНР) «Бодуэн де Куртене как создатель исторической диалек-

тологии», Р. Р и с (Швейцария) «Бодуэн де Куртене и вопросы ареального членения в языке», Р. О л е ш (ФРГ) «Полабский язык в трудах Бодуэна де Куртене», Ф. С л а в с к и й (ПНР) «Южнославянские языки в трудах Бодуэна де Куртене», Я. Т о п о р и ш и ч (СФРЮ) «Бодуэн де Куртене как исследователь словенских наречий». О попытке Бодуэна де Куртене создать программу для изучения славянских говоров говорил Е. Б а с а р а (ПНР). В докладе «Обращение к Бодуэну де Куртене в современной южнославянской диалектологии» Й. Х а м м (Австрия) отметил, что Бодуэн де Куртене не причислял славянские диалекты северной Италии к диалектам словенским, а усматривал в них связи с чакавским наречием. Словенские ученые (Т. Логор, Ф. Безлай) не соглашались с его мнением. В последнее время Т. Логор говорил о наличии «словенской диалектной метатонии» в северо-западных словенских наречиях. Однако он не учел того обстоятельства, что речь идет об обыкновенной чакавской метатонии. В связи с этим докладчик считает, что необходимо заново пересмотреть словенско-чакавские отношения на пограничных территориях, учитывая высказывания Бодуэна де Куртене по этому вопросу. Г. Т а б о р с к а я (ПНР) отметила, что Бодуэн де Куртене интересовался кашубскими говорами, полагая, что все процессы, представленные и в польском языке, развились в них более последовательно и интенсивно. В докладе М. Л е с ю в а (ПНР) «Исследования Бодуэна де Куртене в области украинского языка» указано, что Бодуэн де Куртене не проводил специальных исследований в области украинского языка, но очень часто в работах, касающихся польского, русского или словенского языков, использовал украинский языковой материал в сравнительном плане. Некоторые проблемы украинского языка, таким образом, получили впервые научное объяснение.

На конференции были прослушаны и обсуждены важные для теории языкознания доклады, посвященные научным достижениям Бодуэна де Куртене, его новаторским исканиям и роли в развитии лингвистики XX в. Теоретические достижения ученого в области изучения классических языков анализировались в докладе Я. С а ф а р е в и ч а (ПНР). В докладе В. В. М а р т ы н о в а (СССР) тиологический принцип Бодуэна де Куртене рассматривался как необходимость соотношения непосредственно не наблюдаемого древнейшего состояния языка с состоянием живых диалектов. Большой интерес вызвал доклад О. Л е ш к и (ЧССР) «Структура языка. Бодуэн де Куртене и современное языкознание». Докладчик указал, что идеи Бодуэна де Куртене о необходимости непредвзятого (неаприорного) анализа языка, а также о том, что при анализе структуры языка

важно соотношение плана выражения и плана содержания, находят отражение во многих современных лингвистических теориях. Р. Катичич (Австрия) сделал доклад «Бодуэн де Куртене и теория лингвистической относительности». Той же теме был посвящен и доклад А. Вежбицкой (Австралия). Сравнению понимания механизма языковых изменений в учении Бодуэна де Куртене с его пониманием в современных исследованиях на эту тему посвятила свой доклад М. Загурская-Брукс (США). В ряде докладов получили освещение отдельные стороны научной деятельности Бодуэна де Куртене в свете лингвистической науки сегодняшнего дня. Г. М е ж е с в с к а я (ПНР) рассматривала бодуэновскую концепцию механизма языка в свете современных исследований по афазииологии. А. П о л ь (ФРГ) осветил лингвистические взгляды ученого с точки зрения порождающей грамматики. Д. С у д а к о в а (США) в докладе «Методологические принципы Бодуэна де Куртене и семантическая структура польского языка» использовала понимание ученым языка как системы для сопоставительного изучения двух языков. О Бодуэне де Куртене и современных проблемах основ лингвистики говорил Г. Х и з (США). К. С х о н е ф е л ь д (США) прочитал доклад «Методологические предпосылки исследования языка Бодуэна де Куртене и современная лингвистика». В докладе «Взгляды Бодуэна де Куртене на смешанный характер языков» Д. Г р а б о в с к а я (США) развила мысли ученого о том, что большинство изменений в языке возникает как результат влияния другого языка. В докладе П. П и т ь г и (ЧССР) «О возможностях и границах точных описаний языка» подчеркивалось, что при обсуждении значения и места новой научной дисциплины необходимо учитывать ее применение, методы, объект и общие культурные коннотации. А. д е В и н ц е н з (ФРГ) в докладе «Звуковые альтернативы Яна Бодуэна де Куртене в современной перспективе» поставил вопрос о том, что может дать для дальнейшего развития лингвистики труд ученого «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen» (Strassburg, 1895). По мнению докладчика, большинство открытий ученого уже введено в современную лингвистическую науку. Для дальнейшего развития науки о языке было бы полезным систематическое введение диахронии в синхроническую морфологию, а также систематическое разграничение деривации продуктивной и непродуктивной. Понятие прикладной лингвистики в трудах Бодуэна де Куртене рассматривалось в докладе Ф. Г р у ч и (ПНР). На бодуэновской теории, методе и практике в прикладной лингвистике акцентировал внимание Н. М и н и с с и (Италия).

Во многих докладах рассматривались

теоретические проблемы фонетики и фонологии в связи с учением Бодуэна де Куртенэ. Поименно Бодуэном де Куртенэ фонемы посвятил доклад С. Пэцьяр (ЧССР). О преимуществах теории фонемы в разрешении фонологических проблем говорил Л. Беджицкий (ПНР). Дж. Келли (Великобритания) рассматривал явления фонологического развития и дезинтеграции. Б. Вержовская (ПНР) остановилась на понятиях оппозиции и альтернации в лингвистической теории Бодуэна де Куртенэ. И. Тот (ВНР) подчеркнул связь истоков современной теории графем с учением Бодуэна де Куртенэ. В докладе П. Лилла (Швеция) «Фонологические формы в качестве моделей речевых актов» рассматривались интерпретации понятия «фонологическая форма». О последовательности и целенаправленности фонологических исследований ученого, для которых основным был функциональный подход, учет морфологических факторов, говорил в докладе «Бодуэн де Куртенэ и принципы Московской фонологической школы» О. С. Ширков (СССР). Вопросам морфологии и фонологии были посвящены доклады В. Дресслера (Австрия) «Бодуэн де Куртенэ и теория морфологии», Я. Вешховской (ПНР) «Проблемы значения и морфологии в трудах Бодуэна де Куртенэ», Т. Акмацу (Великобритания) «Бодуэн де Куртенэ, морфонологическая альтернация и нейтрализация».

Интересы Бодуэна де Куртенэ не ограничивались перечисленными выше проблемами. Обзору большого числа вопросов, поднимавшихся в переписке ученого, был посвящен доклад Е. Стахурского (ПНР) «Письма Бодуэна де Куртенэ». Об активной его переписке с учеными Чехословакии говорил Т. Бешта (ЧССР) в докладе «Научные контакты Бодуэна де Куртенэ с чехами в свете корреспонденции». В докладе Г. Оржеховской (ПНР) рассматривались пометки Бодуэна де Куртенэ на его книгах, хранящихся в библиотеке Института славянской филологии Варшавского университета. Б. Вальчак и Г. Згулкова (ПНР) представили обзор лингвистических терминов, употребленных в трудах Бодуэна де Куртенэ, отметили ряд введенных им новых терминов. Х. Сап-

пюк (ФРГ) пытался рассмотреть модель процесса языкового мышления, созданную ученым, на фоне современной психолингвистики. Г. Ступи (Великобритания) в докладе «Факультативная вариантность в учении Бодуэна де Куртенэ» подчеркнул, что в своих трудах, в особенности в записях резьянских говоров, ученый постоянно обращал внимание на фонетические варианты, нередко указывая на их корреляции с социальными категориями. Об интересе ученого к социальным диалектам говорил в докладе «Проблемы социолингвистики в трудах Бодуэна де Куртенэ» и С. Каня (ПНР). В докладе Ф. Хойслера (ГДР) «Отношение Бодуэна де Куртенэ к проблеме международных вспомогательных языков» было отмечено, что ученый решительно расходился по данному вопросу с А. Лескиным и К. Бругманом. По мнению Бодуэна де Куртенэ, «осуществление идеи международного вспомогательного языка принадлежит к величайшим и благороднейшим изобретениям нашего времени». О Бодуэне де Куртенэ как предшественнике современной логопедии говорил Л. Качмарек (ПНР). Бодуэну де Куртенэ — исследователю детской речи — посвятил свой доклад Б. Рощлавский (ПНР). О работах ученого по изучению первых ступеней усвоения родного языка шла речь в докладе В. Рукке-Дравини (Дания) «Бодуэн де Куртенэ и эмбриология языка». Вклад Бодуэна де Куртенэ и других представителей Казанской лингвистической школы в изучение современной лексики получил освещение в докладе В. Ценборского (ПНР). В докладе С. Кохмана (ПНР) «Бодуэн де Куртенэ как лексикограф» была охарактеризована работа ученого над третьим изданием словаря В. И. Даля на фоне его лексикографических принципов, а также бодуэновские истоки теории Л. В. Щербы в области двуязычной лексикографии.

Проведение международной научной конференции, посвященной памяти Бодуэна де Куртенэ, как было единогласно признано на заключительном заседании, способствовало более глубокому пониманию учения одного из величайших представителей славянской лингвистической науки.

Франчук В. Ю. (Киев)

Contents

Articles: B u d a g o v R. A. (Moscow). On the theory of similarities and differences in the grammar of closely related languages; **Discussions:** G a m k r e l i d z e T. V. (Tbilisi), I v a n o v V. V. (Moscow). Reconstruction of the system of stops in Common Indo-European. Glottalized stops in Indo-European; F i l i n F. P. (Moscow). On the origin of the Proto-Slavic language and of East Slavonic languages; K u z ' m i n A. G. (Moscow). A historian reviews a linguistic monograph; M e l i k i s v i l i I. G. (Tbilisi). Root-structure in Common Kartvelian and Common Indo-European; **Materials and notes:** Z o l o t o v a G. A. (Moscow). On the «Syntactic dictionary of the Russian language»; I c k o v i c h V. A. (Moscow). Animate and inanimate nouns in modern Russian (the norm and the trend); D e r j a g i n V. Ja. (Moscow). The principles of historical-stylistic research into the text of ancient deeds; A r b a t s k i j D. I. (Izhevsk). On the lexical meaning of verbal adverbs; P e s t o v V. S. (Moscow). The subject-object relation in the verb of Quechua; K a l i e v G. K. (Alma-Ata). Problems in the study of dialect-systems (with particular reference to Kazakh dialects); **Reviews; Scientific life.**

Sommaire

Articles: B u d a g o v R. A. (Moscou). Sur la théorie des similitudes et des différences grammaticales des langues soeurs; **Discussions:** G a m k r e l i d z e T. V. (Tbilissi), I v a n o v V. V. (Moscou). Reconstruction du système des occlusives dans l'indo-européen commun; Occlusives glottalisés de l'indo-enropéen; F i l i n F. P. (Moscou). Sur l'origine de la langue proto-slave et des langues slaves orientales; K u z ' m i n A. G. (Moscou). Remarques critiques d'un historien sur une monographie linguistique; M e l i k i s v i l i I. G. (Tbilissi). Structure de la racine dans le kartvelien commun et dans l'indo-européen commun; **Matériaux et notices:** Z o l o t o v a G. A. (Moscou). A propos d'un «Dictionnaire syntaxique de la langue russe»; I c k o v i c h V. A. (Moscou). Substantifs animés et inanimés en russe contemporain (normes et tendances); D e r j a g i n V. Ja. (Moscou). Pour l'étude historico-stylistique des textes des actes anciens; A r b a t s k i j D. I. (Ijevsk). Sur la signification lexicale des géronatifs en russe; P e s t o v V. S. (Moscou). Les rapports sujet — objet dans le verbe de quéchua; K a l i e v G. K. (Alma-Ata). Problèmes de l'étude d'un système de parlers (sur l'exemple des parlers kazakhs); **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор З. В. Филиппова

Сдано в набор 29.04.80 Подписано к печати 7.07.80 Т-14015 Формат бумаги 70×108^{1/16}
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 16,1 Бум. л. 5,0 Тираж 7031 экз. Зак. 3058

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099 Москва, Шубинский пер., 10